

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

3-4 (455)

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Маргарита Голубева. «Это уже нами видано...» *и др. стихи*.....3
Каринэ Арутюнова. Античный путь.....7
Александр Беляков. Возвышение вещей.....33
Вадим Ярмолинец. Лев в Москве. *Рассказ*.....51
Борис Лихтенфельд. «Ушедшие, которых пережил...» *и др. стихи*..... 61
Феликс Чечик. «Твоё в горошек платье...» *и др. стихи*.....65
Андрей Краснящих. Андрей и Света едут в Белгород заняться сексом
(Глава из романа «О себе»).....70
Александр Петрушкин. «Prayer of fish / Моление рыбы» *и др. стихи*.....75
Сергей Сдобнов. «жизнь поворачивается к врачу...» *и др. стихи*.....79
Наталия Черных. Слабые, сильные. *Роман (Окончание)*..... 82
Иван Соколов. Ледяное эхо. *Стихи*.....157
Анатолий Бузулукский. Хороший писатель. *Рассказ*.....160

ДЕБЮТ

Светлана Гусева. «на раз-два-три останется нам снег...» *и др. стихи*.....163

ИЗ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Николай Шатров. Из неопубликованного
Публикация Рафаэля Соколовского.....166
Рафаэль Соколовский. Стихи: опус 58, пункт 10, или Другой Николай Шатров.....170

ЖИЗНЬ ХУДОЖНИКОВ

Вячеслав Лопатин, Стелла Чеботарева. Диалоги о цвете в живописи.....178

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Андрей Пермяков. Хорошая книга плохая книга хорошая книга плохая книга
Юрий Цветков. Синдром Стендаля; Татьяна Мосеева. Близость.....191

Сергей Боровиков. А я люблю товарищей моих
Наталья Иванова. Феникс поёт перед солнцем; Сергей Чупринин. Критика – это критики. Версия 2.0. 195

Николай Аржанов. «Целью была книга...»
Владимир Кравченко. Книга реки. В одиночку под парусом.....197

Сергей Трунев. Жизненные траектории фигур разума
Евгений Стрелков. Фигуры разума: Истории о науке.....200

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Две провинции и одно будущее
«Испытание» (режиссер Александр Котт), «Малыш Кенкен» (режиссер Брюно Дюмон), «Вычислитель» (режиссер Дмитрий Грачев).....202

© «Волга», 2015

Маргарита ГОЛУБЕВА

***

Это уже нами видано, видано,
плавали – знаем.
...Видано, видано.
Семейная драма, северная природа.
То есть она говорит, он не слышит,
слепые волны бьются в глухие скалы.
Соль повыест глаза, соль
растравила рот, и сердце
несколько раз оглохнет, пока
само же себя услышит.

***

Я видела мальчика у реки
в холмистом холодном краю:
травы приникли и побелели пески,
оцепенели ветра, я одна стою,
стою одна, как вчера.
Я видела женщину на холме –
не любимую ли мою?
Она ветрами окружена,
а я в тепле ей пою.
Но если Господь бросит птице пшена,
хищная птица оспорит судьбу свою.
Так любимая ли моя
ушла сюда от людей
и думает, что больна всем на свете:
сосуды, желчный,
не может иметь детей.
Я видела женщину вдалеке
в зеленом бутылочном сюртуке...
Она ушла от людей,
а ищу теперь только я,
и нашла ли
мою любимую?
Я видела женщину на холме.

Маргарита Голубева родилась в 1993 году. Училась в МГУ, в настоящее время учится в РГГУ. Живет в Москве и Санкт-Петербурге. Публиковалась в журнале «Волга».

***

Из Уильяма Блейка

Кто трудится,
тот ест и спит
и не повинен смерти.

Заблудится,
заблудится,
немножечко потерпит.

Но чаща –
сколько ни чеши,
на километры ни души.

Гудят высокие частоты:
кто плачет на болотах?

«Как бык взрывает борозду,
бесправный и ничтожный,
в податливую пустоту
вступаю я тревожно».

***

Это дурочка
бросила в землю зерно:
да взойдет яровое-озимое дело.
И допишется книга.
Приумножится то, что с рождения было дано.

Мальчик маленький
затемно тронется в путь.
Посмотри на него и припомни. Теперь он подрос.
Пусть он сядет за стол в этот вечер с твоею семьей. И потом что-нибудь
дай в дорогу ему, а напьется в дорогу он слез.

И дорога долга,
далека и долга,
и звезда высока.

***

На столе вековой натюрморт.
Солнце сядет, осыпется город.
За окном дребезжащий трамвай
и во сне по колено трава –
что осталось от прежних миров.

Изо всех непонятных даров,
дней, трудов, мастерства и любви
постараюсь припомнить свои.

Поновили наш храм на холме,
убывают осенние дни,
так по ниточке будни тяни –
будет дело к холодной зиме,
где никто не присядет за стол,
потому что и в комнате холод.

Приглушенными стали дела –
ловля рыбы на северном взморье,
только солнечная стрела –
яркий след на лице и уборе.
Только рухлядь, которую жаль,
и старинные вещи в кладовке,
да – осколок последней уборки –
остов лодки оттаял. Февраль.
Время года – белесые сны,
шорох спичек, исходы из спячек,
пробуждение угольных ящерок,
бормотанье при свете луны:
будет осень, крути колесо,
шестеренки и стрелки часов.

Стынет трещина в сердце моем,
как дорога к пустому жилищу.
Тишина. Стрекотание спиц.
Оживают опавшие листья.

Там упала звезда в водоем
и деревья молчат о своем.

***

Пара-тройка лет – и оборван короткий метр,
просвещенный наш мир, раскаянье позднее.
Но мелочи у меня на уме
сегодня.
Весною не так, всё родится снова –
белые апельсиновые цветы,
занялось молоко – заметалась во сне корова.
И все вспоминают, куда убрали зимой зонты,
как писали в первом классе стихи.

Новые легкие вещи тебе идут,
сладкий напиток в бокале тебе приносят.
Скоро осень.
Роняет в поток звезду,

летя над полем, разбуженная кобылица,
и падает в воду звезда, выпадает ресница,
копыто чеканит подкову на черном льду.
По небесному льду ведут
маленького телка,
ты рисуешь в блокноте рожки и колокольчик.
Тени деревьев в доме до потолка,
тени деревьев, твой непонятный почерк.

Чай из ромашки и василька.
Отражение неба покачивает река.
Река во сне крутится подо льдом,
город молчит; надрывается дерево или дом,
зажигаются желтые лампы, рыжие фонари,
тепло и покой усыпляют уже с порога.
И голые ветки качаются и цепенеют.
Я жду, когда выпадет снег, и с утра,
как в любом году,
здесь будет солнечно после восхода солнца.

Серо-черное тридевятое, что же, живем, слегка
касаясь земли и неба, пока не поздно.
Не горят огни. Бегут над оградами облака.
Чтение желтых страниц и холодный воздух,
бусины четок, тени до потолка.

***

Что же скажешь – лучше быть молодым гонцом,
чем королем в зените, в полноте времен?

Так беги из темницы своей, юнец,
из подземелий по жаркой ночной темноте.

Щурится око арабского скакуна,
горит у тебя во рту золотая звезда,

и ветер со спящего моря – благая весть,
а за спиной у тебя сквозняк, песчаная взвесь.

Этот вечер позже чем вечер, ты уже опоздал,
на своем коне ты уже опоздал, но утри глаза.

Лучше быть пьяну, что-нибудь да забыть.
Лучше быть трезвому – дни свои сотворить.

Меж собаки и волка есть ход через горный поток,
ход конем, шах и мат, утренний холодок.

Вино в стакане стареет – не успеешь моргнуть,
худой ребенок на арфе берет струну.

Каринэ АРУТЮНОВА

АНТИЧНЫЙ ПУТЬ

Фрагменты из тетради путешествий

Здесь светотени образуют круг.
И тушь плывет, очерчивая звук.
Оттачивая звук, ложится контур
На лист бумаги сонный и пустой.

Он наливается невиданной печалью,
Он проливается неслыханной тоской.

Омытый морем, небом и землей,
плывет во тьме раскрашенный кораблик,
совсем как настоящий. Только он
Приплыл ко мне из чьих-то дальних странствий,
Которые так и остались сном.

Как сон похож на явь, а день на день.
Колеблется луна на перекрестке.
И свет плывет, очерчивая тень,
и льется тушь, оттачивая контур.

Причаливает судно к берегам,
На судне том – немые пассажиры.
Сойти на землю что-то не спешат.
Возможно, их пугает перспектива.

Чужого сна мелодия слышна.
Сквозь сон я вижу дом,
И сад, и свечи.

Мы назовем его предтечей.
Мы назовем его окном
В иные сны

Каринэ Арутюнова, автор книг «Пепел красной коровы» (СПб, 2011), «Скажи красный» (М., 2012), «Дочери Евы» (готовится к печати). В «Волге» публиковалась подборки рассказов «Тоска по внутреннему раю» (2013, №3–4); «Снег и все остальное» (2014, №1–2).

Античный путь

Дорога

Дорога многому учит.

Например, тому, что ты ничего не можешь взять с собой.

Ни сад, ни калитку, ни яблоню, ни старое ореховое дерево, ни невидимого дятла, методично отбивающего дробь там же, на том же ореховом дереве, ни птичий утренний гомон, ни набегающую на берег волну, ни добытые по пути трофеи – ракушки и камни всевозможных форм и оттенков.

Все это останется здесь, на этой земле, а я двинусь дальше, разве только чуть сожалея об оставленном.

Единственное, что остается со мной, это воспоминание о предвкушении и о самой, собственно, дороге.

Детали

Стоит только отъехать на несколько сотен километров, чтобы в десятки раз возросла важность каждой детали.

В дороге самые тривиальные, незначительные события и предметы приобретают особый смысл. Важно все. Чашка из дома, – грубоватая, коричневая, с отколотой ручкой (уже в пути отколотой), свежезаваренный кофе, горячий сладкий чай, две захваченные впопыхах пиалы (из них особенно сладко пьется).

Важно все. Ночлег, теплое одеяло, порванный носок, – в дороге носки изнашиваются особенно быстро, и надо бы прикупить новых.

Важны забытые ботинки, и таблетки на случай...

Ну, всякие случаются случаи.

Шум большого города позади.

По обеим сторонам шоссе – леса, одетые в осенние одежки, в то самое золото наивысшей пробы и в тот самый восхитительный багрянец, который проступает в благословенном сентябре, самом прекрасном времени года, – ближе к концу, а стало быть, в предчувствии начала октября, дождей и ночных заморозков.

Пахнет прелой листвой, сосновой смолой и непременным дымком.

Здесь уже топят, и вьется струйка дыма, плывет над лесом, мостом и рекой...

Идут коровы. Вечернее солнце проступает сквозь ветви, то приближается, готовое скатиться прямо в ладони, то вдруг ускользает, показываясь слева и справа.

Я никогда не видела столь совершенного по форме огненного шара, в такой тревожной, волнующей близости.

Еще миг – он коснется меня, обожжет, но нет, – мы всё едем и едем, а он всё покачивается там, вдали, указывая дорогу.

Важно все. Купленные у чьей-то калитки яблоки сорта «цыганочка», немного жестковатые, твердые, сладкие, – сонная хозяйка божится, что по такой смешной цене...

Важна спящая у ворот собака, и ее запоздалый смущенный лай, и добрые старые глаза. Лает она больше «по службе», для порядка, а не со зла.

Важна нагретая за день трава, и ореховое дерево на обочине, и несколько темных скорлупок, и влажное еще, клейкое ядрышко с горьковатой кожурой.

Где-то там, на большой земле, большие новости, приправленные солоноватым вкусом большой крови.

Где-то идет война. Захлебываются репортеры, отдаются приказы. Один за другим едут военные грузовики.

Мы сворачиваем с главной дороги и попадаем на другую, изрытую ямами и ухабами.

Навстречу ползет нарядный катафалк, – издалека он кажется цыганской ярмаркой. Во всем виноваты бумажные цветы и пестрые рушники. За катафалком – автобус. Там, за пыльными окнами, старушечьи головы в туго затянутых платках.

Это не та дорога, – шепчу я, это тупик, – надо свернуть побыстрей. Не по душе мне этот осенний погост и эта вереница молчаливых людей, идущих через поле.

Мы выезжаем, наконец, на настоящую дорогу, и меланхоличные коровы вместе с оседающим за реку солнцем остаются позади. Позади остаются сколоченный деревянный крест, небольшая часовня, церковь.

Вновь тянет дымком и уютом.

Пожалуй, мы остановимся здесь, под старым ореховым деревом. И разведем костер.

Нет ничего важней, чем тепло воображаемого очага и мерцание огней там, за выгоревшими полями и буковыми рощами.

Сладкий воздух

Нарядная, живописная и уютная Трансильвания осталась позади, уступив место Валахии. Здесь больше солнца, а по обочинам дороги продают виноград. Вдоль трассы тянутся выжженные беспощадным солнцем поля.

Позади остались Балта Алба, Байле, Сутешти.

Острый взгляд пожилой цыганки. Идущая навстречу девчонка в пестрых юбках. Ее осанка, быстрые насмешливые глаза, обтянутые юной кожей широкие скулы. Коричневый писающий мальчик у ворот (абсолютно голый). Цокающие копыта гнедых, вороных и каурых очень стройных лошадок, их умные кроткие морды, их рафаэлевские профили, их бархатные губы и глаза, их лоснящиеся спины. Старушки в черных платках. Старики в высоких вязаных шапках. Их достойная смиренная старость здесь, в теплых дворах, где виноградная лоза вьется вдоль стен, где яблони клонятся до земли, где лица худы, черны и небриты, где провожают долгим взглядом чужаков.

Все это позади. Колодцы с кокетливыми куполами, похожими на рыцарские шлемы, колодцы-журавли, поджидающие усталого путника.

Сегодня я здесь, в провинциальном городке с узкими улочками и черепичными крышами.

Брынза по-румынски – это полтарелки домашнего творога с домашней сметаной.

Если вы заказываете суп из курицы, то это будет глубокая тарелка с деревенским супом из жизнелюбивой и полнокровной курицы, которая родилась не в застенках птицефермы, а на воле, и дышала чистым воздухом полей.

Воздух здесь сладкий. Пахнет кукурузой и какими-то солнечными цветами.

Видела настоящих цыган. И цыганок, с косами вдоль круглых щек.

И повозки, запряженные нарядными лошадками (с вплетенными в гривы красными косичками).

За окном мужской голос на одной ноте – сварливой и одновременно тоскливой, так бедолаги жалуются на постигшие их невзгоды и бранят бездарную шлюху-судьбу,– где-то я точно такой слышала, – ну как же, в одном фильме о цыганах, – те же интонации, те же звуки, и потому кажется мне, что попала я в другое измерение, в чей-то широкоформатный фильм про чужую жизнь,

со свадьбами, похоронами (кстати, вчера долго не могли выехать из одного поселения из-за медленно идущей процессии, – люди в черном, опять же цыгане, с какими-то хоругвями впереди, и мирно беседующие в самом хвосте) и прочими не менее важными событиями.

Эйфория

А потом ты проезжаешь сонный городок под многозначительным названием «эйфория» и понимаешь, что колесо истории прокатилось по этим мало чем примечательным местам, оставив всего только несколько слов, которые обозначают все что угодно, но не то, что вы мечтали увидеть. За воздушным словом «эйфория» застыли бетонные блоки, натянутые провода, пыльные кустарники.

Дальше идет «олимп», «нептун», – ничего обнадеживающего...

Впереди турецкое слово «дуранкулак», оно почти безлюдно и бессмысленно. Зато где-то недалеко морские дали, паруса, фрегаты.

Кто здесь был? Греки? Турки?

Остались массивные стены, крепкие смуглые люди. Они вполне радушны, но вряд ли открыты. Об этом говорят притаившиеся в глубине дворов дома, внутри которых тепло и уютно.

Вокруг – ни души. Где-то кричат петухи. По-видимому, им мерещится рассвет. А это всего лишь солнечный луч, первый за сегодняшний, да и вчерашний день, о котором расскажу чуть позднее.

***

Дедушка по-болгарски – старец. Топор – секира. Девушка – девойка. Старуха – старица или стара жена.

Слова обретают первоначальный смысл. Возможно, многое звучит архаично и на наш слух наивно, но зато подлинно.

Пожилой мужчина, сидящий в собственном саду возле дома, никакой не старик. Берите выше. Он старец. Это достойно и красиво.

Слова обретают смысл.

Полузабытый смысл и вкус чистой, чуть сладковатой воды, настоящего хлеба, и даже облитых медом «огурчиков», – привет из детства, с Подола, – тот же обволакивающий вкус и почти детский восторг и удивление.

Удивлять – учудвам. От слова «чудо».

Первый солнечный день.

Выходит солнце, и все преображается. Игра солнечных бликов на листьях и старых камнях, висящие рыболовные снасти, гроздь прищепок и связка мясистых перчиков – по-болгарски – чушек.

Сегодня все улыбаются – от людей до собак, которые лениво нежатся на солнцепеке, не обращая никакого внимания на порывы холодного ветра.

Пахнет морем и осенней листвой, и пропитанной солью и дождями землей, и яблочными садами, которых здесь в избытке.

Пловдив

Вот ты и въехал в большой и древний (древнее Рима и Карфагена) город, о котором у тебя столь же мало сведений, как о соседе, живущем в третьем подъезде противоположного дома.

Ежеминутно в этом городе (как и во всяком другом) кто-то рождается, умирает, влюбляется, но все это остается за кадром.

Осень в Пловдиве теплая, – здесь не спешат расставаться с летом.

Здесь тот же вездесущий запашок дряхлости, давнего и бесспорного увядания. Пожалуй, я назвала бы этот город побратимом Палермо. Все покрыто налетом жирной теплой пыли, за вычурными решетками и барельефами дремлют разноцветные коты.

Зачем я здесь?

Зачем бреду по этим переулкам в поисках временного пристанища?

Почему я не дома, и где он, мой родной дом, за тысячи километров отсюда, в не менее почтенном и любимом (ах, так по-разному, так сложно, но все же...)

Что собираюсь познать здесь, в городе древнем, прекрасном, и таком же чуждом, невзирая на такую понятную кириллицу, – а вот и улица Кирилла (и) Мефодия резко уходит то вниз, по стертой каменной брусчатке, то вверх, к другим древним улицам.

Окраины, заселенные то ли албанцами, то ли цыганами, нет, скорее всего, албанцами, – вон «братки» в тренировочных костюмах и пластмассовых шлепанцах, а там – восседающая у ворот, практически на проезжей части, древняя старуха, похожая на прародительницу рода или некое божество, – складки ее темного лика величественны и глубоки, по ним можно изучать историю.

Только не ту, которую пишут для учебников.

А вот растрепанная девочка в маминых туфлях укачивает младшего брата.

Седая женщина роется в мусорке. Она одета в многослойный ворох тряпья, и я поспешно отвожу взгляд от ее согнутой спины.

Это обочина города, его изнанка, его, так сказать, повседневность. Где-то неподалеку нарядные супермаркеты, там все безжизненно и безопасно, но бычий взгляд охранника предупреждает. И я делаю шаг, сглатывая вязкую слюну, потому что в каком-то давнем сне была мне пыльная дорога и тяготы скитаний.

Я иду точно в тумане, потому что еще вчера были горы и простор, и это была дорога «к», допустим, этому городу, который все еще празднует лето, и вот я здесь, онемевшими губами читаю названия вывесок, допустим, «траурная агенция Хронос», – на оградах, фасадах домов и деревьях колышутся поминальные листки, которых здесь, как я уже упоминала, множество.

Они колышутся, поблекшие от времени и солнца, но буквы и имена проступают сквозь серый слой городской пыли.

Я останавливаюсь.

Нет, ошибки быть не может. Буквы армянского алфавита, и рядом – перевод на кириллице. Поминки по незнакомому мне Акопу Арутюняну, и соболезнования его семье, Седраку, Седе, Аветису.

Армянские буквы на блеклом листке сообщают мне о том, что чужих мест не бывает.

Аранхуэс

– Как она приходит? Откуда? – Йордан приложил ладонь к груди и широко улыбнулся, – сейчас, вблизи, он уже не кажется похожим на Мефистофеля, – в берете, отличающем всякого свободного художника, с острой вздыбленной бородкой, с острым, пожалуй, даже орлиным профилем, впалыми щеками и сощуренными проницательными глазами, пронизывающими насквозь, – даже в темноте, задрав подбородок кверху, он отслеживает каждое движение, долгим взглядом провожая вечерних гуляк, – одна бровь сардонически приподнимается при виде летящей в шляпу монетки, и тут же глаза затуманиваются, – Йордан по-настоящему красив, немножко дьявольской красотой, но такой притягательной, – длинный желтый ноготь рвет струны, и звук получается резким, чуть дребезжащим, но таким же пронизывающим, как и взгляд.

Аранхуэс.

Первые звуки донес ветер, – они нарастали с каждым шагом, впивались в меня, врывались, – он застал меня врасплох, этот человек, сидящий на городской площади, – уже далеко не молодой,

в сдвинутом набекрень берете и потрепанных брюках. Чуть поодаль – видавший виды чемодан и распластанная на брусчатке шляпа.

Это был «Аранхуэс» Хоакина Родриго.

Отчего-то здесь, в городе, столь далеком от настоящего Аранхуэса, от сухой и каменистой испанской земли, я слышу эти звуки и понимаю, что встреча эта неслучайна.

– Меня зовут Йордан, – кивает он, – и затягивает старинную родопскую песню, – тягучую, похожую скорее на стон.

– Я видел, как вы преследовали меня, – Йордан смеется хриплым кашляющим смехом, – зачем вы преследовали меня? – признаться, я тоже заметила его взгляд из-под косматых бровей, – несколько раз мы успели обойти площадь, то удаляясь, то приближаясь к источнику звука.

Весь день был похож на глубокий провал, – знаете, как это бывает? Идешь по городу, в котором ничего твоего, – ни одного лица, ни одной узнаваемой улицы, и город этот чужд, и сам ты себе не брат и вообще никто, – бредешь почти безо всякой надежды, и вдруг...

Лавина звуков обрушивается, сносит все, все твои мятые и несвежие мысли, все эти смехотворные и нелепые одежки, – и вот ты обнажен, обнажен и одинок, одинок и бессилен, бессилен и бессмертен, бессмертен и велик, как все живущее на этой земле, которая едина, одна на всех, будь то Испания, Греция, Стамбул или Пловдив.

Кто скажет мне, где заканчивается одно и начинается другое?

Кто определяет, турецкий это берег или греческий? Там, вдалеке, невидимая полоса отделяет Родопы от Греции, а с другой стороны я вижу другую землю, которая так похожа на эту, – там те же горы и те же каменистые склоны, вдоль которых ползут огненные леса. Там плещется озеро Ван, там гора Арарат, – совсем рядом, рукой подать, – только сегодня я здесь, в этом теплом и уже не чужом городе, стою рядом с музыкантом по имени Йордан, слушаю бессмертную музыку Родриго, великого слепого.

– Откуда она приходит? – Йордан засмеялся, запрокинув голову.

– Из космоса, – из космоса она приходит, дорогие мои, – как и все самое прекрасное в этом мире, – ведь и мы оттуда, только не всегда помним об этом, – который час? – половина десятого? Десять? – пора, уже пора, после десяти проблемы с полиция, – и добавляет зачем-то: – уже четыре года как жена умерла, дочь в Штатах, – все, что у меня есть, это моя гитара, – и резко отвернувшись, машет рукой куда-то в темноту: – всичке добре, довиждане...

Танец Йонки

В холле отеля теплый стариковский запах.

Отель носит следы былой советской роскоши, на полу грязно-розовый ворс, потолки высокие, к размерам ванной комнаты тоже претензий не имеется, на ресепшн дремлет старец в шерстяной ермолке, – к слову сказать, полночи этот самый дедушка такие фортеля откидывал под горячие балканские переливы, и, похоже, там, на первом этаже веселился не он один. Раздавались требовательные и отрывистые вскрики, топот довольно тяжелых ног и заливистый женский смех.

Было даже немножечко завидно, потому как сил на такое конкретное веселье не было, а почему не было этих самых сил, я сейчас расскажу.

В последний вечер Йонка решила сразить нас наповал.

Банницы с кашкавалем, буйволиное молоко, шопский салат, заказанные лично мной баклажаны под прессом (так их готовят в Армении и, как оказалось, в Болгарии), с чесночком. Фаршированные печеные перцы, – Йонка называет их «чушке».

Так вот, на баклажаны эти самые, как и на перцы, я, наверное, год смотреть не смогу.

Последнее, что я еще помню, это прекрасная Йонкина улыбка, полный стакан ракии в ее руке и слова «на здраве!».

На столе, помимо трех видов ракии, стояла бутыль домашнего червоного вина, которое было чистым и легким, как будто текло прямо из виноградной лозы...

Давно не ощущала я себя столь умиротворенной и округлой, – точно полная луна, плыла по коридору под звуки томительных и донельзя зовущих народных мелодий, которые лились из специального телевизионного канала, включенного специально для дорогих гостей.

Уже засыпая, я видела как кружатся в медленном танце Йонка и Йончо, как кружатся стаканы с ракией, бокалы с вином, а также съеденный третьего дня в подозрительной придорожной таверне «боб чорба», омлет, кисле мляко и что-то еще...

Следующим нашим желанием было стремление поскорее вырваться из бесхитростных и патриархальных объятий замечательных хозяев.

Итак, как было отмечено выше, сил на веселье у нас не было, а вот у старца в вязаной ермолке они были.

Зато сегодня, омытый ночным дождем, город показал себя с наилучшей стороны.

В нем было немножечко Венеции, Севильи, Праги и Барселоны. Только без туристической карусели, когда все лица сливаются в одно бессмысленное пятно.

Если бы

Если бы я сделала этот снимок...

Если бы я сделала снимок, то кадру этому вполне могли бы позавидовать лучшие фотографы, операторы и режиссеры мира.

Если бы я его сделала.

Я могла бы почивать на так называемых лаврах, раздуваясь от сознания собственной удачливости и гениальности.

Но я его не сделала.

Я не могла фотографировать эти лица, эти глаза, эти запавшие щеки, этот взгляд, провожающий уходящий день, еще один из многих.

Три женщины в темных платках на пороге разрушенного дома.

Три жизни на границе не-бытия, скользящее вечернее солнце.

Я не могла без спросу вломиться в их реальность, такую далекую от моей.

Такую несовместимую с проявлением этнографического, скажем так, любопытства.

Я не могла снимать сидящих у дороги друг напротив друга не вполне трезвого мужчину и пожилую женщину, по всей вероятности, близких по крови, так темны были их лица и остры глаза.

Жизнь остановилась здесь, хотя нет, она течет по камням, вдоль стоящих безмолвно домов, она все еще происходит, допустим, вон там, на отшибе, пасутся жеребята, совсем подростки, – вороные, атласные, одновременно неловкие и грациозные.

А там ревет понурый ослик.

А еще дальше сгорбленная старушка загоняет в дом стремительно выпорхнувшую оттуда козу. У козы огромное колышущееся вымя, аккуратно упакованное в некое подобие бюстгалтера.

Коза в бюстгалтере задорного ярко-красного цвета!
Есть! Жизнь есть!

Она в одуряющем аромате диких трав, и в глазах сидящих на пороге старушек, – солнце все еще золотит их неподвижные лица...

И выпивший сын проспится и обнимет свою старую мать, и они уйдут в дом и растопят, конечно же, печь или там камин, и будут смотреть в окно, думая о хорошем.

И мы, переглянувшись и немного сожалея о несделанных шедевральных снимках, двинемся дальше, снимая по пути пасущихся коз и ослов, а также дома, пустые и не очень.

Река времени

Проезжаем Аксаково, Волчий Дол, Торговище, Кесарево, Божица. Позади Шереметя и Спасовцы, Царева Ливада, Дряново и Цинга (вот бы пожить в деревушке с названием Цинга).

А вот и Габрово, знакомое по «Габровским уловкам» из детства.

Позади легендарная Шипка, тот самый перевал, знакомый по учебникам истории.

Вершина Безлуджа.

Впереди – Тракийская долина с могилами фракийских царей.

И, точно турецкий ятаган, острое и звонкое слово «Казанлык» – опять и опять гробницы, и склепы и храмы, курганы Голяма-Арсеналка, Шушманец, Хелвеция, Грифоны, Светица и Оструша.

Подножие Старой Планины (Балканских гор). Долина роз, прекрасный Казанлык.

В маленьких, да и в больших городах повсюду вывешены фотографии ушедших. Как некое напоминание для тех, кто забыл. Со дня кончины такого-то или такой-то – четыре года, три, два...

Хочешь не хочешь – а задумаешься. Лица ушедших везде, на стене и калитке каждого дома. Ты как будто находишься одновременно в двух мирах, в разных измерениях – этом, живом, теплом, – и том, другом, – с далекого берега воспоминаний.

Эти глаза с чужих фотографий ежеминутно напоминают о быстротечности и условности земного бытия. То, другое, не менее реально, и о быстротечности там речи нет, потому что там нет мгновений, нет часов и минут, нет, собственно, самого понятия времени.

И то, что для нас – год или четыре, для них – безбрежная и полноводная река, смывающая боль, усталость, земные радости и печали.

Тема лозы и граната

Сегодня я живу в мансарде дома песочно-коричневого цвета, с полукруглыми балкончиками, выходящими на крыши других домов и на дымчато-голубые горы, которые кажутся такими близкими – просто рукой подать

Когда же, о, когда, – я всматриваюсь в линию горизонта, в ее причудливый абрис, и жду прилива любви, я жду, собственно, самой любви, которая существует, вне всякого сомнения, где-то там, в глубинах этого удивительного мира. В необозримых пространствах и недрах разлита она по крупицам, – это она проступает сквозь набухшую кожуру граната, – это она услаждает слух пением птиц, это она вьется лозой по кирпичной стене.

Когда же, о, когда, – я жду темы граната и лозы, я жду особого благоволения, верной ноты, я прочищаю горло и продолжаю всматриваться в дымку, в плывущие по устью реки кленовые листья.

Я покупаю самый зрелый гранат и кладу его на стол, – касаюсь граней и выпуклостей, вслушиваюсь в его дыхание, подобно тому как женщина на сносях вслушивается в дыхание будущего младенца.

Я слышу, как зреют его зерна, темнеет кожура, – я чувствую, какой мощной и невиданной силой наливается плод, готовый разорваться в моих ладонях.

Я жду любви, восторга, тишины, музыки.

Знакомого покалывания в кончиках пальцев, жажды, стягивающей гортань, – в ожидании той самой единственной линии и того самого цвета, неизмеримо более важных, нежели буквы и слова, из которых они состоят.

Шапито

Цирк приехал! Цирк!

В любом уважающем себя провинциальном городке, помимо амфитеатра, похоронного бюро и свадебного ателье, есть цирк.

Не тот, к которому привыкли обитатели больших городов, нет, а совершенно иной, несерьезный, маленький, – как правило, на окраине, где расположилось также несколько вагончиков и касса, в которой продают настоящие билеты.

Это цирк-шапито.

С дрессированными собачками, с жонглерами, канатоходцами, коверными (куда же без них!). И десятком-другим завороженных и восторженных детских глаз, потому что ребенку... как бы это сказать, ребенку для чуда нужно не так много.

В маленьких городах чудеса поджидают на каждом шагу.

Идете вы, скажем, по скучному спальному району, думаете всякие ежедневные мысли, без особого интереса поглядываете на вывески, которые ничего заманчивого не сулят, на неторопливых горожан, а они, в свою очередь, мельком отмечают ваше еще не примелькавшееся лицо.

Сворачиваете с одной улицы на другую, по привычке любуясь желтизной осенней листвы, – так уж заведено, – чужеземец всегда отыщет повод для восторга, – но как-то неубедительно любуетесь, бесстрастно почти...

Сворачиваете в совсем глухой и малоинтересный переулок, неподалеку от базара, на котором продают все, от шнурков до настоящей конской упряжи.

Касаетесь потертого кожаного седла, перебираете мятые сморщенные перцы, вскользь отмечая, сколько разноцветной и веселой красоты произрастает на этой земле, от переспелых тыкв до еще незрелых жестковатых и вязких плодов хурмы.

Вы любуетесь всем этим вскользь, лениво, прикидывая, что делать с новенькой упряжью для доброго коня, если нет, собственно, коня, и осла тоже нет, но есть подкова, – она продается тут же, недорого, – настоящая подкова на счастье...

Которого, по всем приметам, должно быть навалом, – об этом сообщает невидимая птичка с ближайшего дерева, причем сообщает она весьма традиционным для птички способом, после чего вы долго отряхиваетесь, протираете щеки, очки, нос...

Вы протираете очки и останавливаетесь, не веря своим промытым только что глазам.

Что-то из далека, из чужого наивного и восторженного детства.

Натянутый разноцветный тент, вагончики во дворе и девочка в гимнастическом трико, жонглирующая горящими факелами.

Фургончик дядюшки Бризака, петляющий по пыльной и бесконечной дороге, и смешная бесхитростная песенка из старого фильма

Ноябрь

За дверью происходит чья-то жизнь. Жизнь маленького городка, о существовании которого еще несколько дней тому назад я не подозревала.

Кто-то въехал, кто-то уезжает.

Сколько бы ты не бежал от ноября, он все равно настигает, вместе с дождем и запахом первого снега. Даже здесь, в южном городке на границе с Грецией, хочется задернуть шторы и смотреть какой-нибудь длинный фильм, желательно мелодраму со счастливым концом.

Приходит время грусти, независимо от того, в какой ты стране, одинок или не вполне, счастлив или не очень.

Кажется, стоит только выйти за дверь, сорваться с насиженных мест...

Но наступает ноябрь, и становится зябко смотреть на горные вершины, покрытые вечными снегами.

Дороги развезло, и хрупкое гранатовое деревце мокнет под дождем. В чьем-то дворе лежит мокрая собака, невеселые коренастые люди застыли у ящиков, на которых мокнут бутыли с вином, банки с вареньем и медом, яблоки и гранаты.

Гранат по-болгарски – нар. По-армянски – нур.

Мне хочется гранат. Не есть. Коснуться жесткой кожицы, ощутить его наполненность, совершенство.

Гранат – это Вселенная. Как можно съесть Вселенную. Ее можно познавать, по зернышку, по миллиметру.

Мне хочется купить гранат, но я медлю. Хмурые люди у прилавка давно утратили веру в то, что кто-то купит их гранаты и баночки с вареньем.

По утрам они выгружают все это богатство на обочину дороги, а вечером уносят обратно.

Я хочу гранат, только один гранат. Не есть, а касаться.

Я касаюсь его взглядом.

Лучшая форма обладания.

Любить не касаясь.

Застывшие у обочины люди давно не улыбаются. И гранаты у них маленькие, неказистые, совсем не похожи на своих собратьев из супермаркета, – с тугой блестящей кожицей, под которой взрываются алые зерна.

Я вижу ослика на холме, жеребенка в долине.

Все тонет в тумане, – дорога, ослик, застывшее у дороги дерево.

Мне хочется свернуть с этой дороги, выехать из этого города и этой деревни. Говорят, где-то здесь родилась прорицательница Ванга. У нее было такое же лицо, как у идущей впереди старушки в черных вязаных чулках. Коричневое, строгое, похожее на эти горы и деревья, на маленькие шершавые плоды.

Рупите. Здесь жила Ванга, на этой истрескавшейся земле, под тонким слоем которой клокочет лава.

Горячее дыхание обжигает подошвы.

Когда наступает ноябрь, Вселенная созревает. Она скатывается под ноги, полная горячих кисло-сладких зерен.

Когда наступает ноябрь, приходит время грусти, независимо от того, в какой ты стране, одинок или не вполне, счастлив или не очень.

Дом пчелы

Мой муж – пчела, – сообщила она и для пущей убедительности несколько раз взмахнула руками.

Муж, крепко сколоченный небритый мужчина, переносил ящики с овощами из потрепанного подобия жигуленка.

Мой муж – пчела, – повторила она и закивала, указывая на баночки с медом, – это был, несомненно, превосходный нектар, собранный неутомимыми пчелами с разнообразных степных, луговых и полевых цветов.

Какая добрая, богатая земля, на которой живут эти трудолюбивые и на мой поверхностный взгляд простодушные люди. Лица у них коричневые, обветренные, иссушенные солнцем, с тяжеловатыми крупными чертами.

Ширококостные, упирающиеся в землю чуть коротковатыми ногами, – землепашцы, рыбаки, пчеловоды, садовники.

Стоит отъехать от этих благословенных мест, и фенотип меняется, – от широкого к более утонченному. Но все же, обитатели этой земли более смуглы, нежели бледны, и достаточно упитанны, но упитанность эта без вялого жирка, – еда здесь простая, сытная, крестьянская.

Вот стоят они вдоль дороги, ежась от порывов уже осеннего ветра, буквально сбивающего с ног, – над развалами арбузов, разноцветных тыкв, над ящиками с томатами, перцами, виноградом.

Бог мой, кто все это купит и уж тем более съест?

Вчерашней ночью я видела лежащие на обочине арбузы – бери не хочу, – хозяев нет, дорога пустынна, и только затянутая дымкой луна освещает этот апокалиптический в определенной степени пейзаж, – огромность неба в огненных разводах и сполохах, безлюдность земли, – множество зияющих окон в недостроенных и брошенных домах, множество заколоченных дверей и пустующих минимаркетов.

У магазинчика топчется некое существо мужеского полу, – вечное дитя, хоть и заросшее жесткими черными волосами, – в безразмерных штанах, затянутых безразмерной бечевкой вокруг безразмерной талии, – он топчется, поглядывая в нашу сторону, – взгляд его кроток и одновременно безумен, – я стараюсь не смотреть в его сторону, но все же не выдерживаю, оглядываюсь, – он стоит, все так же кротко всматриваясь во что-то, известное только ему.

Точно такой же – возможно, его брат или товарищ по несчастью – повстречался нам еще утром, – увидев нас издалека, он распахнул куртку, под которой оказалось подобие белого кителя с погонами. Поглаживая погоны, он лепетал что-то на птичьем своем языке, приглашая, очевидно, порадоваться вместе с ним, его утопающие в небритых щеках глазки сияли и лучились, но на глубине этих глаз плескалось безумие, там бродили тени, горели факелы и выли шакалы.

Бегом, бегом из этих мест, от этого вселенского сквозняка, домой, – вернее, туда, что зовется сегодня домом, – к спасительному камину, к зажженным свечам, массивным каменным стенам, деревянным балкам и перекрытиям.

Там пыльная бутыль с добрым красным мерло, в меру терпким и легким, – я поднимаю стакан и вглядываюсь в мерцающие рубиновые блики. Рядом потрескивают дрова.

От очага, совсем не гипотетического, а вполне реального, идет ровное доброе тепло. Оно идет от вина, от огня, от доброй и простой еды.

Богом данная данность – вот она, не нарушаемая ничем, – тяжелая темно-бордовая скатерть на массивном столе, медный подсвечник, соседский котенок, зашедший на огонек.

Грациозно изогнувшись, он мурлычет, переступает аккуратно перебинтованными лапками, подбирается ближе, заглядывает в глаза.

Еще день-другой я буду считать этот дом своим, но завтра сюда придет зима.

Погаснет очаг, и окна этого дома станут темными, пустыми.

Мы двинемся дальше, – за ускользающим солнцем, за рубиновыми каплями на стекле, за запахом дыма и хрустом случайной ветки в случайном лесу, подальше от умирающей красоты и зимней скуки курортных городков и поселков.

Высокая Могила или «добре дошли»

Не спрашивайте. Как доехали и как, собственно, вернулись.

Оказывается, есть на земле и такие места. Сказать по правде, название меня несколько смутило. Вот он, указующий перст.

Обрадовала подсказка всезнайки гугла.

На русский эта самую «могилу» быстренько перевели как «курган», и я почти успокоилась.

Все-таки, не одно и то же.

Если «изход» – это всего лишь выход, то ледяное дыхание Высокой Могилы тут же сменилось тюркским и округлым – КУРГАН. Курган, тюрбан, барабан. На сердце потеплело, и, прихватив на всякий пожарный по паре теплых ботинок и свитеров, а также термос со сладким горячим (с непременной щепоткой кардамона, корицы и куркумы) чаем, мы двинулись в путь.

Не спрашивайте, как доехали и как, собственно говоря, вернулись.

Сладкое дыхание Эллады сменилось горьковатым духом запустения.

Вероятно, я давно утомила собравшихся описанием горных красот и упоминанием о быстротекущих горных реках, о дивных отполированных влагой камнях и висячих деревянных мостах – образцах примитивного зодчества.

Близость современного и большого города с уютным названием Благоевград никак не отразилась на заброшенности этих мест.

Мелькают указатели. Кюстандил, Симитли, Сопово.

Почти пастораль. Почти. Если не считать проваленных крыш, заколоченных давно и, по-видимому, навсегда, домов. Старушек с ангельскими ликами, идущих навстречу, старых собак, бредущих в никуда.

Все тонет в молоке.

Одинокое дерево на пригорке.

Как и было обещано, Высокая Могила оказалась действительно высокой, – отсюда видны Рильские горы – все эти обворожительные впадины и выпуклости, утопающие в тумане, – влажное мерцание трав, их аромат, их пьянящее буйство, – идиллия пасущихся вдали коров, их сонное тепло, и этот запах – земли, влаги, пыли, – жизни и смерти, тлена и забвения.

Когда-то здесь цвели яблони.

– Here is very beautiful! – сладкоглазый мужчина с греческим именем, – средним между Аристополис и Архимедус, затягивается сигаретой. Как хороший актер, он вовремя подает реплики, держит паузу, скромно и с достоинством нахваливает товар. Его можно понять.

Кто захочет остаться здесь, в сомнительном уюте Высокой Могилы, – хоть трижды назови ее курганом, она останется могилой, то есть местом захоронения, и ничем иным.

Я все еще оборачиваюсь, пытаясь полюбить это место, которое, несмотря на всю его запущенность, прекрасно, – у самой дороги сидит пожилой пастух, а там, чуть поодаль, пасутся козочки, черная и белая. Старая женщина колет дрова (видать, больше некому). В этих запущенных домах живут люди, я вижу их, и это, пожалуй, становится, главным откровением дня.

Я вижу приметы догорающей жизни, – я видела это не раз. Я знаю, как это пахнет, я знаю, как это выглядит. Я знаю, что это надолго. Я помню, что это навсегда.

Кто захочет провести здесь остаток дней своих, упиваясь молоком и медом, медом и молоком, козьим, овечьим, любым, встречая рассвет с петухами и засыпая под таинственное мерцание звезд, здесь, в непосредственной близости от большого и современного города и скоростного шоссе, но на окраине мира и, возможно, вообще за пределами бытия?

Утро в горах

Сегодня я пасла овец.

То есть, конечно, пас их пастух, настоящий пастух вместе со специальной пастушьей собакой, а я, в общем, только перепрыгивала с камня на камень, – увязая в глине, елозила по извилистым

тропкам, радуясь крепкой обувке и теплой погоде, нежному туману, окрашивающему горные склоны в спектр благородных – от сепии к болотному, от молочного к едва голубому и жемчужно-серому – цветов.

Я ощупывала ногами эти самые склоны, поросшие жестким и рваным кустарником, усеянные тут и там сухими колючками и следами пребывания удивительных и, право же, благородных во всех отношениях созданий, взирающих на меня с библейской кротостью и воистину христианским милосердием, – ведь и козлу понятно, что пришелец, явившийся в эти края с неумеренными изъявлениями крайнего восторга и возбуждения, пришелец этот, размахивающий руками, выкрикивающий бессвязное на чужом и малопонятном языке, абсолютно и бесповоротно неуместен здесь, в этом благословенном месте, в котором только овечье блеяние, лай собак и отрывистые выкрики пастуха – хайде, хайде, эй...

Божественные создания взирали на меня с библейской, повторюсь, кротостью и отворачивались, продолжая меланхолично жевать траву, – пастух же и вовсе прошел мимо, так и не удостоив ответом мое робкое «здрасте», – он гнал свое стадо со знанием дела, он говорил с ними на особом, понятном только посвященным языке, а я думала обо всех нас, толкающих тележки в нарядных супермаркетах и не ведающих, какой удивительный путь проходит кусок овечьего, козьего или коровьего сыра, какой долгий и прекрасный путь проходит он, начиная с первых лучей, ласкающих склоны, согревающих землю, – до нежного перезвона там, в туманных долинах, от нежного перезвона крохотных медных колокольчиков до перестука копыт, от теплого запаха навоза и овечьей шерсти до красного иссеченного ветрами лица пожилого пастуха, вынимающего ломоть хлеба из влажной тряпицы, от лая старых, несущих дневную вахту собак до...

Какой долгий путь проходит кусок овечьего острого и соленого сыра, напитываясь дыханием неба, земли, трав, пропуская через себя потоки горных ручьев и влажной утренней взвеси.

Так думала я, упираясь ногами в камни и глину, я улыбалась ветру, пастуху, овцам, козам, – я благодарила Вселенную за дарованный мне миг свободы и вселенской любви ко всему живому и дышащему, и тому, кто, собственно, вдохнул эту самую жизнь и это самое дыхание.

Долгий день в горах

Один долгий, долгий день.

Сколько горы не снимай, а факт остается фактом.

Вы уедете, а горы будут стоять, как стояли до вас, впрочем, они всякое повидали, эти горы.

Вы будете далеко, а виноградная лоза, оплетающая крыши и стены домов, будет виться до самой земли, точно так же, как сто, двести, триста лет тому назад, и даже тогда, когда по каменистым тропам этим брели ученые мужи и монахи, сыновья христианки Палладии Козьма и Демьян, и несли исцеление и утешение страждущим.

Увядшая, она тем не менее кажется бесконечно живой, – проходя мимо старых домов, я прежде всего обращаю внимание на нее, и иссохшие, исклеванные птицами гроздья сообщают о запустении в этих местах.

Ах, нет же, нет, вон и белье сохнет, и испуганные коты шныряют меж прутьями, и дрова рассыпаны тут и там, – значит, жив дом, жив, поскрипывает половицами и ступеньками, вздыхает по-стариковски, помаргивает окнами, а где-то там, в подвале, дозревают бутыли с легким молодым вином, пахнет чабрецом и козьим пометом.

Вы уедете, а дом будет стоять, там же, где и стоял, в окружении величественных гор, – чуть накренясь в сторону бушующей реки, он будет жить своей отдельной ни на что не похожей жизнью, в которой нет места детским голосам и громким звукам, потому что один скатившийся камень повлечет за собой десяток других, и весть об этом принесет сойка или дятел, или та же быстрая река Струма, или чуткий стариковский сон, а котором больше воспоминаний, чем, собственно, самого сна.

Сумерки в горах

Сумерки в горах полны грусти.

Какой-то неизбывной тоской пронизано все на закате солнца. Прекрасен огненный закат, прекрасны акварельные разводы, перетекающие друг в друга – облака, горы, дома вдалеке, вьющийся дымок.

Еще миг – все утонет во мраке.

И ты останешься один на один со Вселенной.

Мертвый дом

Дома умирают.

Дома умирают, как люди.

Тринадцать лет здесь не было жизни. Я поняла это уже по дороге, вслушиваясь в сбивчивые и смущенные разъяснения соседей.

Им неловко было вести людей в мертвый дом.

Тишина, особенная, совсем не та, которая царит в опустевших недавно домах или в домах, откуда вышли на пару часов.

Совсем не та.

Тишина, в которой нет будущего, нет настоящего. Нет кашля старика, лая собаки, смеха ребенка.

Прошлого тоже нет.

Его не разглядеть сквозь мутные стекла окон.

Уже на пороге я остановилась, пронзенная ужасом. Куча щебня во дворе, битый кирпич, пыль, много пыли. Бурьян, заросли чертополоха, колючки. Сухая виноградная лоза все еще вьется по стене, по дырявой черепице.

Вот эти вмятины и изломы видны издалека. Теперь мне ясно выражение – «просевшая, прохудившаяся крыша».

Крыша оседает, потому что ей некого больше укрывать. Эти стены никого не защищают, и никто не защищает их.

Тишина небытия. Тлена. Сквозь паутину проступают морщины, рубцы, шрамы.

Кто-то ушел отсюда давно. Очень давно. Первым ушел человек, за ним – собака.

Она долго ждала, долго. Звенела цепью, выла, вздрагивала от каждого скрипа. Бросалась на собственную тень, вела долгие беседы с ветром и луной.

Потом ушла и она.

А у оставшихся не было сил вдохнуть жизнь в осиротевший дом. Сил или желания.

Скрипнула проржавевшая калитка. Хрустнула ветка под ногой.

Я выскочила оттуда, будто ужаленная. Смотрела в небо, переводила дыхание.

Здравствуй, жизнь! Здравствуй, ветер! Солнце, цветы и птицы.

Я вслушивалась в звуки, шорохи, такие обыденные и такие прекрасные. Я поглощала цвета, запахи. Я мяла в пальцах сухую травинку, вдыхала пыльцу.

Марширующие вдоль дороги гуси. Беспородный брехливый пес. На носу его точно такие морщинки, как у моей собаки.

Идущая через пустырь цыганка в пестрых юбках. Припорошенные пылью гроздья дикого винограда.

Запах чабреца, дикой мяты, хлеба, вина.

Удаляясь от мертвого дома, я возвращалась к жизни.

Эксодус

«Выход» по-болгарски – «изход», а по-гречески – «эксодус».

Русское «исход» несет в себе не обыденно-житейское «туда-сюда», сами понимаете, а нечто гораздо более эпическое и, вне всяких сомнений, библейское.

Еще до репатриации я зачитывалась культовой в своем роде книгой Леона Юриса «Эксодус» («Исход»), ее же я перечитывала уже в Израиле, наслаждаясь переносом литературных аллюзий на абсолютно реальную почву.

Условность обретала цвет, форму, перспективу.

Слово «исход» обрастало плотью. Это я задыхалась от египетской жары, это я брела по пустыне, это я покидала родной дом и пускалась в путешествие без конечной остановки и билета в обратный конец.

Это я училась ходить и говорить заново, будто младенец, ощупывая каждую пядь, угадывая звук и букву.

В мое первое израильское лето я в последний раз дочитала «Эксодус», закрыла потрепанную книгу и ...забыла о ней.

Я пустилась в плавание, совсем не романтическое и уж отнюдь не героическое, интуитивно догадываясь, что о моем исходе никто не напишет.

Кроме, пожалуй, меня самой.

Что такое исход в масштабах человека? Смена привычной системы координат, в которой ты плохо ли, хорошо ли, но привычно ориентируешься.

Нужно о многом забыть, научиться забывать, во всяком случае – до лучших времен, вот хотя бы до дня сегодняшнего, – рассеянным взглядом следуя за указателем с греческими буквами «έξοδος», английскими «exit» и болгарскими «изход».

Ничего особенного, никакой патетики, – ты просто выезжаешь из одной страны и въезжаешь в другую, напряженно всматриваясь в голубые дали и плавные линии расступающихся гор, – задаваясь вопросом, – неужели вот здесь, после условной черты, которая сдвигалась и переносилась бессчетное количество раз, – неужели вот здесь, в этом самом месте, где привычная кириллица сменяется греческой альфой и омегой, и все становится греческим – склоны, поля, горы, пасущиеся вдоль дороги овцы, – как же так, – ошеломленно восклицаешь ты, – ведь только что все было одним, а стало другим, – каких-то несколько шагов, и вот она, Эллада, нежится в лучах рассеянного света, позвякивает колокольчиками, белеет домами, зеленеет холмами, – здесь тоже поздняя осень и ранние сумерки, но у нас в запасе еще несколько часов, – растопыренная пятерня мифического бога тянется до самой земли, – солнечные струи ласкают кроны оливковых деревьев, а вот, собственно, и сами оливки, – огромные, величиной с абрикос, – зеленые, темно-коричневые с красноватым отливом.

Дорога вьется, петляет, воздух становится терпким, душистым, мягким, шелковым.

Как будто сладкая река несет к молочным берегам, и вновь и вновь ты вспоминаешь свой давний сон и долгий путь, и таинство знакомых слов.

«Изход». «Exit». «ξοδος».

Стамбульские кошки

Если бы я могла написать о стамбульских кошках...

Об их живости и упитанности в то же время, об их сановной какой-то лености и горделивой осанке.

Стамбульские кошки – это особая каста. Их можно любить, их можно с трудом выносить, – это ничего не изменит. Они везде. Пышнобедрые и волоокие, точно гаремные жены, так и норовят войти в дом, – через окно, конечно же, а вы как полагали, – особенно, если учесть, что окно

это вровень с крышей соседнего дома, – таковы реалии дешевого ночлега, – только откроешь окно (а не открыть его невозможно, если хочешь жить и дышать), – только откроешь окно – и торжествующая усатая морда тут как тут, – тяжелая лапа шарит по подоконнику в поисках чего-нибудь этакого, и оно, безусловно, находится.

Стамбульские кошки – существа утонченные и любвеобильные. К глубокой ночи стихают звуки, доносящиеся из уличных ресторанов, коих здесь великое множество, расходятся по домам ночные гуляки, запираются многочисленные лавки и халяльные, и наступает время кошачьей любви.

Кошачья любовь длится примерно часов до пяти утра, потому что после пяти улица потихоньку возвращается к жизни, – открываются пекарни, а в подвалах, окна которых находятся вровень с тротуаром, она так и не прекращается, да и о каком затишье может идти речь в старом квартале Стамбула?

Они кричат так громко и вызывающе, что всполошенные чайки вторят им, кружат над крышами, издавая странные и вовсе не птичьи звуки. Порой они бранятся точно извозчики, а порой хохочут, напоминая базарных кумушек.

Я видела танцующих в воздухе чаек.

Я видела этот безумный, полный изящества и насмешки танец. Они будто дразнились, смеялись – возможно, над теми же снующими в переулках котами, – демонстрировали полную независимость и абсолютную свободу, – рожденный ползать никогда не взлетит над Босфором, – как будто кричали они, исполняя издевательские кульбиты в воздухе.

Лучшее время – это сегодня

За один день в этом городе проживаешь тысячу жизней.

Время бежит слишком быстро и в то же время течет, струится, ползет, как эти извилистые улочки, жизнь которых не прекращается ни на мгновение.

Время бежит и несется вслед за вон тем мальчишкой, или за торговцем сластями, или за руками пожилого мужчины, который раскручивает тончайший, с папиросную бумагу, лист теста, – раскатывает, раскручивает, и лист опадает, пузырится, дышит открытыми порами, точно только что произведенное на свет божий существо, рожденное не в муках, а в радости, потому что лицо этого человека за мутным стеклом спокойно и светло, – человек делает свое дело, – точно так же делал его дед или отец, – на первый взгляд такое монотонное, – день деньской он раскатывает и раскручивает над головой эти влажные дышащие листы и осторожно, на вытянутых руках укладывает их, будто малых детей, он раскладывает их, разглаживает и улыбается чему-то или кому-то, – вот и день прошел, вот и хорошо, а завтра наступит еще один.

– Лучшее время – это сегодня, – раздается чей-то голос, – это молодой турок убеждает сомневающуюся девушку, – время для посещения святых мест подходит к концу, и девушка колеблется, как и положено девушке, но что может быть убедительней этих слов?

Лучшее время – это сегодня, дорогая ханум, – время пить чай, раскатывать тесто, бродить по бесконечным улицам огромного города-базара, в котором сотни других городов и базаров, – здесь, за старыми стенами Константинополя, все так, как и прежде, – азан, голос муллы, запахи – свежего хлеба, сластей, жареных мидий, нечистот, – все как прежде, – ковры, щедро стекающие под ноги, – все эти туго сплетенные нити, – сплетенные руками умельцев, – ковры турецкие, армянские, таджикские, – сваленные в углу, томятся они в душной лавке, – ковры как картины, – их нужно раскатывать, нахваливать, расстилать, – ими нужно любоваться, цокая языком, пробуя пальцами, – закатывать глаза, сочиняя истории, абсолютно правдивые и немыслимые, – о кочующих иранских, курдских и армянских купцах, еврейских менялах и пророках, о дервишах и святых, заклинателях змей и странствующих монахах, – истории сплетаются, вырастают одна из другой, и ты не успеваешь понять, где заканчивается одна и начинается другая, – узор сменяет

узор, цвет накладывается на цвет, – хозяин лавки потеет, снимает пиджак, – глаза его горят, на щеках – румянец.

Вот он – театр, подмостки, актеры и зрители.

Это мы с вами, идущие по улицам города, в котором все смешалось, – лица, языки, правда, вымысел, – скажи, почтенный эфенди, куда ты бежишь, куда несешься, зачем сверкаешь глазами, зачем тянешь за рукав?

Лучшее время – это сегодня, – остановись, взгляни на этот узор, подумай о времени, которое столь иллюзорно, столь бессмысленно, столь условно, – кто говорит о времени или думает о нем в этом месте, кто считает часы и минуты, когда наш удел – вечность, – мы пребываем в вечности, приходим из нее и уходим в нее же, и жизнь человеческая короче взмаха крыла бабочки-махаона и длиннее, безусловно, длиннее самой невероятной истории, рассказанной одним хорасанским купцом на стамбульском рынке.

Украина-Румыния-Болгария-Греция-Турция
Сентябрь-октябрь-ноябрь 2014

У камней есть время

В тени гигантских черепах

Кажется, я в раю. Думаю, что синий цвет произошел отсюда, – синее этих вод и этих гор я ничего не видела. Живу простой, размеренной жизнью. Пью домашнее вино, учу греческий алфавит. На побережье полно немцев, деятельных, шумных, доброжелательных. Повсюду немецкая речь. Если Португалию захватили англичане, то греческие острова не что иное как немецкая колония.

Каждый час в местной церквушке звонят колокола. Вот и сейчас. Шумит море. Наверху, в городе, открываются лавки, гремят засовами, скрипят калитками. Кофейный дух щекочет ноздри. Что может быть прекрасней традиционного наперстка кофе по-гречески (он же по-турецки), который нечто большее, чем напиток. Я вижу лица этих людей, исполненные спокойствия и достоинства. Калимера, ясас, – вот и день начался. В оливковой рощице звенят цикады, кузнечики величиной с кулак и прочая дикая живность.

За день солнце несколько раз перемещается, оставляя позади выжженные участки, пятнистую мозаику цветовых пятен и бликов. Солнце движется по кругу, беспощадное как лезвие в полдень и растекающееся умиротворенно к закату, – оно оседает за линию горизонта, прямо в море, вздохнув напоследок, точно сонное дитя, – успев набегаться всласть, – насытить землю, травы, орды стрекочущих, порхающих, живущих таинственной жизнью, не утихающей ни днем, ни ночью.

Здесь, в «Гюнтер-парадайз», еще издали принято выражать крайнюю степень приятия.

И как же ему не быть, этому приятию, на фоне затянутых голубоватой дымкой гор и изумрудной прозрачности моря?

Издалека мне машут совсем незнакомые люди, – по всему видать, и моя фигура в некоторой степени примелькалась и стала вполне узнаваемой.

Морская соль и беспощадное солнце выжигают и высушивают, не оставляя следа для мельчайшего гнуса. Мягкий белый жир уступает место натянутым мышцам.

Вон идет юная Фатима.

Фатима – моя любимица.

Улыбка расцветает на ее лице подобно цветку, – столь же огненному и волнующему, сколь бесхитростному и по-детски лукавому.

Фатима черна, словно ночь в Мемфисе, черна и изящна, будто выточенная из гладкого камня статуэтка. Ей не более четырнадцати, и голосок ее нежен и сладок, будто сахарная вата.

А вот идет сам Создатель – небольшого роста худощавый голубоглазый мужчина в линялой футболке и наверченном на голову подобии бурнуса. Он похож на доброго эльфа из сказок братьев Гримм. Этот добрый эльф пашет на солнце не покладая рук. Носится туда-сюда с тележкой-тарантасом, ворочает камни. Глаза у Гюнтера всегда смеются или вот-вот засмеются.

Про себя я называю его «антифашист».

Он из тех, чрезвычайно трудолюбивых, совестливых, рефлексирующих и глубоко проницательных героев Генриха Белля, – тех самых, которых не заставишь маршировать в ногу со всеми.

Улыбка Гюнтера.

Как описать ее?

Улыбка Гюнтера – это подарок человечеству, впрочем, как и его «средиземноморский рай», и, видимо, неслучайно, совсем неслучайно, место ему именно здесь, как и прекрасной Фатиме, и юному, не менее прекрасному Марки – настоящему Зигфриду, «маленькому арийскому монстру» с белокурыми рожками волос, то мокрых, то высушенных до неправдоподобной белизны.

И Фатима, и Зигфрид-Марки, и другие – это дети-сироты. Хотя слово сирота подразумевает нечто плаксивое, одинокое, ущербное, обделенное судьбой, – что совсем не вяжется с лицами этих детей, – вполне счастливых, живых, подвижных и... любимых.

Их любят априори. Во всяком случае, спокойное, доброжелательное и веселое внимание окружающих, в том числе и воспитателей, порой дает лучшие плоды, нежели нервическая и переменчивая родительская любовь.

За все время я не слышала ни одного окрика, одергивания, не видела ни одного действия или движения, хоть как-то ущемляющего чувство собственного достоинства этих, извините, сирот.

Припомнились собственные сирые школьные дни, фальшивый пафос и натужная доброта явно нездоровых во всех отношениях взрослых, которым непонятно за какие заслуги вверялась судьба чужих детей.

Да, и у нас были спортивные и пионерские лагеря, а избранные удостаивались солнечного Артека.

Но все это в порядке скорее исключения, которое подтверждало всеобщее правило, увы.

Я живу здесь, среди зарослей бамбука, могучих стволов эвкалипта, в тени оливковых деревьев с жесткими листьями, сверкающими на солнце и покрытыми благообразной сединой на исходе дня.

Кто-то ходит по ночам. Ступает тяжело, ворошит листву, – несколько раз успела увидеть огромных котов, не котов даже, а невиданных животных из семейства кошачьих, – упитанных, ленивых, благодушно-любопытных. Никакого сходства с тощими озлобленными уличными особями, потерявшими всякий человеческий облик в нелегкой борьбе за место под солнцем. Еще бы, здесь этого места навалом...

В зарослях бамбука живут черепахи. Мечтаю познакомиться хотя бы с одной из них. Люблю наблюдать, как медленно переставляют они лапы, перемещают туловище в нужное место, явно никуда не торопясь и никого не преследуя. Говорят, порой они занимаются любовью, сплетаются в тесном и неторопливом черепашьем соитии. Сказать по правде, это мне по душе гораздо более, нежели суетливое и беспорядочное спаривание лягушек.

Иногда над головой пролетают гигантские кузнечики, – тоже безобидные, но внушающие трепет размерами и восхищающие яркой окраской, – от ярко-зеленого до пронзительно-синего.

***

Булочка по-гречески – псомаки. А ведь и правда, – никак иначе ее не назовешь.

Псомаки – нечто воздушное, выпеченное из доброй муки.

Псомаки может быть сладкой, сдобренной изюмом, медом, а может оказаться соленой, слоеной, переложенной пластинами нежирного белого сыра. Ее величества Феты.

Греческий огурец – ангури вполне самодостаточное существо, свежестью своей способное охладить самую жаркую жару июля.

В греческих ягодах нет лукавой кислинки, – они медоточивы и тяжелы, и могут заменить полноценный обед.

***

Здесь время остановилось, и только изредка, спохватившись, кружится, вьется виноградной лозой, плещется волной или глотком юной рецины, стекает по гортани анисовой свежестью узо[1] .

От узо деревенеет язык, пощипывает небо.

Время покинуло эти края. Ушло в иные, суетливые, не ведающие истинной цены мгновению, неспешному постижению вечности мира.

В здешней природе много незаметного какого-то достоинства.

Она существует автономно, независимо от человеческого присутствия в ней. Странные сущности населяют этот мир – насекомые, при виде которых любой приличный гражданин, а уж тем более гражданка, хлопнулся бы в обморок, – с шумом пролетают мимо, не причиняя практически никакого вреда.

Их мир слишком наполнен, – переливается звуками, запахами, – мое присутствие ничего не сообщает и не привносит ничего нового в их существование.

Мое Зазеркалье начинается здесь, – весь мир как на ладони, и, если я пожелаю, он сам придет ко мне, докатится, как волна, или доползет, царапая когтями камни, подобно черепахе, или же долетит, сверкая опереньем, – не стоит никуда идти, потому что любое движение нарушает эту заповедную тишину, в которой любой звук влечет за собой следующий, и каждое действие вызывает ответное, и если слева от меня восходит огненное светило, – уже с первых мгновений слепящее и даже пугающее, то справа – тишайший закат, окрашивающий белые стены в сонные и теплые тона, в которых все оттенки красного, – от нежно-розового до рубиново-алого.

Здесь нет случайной красоты

Здесь нет случайной красоты.

Она на удивление осмысленна. И воспринимается как бесконечный дар. Она постигается, простираясь, расходясь рябью, лучом, застывая камнем, нависая скалой.

Вода в запотевшем графине неслучайна. Как неслучайна таверна и подпирающий стену стул на четырех ножках. Этот неслучайный стул – для случайного путника, изнуренного долгой дорогой.

Вода в запотевшем графине плещется, в ней отражается полная луна, – неслучайно, конечно же, – сегодня полная луна, а значит, вечер будет полным, округлым, а ночь – бесконечной, прохладной, словно глоток рецины, со вкусом сосновой смолы, немного вяжущим, терпким, – а на рассвете он вновь станет водой, наполнит графин, стечет, впитываясь в землю, порождая влагу, испарение, испарину, зной.

Зной выдохнет влагу, влага уйдет в море, море брызнет солью, соль поглотит влагу, влага станет воздухом, глотком, кувшином, луной, ночью, росой, туманом, скалой, – все осмысленно, все бесконечно, все неслучайно.

У камней есть время

У камней есть время.

Они никуда не спешат. Куда спешить, зачем, если жизнь начинается «до солнца» и продолжается после.

Каждый день.

[1] *Узо – анисовая водка*

Днем – марево, пелена. Она застилает горизонт, накрывает горы, оглушает, обволакивает, – ты становишься слеп, и нем, и обездвижен, точно мул, с усилием отгоняющий мух взмахом хвоста. Ты обращаешься в камень, и солнце высекает искры на твоей коже, оставляет неизгладимые следы. Ты становишься свитком, пергаментом, средоточием смыслов. В тебе сходятся точки, – соединяются небеса, земная твердь, морская гладь.

Неслучайно у камней человеческие лица. Они появляются тут и там, вырастают внезапно, пугая провалом рта, оскалом, надбровными дугами, пустыми глазницами. Стоят неподвижно, но значит ли это, что они мертвы?

Смерти нет. Во всяком случае, здесь.

Разве остановку в пути назовешь смертью?

Секундочку, – произносит он и замирает, сраженный важным открытием.

Он замирает и обращается в камень, усаживается на обочине, оседает в белую пыль. Так много смыслов.

Много ли проку в суете?

Дать миру растечься, стать частью его, – облаком, камнем, ручьем.

У камней есть время. Оно растекается вокруг, безразмерное, не изнуренное бессмысленным делением на дни, минуты, годы.

Смешно! Как можно разделить время? Линейкой? отмерить расстояние «от» и «до»?

Вот здесь, между пятью и шестью, я был, а вот там меня нет? И никогда не будет? Абсурд.

Они выдумали стрелки – часовую, минутную, секундную, – наполнили мир стрекотом, в котором меньше смысла, чем в жужжании пчелы.

Он заглушает другие, более важные звуки. Биение пульса. Пение цикад. Струение вод. Дыхание моря. Молчание камней.

Иногда где-то наверху звонят колокола. Они не отмеряют, не укорачивают, не толкают в спину, – беги.

Они оповещают.

Они всего лишь напоминают о человеческом и божественном. О белизне стен, о тишине, которая простирается, плещется, прорывается горловыми звуками, – это кричат чайки.

Морщины текут по древним стенам древнего города, мужчины перебирают четки, пыхтят трубками. Они сидят в таверне, похлопывают один другого по плечам. Распахнуты окна, и мягкий вечерний свет освещает профиль услужливого брадобрея в местной цирюльне на углу.

После заката все только начинается. Оживает город, наполняется звуками.

У этого города есть время.

Любые сроки кажутся смешными. Мгновения вязнут в песке, разбегаются кругами, – они подробны и неспешны, и на удивление подлинны.

Камни не лгут. Как не лгут и не лукавят колокола, стены, изрезанные глубокими бороздами лица.

По этой дороге вы можете идти бесконечно. Она петляет, уходит вниз, по окрашенным белой краской ступеням, – стремительно летит вверх, сворачивает вправо, – мимо церкви, таверны, окон, синих ставен и бурой черепицы крыш.

Мимо застывших изваяний, которые давно никуда не спешат.

Ибо куда спешить, если жизнь начинается «до» и продолжается после.

Шанс

Утром Маньяна привела любовника. Огромного, добродушного, лохматого пса – белого с коричневыми пятнами.

Черная водяная собака Маньяна, кот Вольфганг, курица Психея и черепаха Амброзия.

Черепаху я не видела, сказать по правде. Но она есть, Причем не одна. Их тут целое семейство.

Которое, как я уже сообщала, ждет пополнения. Из черепашьих яичек вот-вот вылупятся детишки, – для которых проложили огороженную с двух сторон забором дорожку к морю. Я каждый божий день проверяю – уже? нет? Ищу следы крохотных лап на коричневой гальке.

Но следы все больше другие, напоминающие оттиск человеческой ступни. Видимо, не я одна волнуюсь.

Итак, берег ждет черепашьего потомства.

Но черепах нет. Зато по песку носится собака Маньяна, а под тентом вылизывает белое брюшко юный Фольфганг.

И вот что я скажу, друзья мои...

Народ, который всерьез относится к, казалось бы, сущим пустякам, неуязвим.

Весь мир летит в тартарары, а чашечка утреннего кофе по-прежнему в цене.

Чашка утреннего кофе с каплей сливок не менее важна, чем курс валют на мировом рынке.

Так же важен поджаренный на оливковом масле, посыпанный крупнозернистой солью и увенчанный листиком свежего орегано, мяты или базилика хрустящий хлебец.

Важна тень в жаркий полдень, важны прохладные стены, выложенный камнем пол.

Не менее важен момент созерцания в час заката.

Следовать взглядом за медленным угасанием солнечного диска, его неспешным погружением, за бликами на воде, чередованием оттенков и цветов. За дымкой, в которой проступают очертания гор, а если присмотреться, деревушек, домов, оливковых рощиц и виноградников.

Зреет гранат. Набухает под кожицей, наливается соком, но еще не спешит раскрыть свою тайну, плотную сердцевину, туго набитую прозрачными, розовеющими на свету зернами.

Еще не время.

Земля усыпана оливками. Сморщенными, сухими, черными. А рядом фиговое дерево плодоносит, – едва коснешься – и вот оно, на ладони, брызжет, взрывается изнутри, оплодотворенное сладким семенем.

Лето на исходе.

Еще не конец. Но уже сворачивается лист, хрустит ветка, уже горький дымок щекочет ноздри, – сквозь жар, по-прежнему изнурительный, нет-нет да и просочится ветерок, – обещание прохлады, ночи, темноты.

Если вам все это небезразлично, у вас есть шанс.

Люди, которые собираются на берегу, чтобы увидеть сезонное «вылупление черепашек», неуязвимы.

Вы слышали? Это уже сегодня, ровно в семь тридцать, – весь Пелопоннес, вся Мессиния, Спарта и Микены, – все как один прикладывают ухо к земле, – слышен топот крошечных ног, – идут черепашки.

Перекатываются, зарытые в песке, такие невзрачные, грязно-серого цвета, черепашьи яйца. Будто вылепленные детской рукой смешные комочки-пирожки.

Их осторожно извлекают из глубин, очищают от налипших песчинок. Сортируют.

Вот она, тайна бытия. На ладони.

Начало.

Каждая жизнь священна. Человека, черепахи, муравья.

Как прекрасны лица детей.

В их жизни нет места пафосу, лозунгам, демагогии, – достаточно одной вылупленной черепашки, одного извлеченного яйца, одной спасенной яйцеклетки.

Сон гранатового дерева

Вот и вечер опустился на землю.

Накрыл усталой ладонью, смежил веки, разгладил морщины, подул прохладой, выдохнул тишину.

Блики заходящего солнца, розовеющая черепица крыш, плотно закрытые ставни – синие на белом, – а вокруг – прорастающие сквозь стены и камни исполинские деревья, – не деревья даже, а мифологические существа с распахнутыми глазницами, открытыми ртами, бугрящимися мышцами, сплетениями набрякших вен, – тесными объятиями бедер, колен, ступней и запястий, – застывшие посреди дороги, они беззвучно кричат или поют, и если днем ты проходишь мимо них, погруженный в дневные мысли и дневные дела, то на закате, в благословенной тишине и влаге, ты видишь и слышишь их мольбу, заклинания, угрозы. Обращенные вовсе не к тебе и не к этому миру, в котором задержались они случайно, – уж слишком глубоко проросли корни, – если и вырвутся однажды, то вместе с плотью, артериями, невидимым узором окаменевших сосудов.

Сморщенный гранат в дупле гигантского дерева.

Он сорван незрелым, и белые зерна под надорванной кожурой теснятся, точно плотный ряд зубов, покрытых еще детской эмалью, прозрачной на свету, – чья-то беспечная рука не дала ему вырасти, созреть, лишила блаженного постижения собственной сути. Коричнево-зеленоватый плод ложится в ладонь, – уже не дитя, еще не старик, но, увы, дыхание жизни покинуло его, и лучше вернуть его в расщелину, пусть останется частью пейзажа, заключенный в объятия древесных сухожилий, окаменеет, скатится вниз, соединится с землей, травой, станет грунтом, влагой, воспоминанием о гранатовом дереве, долгим сном, коротким забытьем, старческим вздохом, младенческим всхлипом, позывными кукушки с соседнего дерева, лежащим на дороге камнем, – пока вновь не пробудится нежным побегом, гранатовым зерном, алыми сотами, пульсирующим под буроватой кожурой сгустком света, тишины, томления, страсти, познания.

А вот и виноградная лоза. Вьется вдоль стен, упрямая, гибкая, – сочетание силы и хрупкости, но все-таки всепобеждающей мощи. Одна из ветвей пересекает растущее рядом лимонное деревце, ложится поперек, обвивается вокруг ствола, будто змей-искуситель, – протягивает клейкие листья-щупальца, покачивает темнеющей гроздью, – зовет, манит, искушает, но не душит, оставляя пространство для раздумий.

Кувшины в окне таверны, распахнутой в следующий мир, – они молчат, но это молчаливое приглашение, очень сдержанное, полное достоинства, далекое от мирских дел – звона бокалов, лязганья ножей, вилок, грохота посуды и раскатов дружеского смеха. Лишь тягучая музыка созвучна их глубине и спокойствию, – тягучая, лишенная страсти и минутного пыла, зато ровная, сытная, будто крестьянский ужин, – хлеб, чеснок, оливковое масло, вино. Крупицы каменной соли на белой тряпице. Горсть остро-соленых маслин.

Жизнь городка струится вдоль, насквозь, проходит через узкие горлышки, проливается розовым и алым, растекается по изогнутым бедрам и нежным предплечьям.

Они молчат, а может быть, вздыхают, томятся, переговариваются друг с другом едва слышно.

Как и мы, они сотворены из пыли, тлена, праха, глины.

Может быть, они это мы, а мы – это они?

Кто знает, куда вселяется душа человека, – возможно, она опускается на дно кувшина и оттуда подает едва слышные сигналы, – услышьте меня, я здесь, я жива, я пою, люблю, слышу, смеюсь и плачу.

А может, она уходит в море, подобная старому рыбаку, – уходит далеко, и оставшиеся на берегу могут видеть траекторию ее пути, мерцающую синюю точку на линии горизонта, там, где небо соединяется с морем, – и если мы последуем за ней, то это будет путешествие в вечность, – чем дольше мы будем плыть, тем дальше окажется цель.

Но по дороге мы успеем отметить таинственные иероглифы водорослей, загадочные письмена, оставленные предыдущими путниками, и даже попытаемся прочесть их.

Начало

Можно месяц блуждать по лабиринту узких улочек, сворачивать влево, вправо, щелкать затвором мыльницы, отмечая новый неожиданный ракурс или поворот, а можно подняться к развалинам крепости, нарушая привычки, продиктованные жарой, когда каждый лишний шаг воспринимается как наказание, – вчера пелена духоты прорвалась тропическим ливнем и обрушилась влагой, от которой, как оказалось, совершенно некуда деваться.

Разве что упрямо шагать прочь из бамбуковых и эвкалиптовых зарослей, – вдоль песчаной полосы, ведущей к крепостной стене, которая, в свою очередь, ведет к аллее оливковых саженцев, отнюдь не темной, а, напротив, светящейся, – легким серебром струится она к обрыву, за которым вновь синее, все оттенки синего, и вот здесь уже не возникает сомнений, – вот она, древняя Эллада, раскинулась, покачивая призраками кораблей, остовами лодок, – упирается в древние камни, на которых пыль – и та – пахнет морем, солнцем, древностью.

Здесь начинается город, или, наоборот, заканчивается, – смотря что считать началом, а что завершением, – белые купола, подпирающие небо, на котором грубые мазки пылают и акварелью размыт угасающий жар, – или небольшую часовню, за которой – внезапная тишина, тишина полная, насыщенная, пропитанная ароматами ладана, кипариса, вечности.

Сюда приходят, чтобы остаться, – вот эта скамья напротив кладбища приглашает к уединению, – посреди ухоженных, – так и просится слово – «уютных» надгробий, – торжество белого, и детские голоса, и нет отстраненной почтительности на лицах входящих и выходящих, – нет ужаса небытия и скверны, не пахнет могильной тоской, – ведь кладбище уходит в море, – оно похоже на нарядный корабль, пассажиры которого готовы к бесконечному путешествию, и оставшиеся на берегу машут им вслед, – ведь придет час, и они тоже отправятся в путь, туда, где синяя пелена на горизонте будто занавес, приоткрывающий вход в иные миры.

***

Начало здесь. Здесь колыбель.

Дух Византии и Эллады, все дышит им, – Александрия, Херсонес, Эдесса, предгория Армении близки, я слышу праязык и прадыханье...

Начало всех начал.

Начало – это свет, и он родился здесь, – по руслам темных рек течет его остаток, – туда, где сон, и тлен, и снег, – там купола облиты карамелью, и медный звон кругами по воде, и только синий цвет, сгущаясь вдалеке, напоминает...

Откуда мы пришли.

Куда идем.

Звук земли

Хорошо вечером остаться дома, – так я называю это место, которое с наступлением темноты приобретает нечто таинственное, мистически-прекрасное, – солнечный луч уступает тени, а все цвета и оттенки зелено-желто-синего – слабому струению света, – далекому и мощному – от крупных мохнатых звезд, и близкому, скудному – от тут и там расставленных светильников, притягивающих все стрекочущее и безжалостно впивающееся.

Насекомый мир, вполне безобидный днем, ночью превращается в атакующего врага.

Довольно неуютно продираться сквозь заросли бамбука, ступая по козьей тропке, прислушиваясь к шорохам обитателей этих мест.

Где-то методично скребутся черепахи, – упорно продираются к неведомой цели, цикады взрывают темноту неожиданно стройным многоголосьем, – а вот и партия свингующих как попало и на чем придется обезьян, раздирающее слух кошачье соло.

Легкий ветер с моря приносит звуки этой земли, – волнообразные, глубокие, низкие, – они произрастают из самых недр, щедро напоенных влагой, солнцем, солью, – поневоле начинаешь раскачиваться в ритме рембетико или цифтэтэли.

Слово «цифтэтэли» похоже на тефтели, но на самом деле – это совсем другое, – это женский танец, очень древний. Можно назвать его эротическим, особенно, если вспомнить что Эрос – тоже из этих мест, – возможно, здесь он и родился, как и множество понятий, которыми мы так непринужденно пользуемся.

Его Величество Эрос, который возник здесь, в точке пересечения миров, – греческого, албанского, балканского, арабского, турецкого, – здесь родились мелодии Малой Азии и Византии, – мелодии вечные и мелодии-однодневки – так называемые скиладико – собачьи песни, которые больше вой, чем пение, – протяжный, однообразный, пробирающий.

Ритмы этой земли монотонны и усыпляющи, зажигательны и остры, они пьянят, как добрый глоток узо, после которого ноги сами пускаются в пляс, а после двух – только и остается, что раскачиваться, перекатывая во рту смешные слова, похожие на детали древнего конструктора, – хасапико (танец мясников, а, стало быть, мужской танец), зейбекико – танец партизан – по сути – танец сопротивления, кордакас, цифтэтэли, рембетикос.

А есть еще звук. Я узнаю его, вычленяю из десятка других, – сухой, подробный, едва слышный.

У моего отца были четки. Они достались ему от его отца. От моего деда.

Гладкие коричневые бусы в сильных мужских пальцах, – будто морские камешки, – трак-трак-трак, – это особая музыка, – легкое потрескивание, спокойствие и тишина, и запах сладковатого кизячного дыма.

Я вспоминаю, что есть другая земля совсем рядом, – только руку протяни, и медоточивые звуки уступят место иным, – более сдержанным и страстным в то же время, – музыке ашугов, влюбленных, воинов и землепашцев.

Плодородные земли и синие горы останутся позади, уступая дорогу журчанию вод в горных ущельях и всем оттенкам красного, – от жаркой охры складчатых скал до алых соцветий дикого шиповника.

Запах у кизяка и овечьего помета, который отчетливо слышен и здесь, – теплый и смешной, будто шерстка подрощенного щенка, выбегающего из случайной калитки случайного дома.

Запах детства и старости,– немного выгоревший на солнце, сухой и добрый, точно макушка ребенка или ладонь старика. Или горсть абрикосовых косточек, рассыпанных по столу.

Тяжесть виноградной лозы, – тяжесть, гибкость и упругость, и сладость капель, утоляющих жажду и скрепляющих пальцы прозрачным тягучим соком.

Terra Armenia – так я назову эти звуки, эти цвета и запахи, и предчувствие нового путешествия.

День первый, день последний

Последний день не похож на первый.

Путь туда не похож на дорогу обратно.

Начало овладевает тобой, обрушивается, не давая вдохнуть и выдохнуть, сосредоточиться на мелочах.

Это потом, при свете дня и в сумерках, – всплывают подробности.

Выступают бесшумно, – наползают тенями, полутонами и звуками.

Вот здесь – неровная кладка камней, темнеет лужица на асфальте, а здесь – дом, в котором давно нет жизни. Он пугающе тих, – это не тишина живого, которое вышло на минутку или на час, или уснуло, или притворилось спящим.

Это такая всеобъемлющая тишина, провал, – зияющая дыра между жизнью и небытием, – вот эта мертвая бурая черепица и глубокая трещина в стене, похожая на тектонический разлом, – интересно, что было первым, – трещина или тишина?

Что явилось причиной зияющей пустоты посреди великолепия плодоносящих виноградников, бьющих из земли родников, истекающих сладким соком смоковниц, – отчего одно гранатовое дерево усохло, и плоды его почернели и сморщились, – а вот это, другое, – сгибается, кренится, шелестит листвой, отсвечивающей на солнце?

Подробности надвигаются, углы и шероховатости проступают из темноты, – например, покачивающийся от порывов ветра пустой гамак, ничейный котенок с рыжим пятном на боку, – он следует за тобой по ступеням, ведущим из города, и вот уже вся эта легкая, естественная, простая на первый взгляд жизнь остается позади, – еще чуть-чуть, и она станет воспоминанием, уйдет в тень, – вместе со светящимся окошком, за которым, как и сто лет тому назад, происходит чудо, – из сахара, муки и масла, – а еще усердия и сосредоточенности, происходит важное. Таинство. Древнее как мир. Вздыхает и томится на противне выпечка, – пахнет корицей, яблоками, сахарной пудрой, ванилью, марципаном, слоеным тестом, пропитанным медом и орехами, – пышет жаром и спокойствием. Зарешеченное окошко выходит во внутренний дворик, в котором не задерживаются праздные туристы, – это изнанка нарядной улицы, освещенной огнями.

На подступах к морю утихает жар, – запахи становятся более резкими, плотскими, скользкими. Кажется, их можно ухватить за жабры. На пристани покачиваются судна и лодки, – это мир рыболовных крючков, сетей, чешуи, – очень конкретный и очень мужской, – здесь пахнет ракией и водорослями, слышна негромкая речь.

В последний день подробности обступают тебя, не давая вдохнуть и выдохнуть, – только и остается, что перебирать оставшиеся минуты, пересыпать в ладони, точно горсть монет.

День на исходе, волны набегают на берег, уничтожая следы, – галька шуршит и перекатывается, – прощание затянулось, – еще мгновение, – мирская суета подхватит, унесет, не оставив следа от душной ветреной ночи, – пожалуй, только это, – ворох цветных открыток и горсть камешков, отполированных водой, – ты еще пытаешься унести в горсти все, что сможешь, но попробуй-ка удержи запахи, вкусы, желания.

Они тают, точно туман над водой, – перевернутый катамаран, парусники со свернутыми парусами, – где-то здесь была ступенька, а дальше – песок, тропинка к дому.

Чем ближе к городу, тем меньше воздуха. От яростных порывов ветра не остается следа. Мозаика белых стен, черепичных крыш, синих ставен, – растущий у дороги виноград, покрытые дорожной пылью иссиня-черные сладкие ягоды, – улыбка идущего навстречу пожилого мужчины, рев пролетающего мотороллера и развевающиеся на ветру пряди седых волос. Детские голоса, плач новорожденного, две женщины в черном бережно поддерживают третью, – шаг за шагом спускаются по ступеням, – «кала, кала», – здесь тоже есть старость и немощь, но она окружена теплом.

Она так же естественна и прекрасна, как юность. Как восход и закат,– и тот, и другой неизбежны, и один невозможен без другого. Красное солнце, оседающее в безбрежную синеву. Женщины, сидящие в глубине двора. Зной высветлил глаза, очертил лица.

Время выткало на них неповторимый узор, – по нему можно узнать о каждом прожитом дне. Льется пряжа, струится по темным запястьям прямо на колени, растекается неспешной беседой.

А вот и таверна на углу. Прозрачные стаканы с ледяной водой, – два глотка воды на глоток кофе, – табачная и кофейная взвесь в воздухе, привкус аниса на губах, – слышна негромкая музыка, впрочем, она не помеха мужской беседе.

Музыка орнаментальна и ориентальна, – скорее фон, ритм, за которым угадывается колыхание бедер, монотонное, зажигательное, умиротворяющее, если возможно что-то зажигательно-бесстрастное, – глубину диктует не внезапная страсть, а дань традиции. Орнамент на вышитой полотняной сорочке не предполагает разгула страстей, – каждая петля, каждый фрагмент на своем месте. К тому же, страсть отвлекает от важного.

Футбол. Сегодня футбол.

Тучная старая женщина на пороге своего дома. Прислонясь к желтой стене, легко улыбается идущим мимо.

Это ее мир. Ее вечер. Ее город. Ее закат.

Огни далеких деревушек там, на другом берегу. Мерцание звезд, острый серп луны.

Еще вчера было полнолуние. Луна казалась округлой, женственной, умиротворенной. А сегодня пульсирует, вспарывает тьму горячим искривленным лезвием.

Ночь обступает, обхватывает, щекочет, усыпляет, – терпкостью тимьяна, резкостью розмарина, свежестью кипариса.

Где-то совсем близко вскрикивает ночная птица.

Красное, синее, белое, горчичное, острое, соленое, сладкое смешиваются, точно стекла в калейдоскопе, – мелочи вновь становятся целым, неделимым, – частью мира, который, не дожидаясь твоего возвращения или ухода, живет себе и живет, вдыхает и выдыхает, – утро, день, ночь, утро.

Греция, Пелопоннес, Мессиния, Корони, июль-август 2013

Александр БЕЛЯКОВ

ВОЗВЫШЕНИЕ ВЕЩЕЙ

Прозаик и поэт

Русский прозаик смотрит на себя и коллег с точки зрения вечности. Под его взыскующим взором масштаб фигур сходит на нет и просвета не предвидится. Солнце русской прозы зашло давным-давно, а когда взойдет – неизвестно.

Любимое занятие прозаика – взвешивать авторитеты и перетряхивать табели о рангах. Так ли велико дарование Набокова? Что такое Бабель, если не затяжная одесская шутка? Кто откроет миру глаза на рукоделие Саши Соколова?

Всё живое гибнет в глазах прозаика. Как проклятый, повторяет он безрадостные пророчества: «Через сто лет никто нас читать не будет. Да что там через сто – через десять!» Удивительно, что при таком мрачном мировоззрении прозаик ещё и пишет. Причём регулярно и много. Воистину тяжела жизнь русского прозаика.

Другое дело – русский поэт. Его взгляд на литературную жизнь исчерпывающе передают две цитаты: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» и «Какой там фестиваль! Нас в русском языке от силы десять». Свой кругу для поэта – заповедник гениев. За его пределами бродят стаи графоманов.

На положение вещей поэт взирает без паники. Всё более-менее в порядке. Наследование великим традициям продолжается благодаря поэту и его друзьям. Критический пересмотр авторитетов не предвидится. Их скорее недооценили, чем наоборот.

Если поэт посыпает голову сигаретным пеплом, сокрушаясь о ничтожности своего дара, не верьте. Это кокетство и попытка набить себе цену. На самом деле поэт убежден, что его будут читать и через полвека, и через век. При этом писать он может сколь угодно редко и мало.

Единственный плюс в жизни прозаика – это гонорары. Поэт трудится безвозмездно. То есть даром.

Возвышение вещей

Я люблю, когда обыденные вещи поднимаются в цене.

Как последняя спичка на утренней кухне. Чиркнешь, а она фыркнет и умрёт. И пойдёшь на полках шарить, и замаешься искать. И, уже отчаявшись, обретёшь початый коробок. С десятком сухих, хороших.

Как спиртное в стройотряде. Позади неделя бетонных работ. Впереди баня. А потом на двоих с бригадиром бутылка «Салюта». Ничего более вкусного я не пил.

Александр Беляков родился в 1962 году в городе Ярославле. В 1984 году окончил математический факультет Ярославского университета. Работал программистом, журналистом, редактором. Публикации стихов в журналах «Дружба народов», «Воздух», «Знамя», в «Альманахе Новой Камеры хранения» и др. Автор книг «Ковчег неуюта» (1992), «Зимовье» (1995), «Эра аэра» (1998), «Книга стихотворений» (2001), «Бесследные марши» (2006), «Углекислые сны» (2010). Стипендиат Фонда Иосифа Бродского за 2012 год. В «Волге» публиковались стихи (2015, №1–2).

Как книги на русском после заграницы. Смотришь на полки и нарадоваться не можешь, что их так много. До смерти не перечитать.

Обычное становится роскошью, привычное – волшебной находкой. В этом возвышении вещей есть что-то воистину религиозное.

Как писал Иммануил Кант, возвышенное заключается не в какой-либо вещи в природе, а в нашей душе, и только в ней.

Выписывали и читали

Дедушка выписывал и читал газету «Правда».

Дядя выписывал и читал журнал «Вокруг света».

Тётя выписывала и читала журнал «Здоровье».

Мама выписывала, но не читала журнал «Политическое самообразование».

Папа не выписывал, но читал журнал «Роман-газета».

Бабушка ничего не выписывала и не читала.

Мне выписывали газету «Пионерская правда» и журнал «Пионер».

Кроме того, я читал журнал «Вокруг света» и даже пробовал читать журнал «Роман-газета».

Папу выгнали из партии за пьянство. Он обзывал дедушку «проституткой из Первой Конной». Мама была начальником бюро материальных нормативов. Вечерами она жаловалась мне на бабушку. Когда мама уходила на завод, бабушка жаловалась мне на маму. Дядя и тётя ни на кого не жаловались и никого не обзывали.

Однажды папа долго смеялся. В дедушкиной газете «Правда» он увидел заметку под названием «В гостях у пентарачек». На фотографии были изображены пять одинаковых девочек из Чехословакии.

– Пентарачки! Пентарачки! – повторял папа. Слово ему очень понравилось. Мне тоже стало смешно.

Мы были самой читающей страной.

Варлам Шаламов

Свидетельствующий о Колыме должен был зваться именно так.

Два грозных, угловатых, когтистых слова. Они звучат, как шаги командора. Они перекликаются: корень второго рифмуется с первым.

Варлам – имя для волхва. Привет от халдеев. С арамейского – «Сын Божий». В этом имени слышатся скалистый Валаам и неистовый Аввакум. Варварская армия и драма сломанной жизни.

Убрав одну букву из корня фамилии, получим «шлам». По Далю, «мелочь, осадок, получаемый промывкою руды». Шлак. Отходы карательного производства.

Изменив одну букву в том же корне, получим «шалом». Слово, означающее мир. Мир между Богом и человеком, между державами. Внутренний мир, в конце концов. Мир, которого не было.

Шалаш и шрам. Шамать и шамкать. Гневный шелудивый лама. Обличитель тех, кто именем идеи распинал себе подобных.

Тренды сезона

Трендами осенне-зимнего сезона стали сломанные старики и частые похороны.

Умирали в среднем раз в два месяца. Трое ушли медленно – от рака, один быстро – от инфаркта.

Дяде приладили мочеприёмник, тётя стала падать на ровном месте.

Самым памятным эпизодом осени стал визит к однокласснику, одинокому умнику. Он тоже умер той зимой, но сначала сошёл с ума.

Питался сухарями с минералкой. Остальное горчило. По секрету сообщил, что живет в ионизированном поле, а родня отравляет пищу. Мысли прослушиваются, адвокаты насмехаются, боли и судороги непредсказуемы. Я кивал, не зная, что ответить.

Провожая меня к дверям, он рухнул грудью в тазик с мыльной водой. Вдвоём с плачущим отцом мы подняли его на постель.

Из подъезда я свернул к винному. Фляжка коньяка опустела в три захода.

В 8-м классе я посвятил ему шуточное стихотворение. Оно начиналось так:

Когда-нибудь я, мякоть бородищи
В руке худой, как щепка, теребя,
По кладбищу пройду немытым нищим,
Узрю то, что осталось от тебя...

Не думал, что шутка окажется вещей.

Жизнь богемы

Приходил в субботу. Поил водкой с пивом, уговаривал продать пять картин за лимон. Предлагал расписаться в ведомости за два лимона и получить на руки сто пятьдесят тысяч. Говорил, что жизнь – борьба, и он любит побеждать. Хвалил калининградских проституток, смолёные снасти и большие деньги.

В воскресенье соседская овчарка укусила за руку.

В понедельник главред дал установку: «Больше говна о мастерах культуры!» Материал о выставке заклеймили как философское эссе.

Приходил во вторник. Пили чай. Читал новые стишки, смотрел новые картины. Сошлись на том, что новое лучше старого. Обнялись нескладно:

– Поздравляю, ты – гений!

Приходил в среду. Читал триптих о Маресьеве. Пили портвейн. Откровенничали:

– Как я ненавижу этот город! Веками здесь ничего не происходит. Только грузят тюки да считают барыши!

В четверг по заданию главреда начал пасквиль об академическом театре. Говна будет больше!

Читатели

– Вы пишете, чтобы шокировать читателя!
– Ваши стихи – форма ради формы!
– Это какой-то загнивающий соцреализм!
– Наполовину ирония, наполовину сатира. Ты хоть лирику-то пишешь?
– У тебя нет главной темы!
– Извини, но твои стихи шизофреничны...
– Когда вы перестаёте рифмовать, вы падаете в пропасть.Куда вы лезете?
– Очень забавные тексты.
– Понравилось мне, как вы пишете. Зло, но не злобно!

«сколько не силился его почитать – не могу.фигня бессмысленная, литературщина, свалено все в кучу – смыслы, метафоры и прочая х@йня, нагородил всего побольше, а ничего НЕТ»

– Не думала, что ты пишешь такие стихи.

– А какие, ты думала, я должен писать?
– Да нет, я вообще ничего не думала.

Маятник судьбы

С пяти суток явился просветлённый, банка джин-тоника в кармане. В неволе читал «Идиота» и Блаватскую. Такая там у них библиотечка арестанта. Грёб снег у «серого дома», грузил мешки с сахаром, наблюдал земляков.

Скрученный «ласточкой» мужик в трусах прохрипел: «Развяжи!» Развязал – и мужик ломанулся. Дверь была не заперта. Беглеца догнали и вломили. Освободителю тоже досталось. За соучастие в побеге он и получил свою «пятёрочку». Так бы отпустили через сутки.

Уходя, стрельнул на бутылку:

– Мне нравится побираться. Мне не стыдно. Я же не последнее беру...

Расписал клуб в Москве. Из трёх тысяч заработанных долларов треть потратил на шмотки и бухло, треть отдал маме, а на оставшуюся треть решил издать себя с картинками.

В воскресенье допился до боли сердечной. 140/120, наркологическая скорая, капельница, Оля-экстрасенс, пассы, забытьё, слабость, возрождение.

За триста долларов Петровна купила для дочки «Поцелуй Иуды». Той не понравился. Смутила тема. Обменял на три абстрактных моря: чёрное, красное и жёлтое. Вышло по сто долларов за водоём.

– Он такой молодёжный! – сказала Петровна о триптихе.

Новости дня

В «Роспечати» появился покетбук «Киллер и папарацци».

На столе – записка от уборщицы: «Воды питьевой нет, т.к. сгорели титаник. С уважением Наташа».

По радио – дискуссия: «Очень множество суждений. К сожалению, у нас повторяются многие вещи».

Заголовок на первой полосе: «Потенциал кладбищ исчерпан».

В музее-заповеднике открылась выставка эзотерических животных.

На последней полосе – отчёт о вернисаже: «Насколько темпераментно, ярко и экспрессивно ложатся краски на холст Валерия Теплова, настолько же мягка и женственна пастель Лидии Николаевны».

– Как трогательно пишет Сенечка! Вот послушай:

«У меня бумажек тонна.
Что в них, я уже не помню.
А когда-то думал, бомба!»

Слух и дух

Мне каждый звук терзает слух...
Ходасевич

Есть овсянку, не прикасаясь ложкой к тарелке.
Бесшумно мыть посуду.
Ходить по квартире, не касаясь стен.
Говорить так, чтобы жена переспрашивала.
Ездить на службу в плейере.

Спать в берушах.

Когда беруши разжимаются в ушах, слышится много всего. Причём одновременно. Но это фантомные звуки. Реальные слышны по отдельности. Грохоты и стуки, шёпоты и крики. Новости на Первом, дебаты на «России», криминал на НТВ.

Тембр чужого голоса невыносим. Первому встречному хочется сказать: «Замолчи!» И второму тоже.

Дух никак не может прорезаться.

Слух становится трофической язвой.

Хотелось бы слегка оглохнуть.

А потом ещё раз.

До тех пор, пока не полегчает.

Разорённый разговор

Говорил вахтёру глупости из вежливости.

Встретил друга юности. Говорил, чтобы что-то сказать.

Подумав об отсутствии дум, почувствовал отсутствие чувств.

Когда началось, казалось бы, самое главное, то есть совсем зрелая жизнь, мы вдруг начали терять друг к другу интерес.

Лю-ди. Че-ло-век. Два слога против трёх. Неужели вместе мы меньше, чем в отдельности?

Говорящие камни на всех путях. Остановимся и мы. Поговорим как брэнд с брэндом. Эх, раз, ещё раз, ещё много-много фраз!

Автоматическое письмо Онегина. Не Татьяне, а вообще.

Пьеса о гибели коммуникации. Герои с трудом дослушивают. Вскоре начинают перебивать друг друга. Нетерпение растёт, реплики становятся короче, разговор – бессвязней. До слова, до слога, до полной зауми.

Дальше – Рай тишины.

Садовники картин

В процессе работы Бэкон неоднократно менял замысел. Точнее, замысел менял себя сам. Художник подчинялся: «Внезапно линии, которые я проводил, предположили нечто совершенно отличное. Из этого предположения родилась картина».

Начал пейзаж, но пришлось малевать шимпанзе, потом прятать его под зонтик, а сверху растягивать, как знамя, бычью тушу. Воплощать в жизнь непредсказуемый сценарий.

В конце концов маршруты всех идей сошлись. Образы срослись в один – слоящийся, но пугающе плотный. Проникающий раньше всякого понимания. Так работал в кино Дэвид Линч.

«Картина 1946» сама о себе свидетельствует. История её создания сохранена на полотне. В литературе и музыке подобное невозможно. Только в живописи.

Бэкон не писал картину, а выращивал её. Позволял замыслу проклюнуться из первоначального зерна. Так приходят в мир гениальные стихи.

Филонов пошёл ещё дальше. Он пытался растить на холсте протоплазму. Минералы, растения, животные, люди – все объекты на его полотнах должны были жить, развиваться, меняться. Непрерывно обновляясь, переписывать себя.

Бэкон и Филонов, каждый по своему, надеялись перехитрить природу творчества. Это была великая мечта. Оттого ли их проигрыш так похож на победу?

Зерно картины – в голове художника. Художник обречён быть собой. Филонов всегда похож на Филонова, Бэкон на Бэкона.

Творец, с которым они состязались, не похож ни на кого. Или сразу на всех.

Формула Магритта

Светлый верх, тёмный низ. Схема парадной формы. Знакомая с детства формула праздника.

Эту формулу многократно воспроизводит Магритт в «Империи света». Версию 57-го года он назвал самой красивой своей картиной. Последней, незаконченной работой Магритта стал очередной вариант «Империи света».

Ночной пейзаж и голубое небо над ним. Это ли не алгоритм творчества? Тёмный низ – первичное состояние художника. Светлый верх – продукт созидательной работы его фантазии. Чем темней на душе, тем острее потребность в символическом свете.

Он был и остаётся в вышине. Светлый беспричинный праздник. Вся надежда на него.

Ты живёшь в Империи света. Но в нижних её слоях всегда слишком сумрачно. Не обойтись без неба поэзии.

Альтернативная версия Вселенной носит у Магритта название «Божья гостиница». Там всё наоборот: тёмный верх, светлый низ. Солнечный пейзаж под ночным небом.

Здесь впору вспомнить «Изумрудную скрижаль» Гермеса Трисмегиста:

«То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи».

Дождь Бэкона

На Венере всегда идёт дождь. Спросите Брэдбери. Этот дождь подобен китайской пытке. Конечности немеют, кожа дрябнет, сон невозможен. Человек выцветает до белизны. Становится ходячей статуей. Наступает глухота, а следом сумасшествие.

На полотнах Фрэнсиса Бэкона дождь – не редкость. Он напоминает то занавес, то клетку. Походит на щупальца спрута и растёт из земли, как ковыль.

В клетке заходится криком папа Иннокентий X. Сквозь занавес проходит, раздвинув его плечами, обнажённый мужчина. «Этюд человеческого тела», 1949 год.

Название следует понимать буквально. Герой картины – не человек, а именно тело. Мы видим его со спины. Лицо не имеет значения, когда тело становится лицом.

Дождь Бэкона имеет цвет семени. Это не тот золотой ливень, обернувшись которым, Зевс оплодотворил Данаю. Скорее, мёртвая вода. Угрюмый тусклый дождь желанья.

Под этим дождём не отмыться. В этой клетке не успокоиться. За этим занавесом не спрятаться. Последний шанс – шагнуть на ту сторону. В одиночество, в искусство.

Туда и уходит от нас мраморный бог античности. Он не светел и не весел. Он тёмен и угрюм. Телесная одержимость становится наказанием для души.

«Нельзя быть ужаснее, чем сама жизнь».

Бальтюс и его сёстры

Посмотрим на «Трёх сестёр» Бальтюса через призму «Трёх сестёр» Чехова. Картина 1954 года похожа на пролог к пьесе. С поправкой на время, разумеется.

Генерал-отец ещё жив. Три его дочери позируют провинциальному живописцу. Они юны и беззаботны.

Старшая уже созрела для любви. В её вызывающей позе и апельсиновом платье звучит эротический вызов. Начальницей гимназии она и вправду станет, а вот личная жизнь не сложится. Весь эротизм пойдёт прахом.

Средняя много читает. Начитанным девочкам на роду написано быть женами одних, а влюбляться в других. Через пару лет её выдадут замуж за местного учителя. Семейная жизнь не принесёт счастья. Роман с подполковником артиллерии закончится ничем.

Младшая – этакая девочка с персиками, самая инфантильная из трёх. Смолоду не находит себе места и, похоже, так и не найдёт. Возненавидит службу в городской управе, будет презирать коллег. Хрупкую надежду на счастливый брак разрушит меткий выстрел пошляка-дуэлянта.

Бальтюс не прописывает лица. Он как будто сообщает нам о том, что сёстры устроены просто. Они – лишь иероглифы условной сложности бытия.

Упрощая фигуры, Бальтюс уплощает их, как на фреске. Может быть, утверждая плоские формы, он намерен, как и его современник Марк Ротко, разрушить иллюзии и обнажить правду?

Того же хотел и Чехов, работая на стыке комедии и мелодрамы.

Душа-левретка

Вас когда-нибудь целовали и кусали одновременно? Этот опыт мне подарили левретки Евгения Владимировича Витковского. Одна лизала щёки, другая грызла пальцы. Не до крови, но весьма болезненно. Обе трепетали.

Эта пара левреток – модель декадентской души. Ей нужно сразу и ласкать, и мучать. Нервность – синонимом её сложности. Чем двусмысленней, тем сложней. Чем сложней, тем лучше. Психопатология вместо психологии.

Декадентскую душу я вижу на портретах Эгона Шиле. Не зря в его имени слышатся агон и агония. Шиле пишет людей, измученных противоречивостью своих желаний. Их существование – вечное сражение. Трепет пронизывает их тела с головы до пят. Кожа истончается до предела. Сквозь неё проступают нервы и сухожилия.

Линия тела дрожит, как душа. Кажется, слышен тектонический гул. Сейчас оно пойдёт трещинами, развалится на части, ощетинится углами и гранями. Начнётся кубизм. А там один шаг до абстракции. Лишь она исцелит плоть от дрожи.

Катастрофа первой мировой вершилась на глазах художника. Вторую он не застал. По ту сторону бойни, как радиоактивные грибы, выросли персонажи Люсьена Фрейда и Фрэнсиса Бэкона. Страшное случилось, ад стал обыденностью.

Европейский портрет веками лелеял цветущую сложность. Затем начался цветущий распад. Быть может, лучшие его плоды нам подарил Эгон Шиле.

Плюсы и минусы

Мир победил меня численным преимуществом, а я его – буквенным.
Идей у меня немного, зато все навязчивые.
Перекись ума обесцвечивает мир, позволяя обнаружить в нём структуру.
Переставая винить, отучаешься жалеть.
Демисезонные песни хороши уже тем, что годятся как для весны, так и для осени.
Упадок сил. Быстро повторяй название недуга – получишь лекарство от него.
Когда умерла моя последняя старуха, я сам почувствовал себя старым.
Надо мной парит черный, крепкий, нерастворимый ангел.
Чтобы оставить след, надо долго стоять на своём.

Кровь, желчь и слёзы

Писать стихи кровью неудобно. Вязкая, быстро сворачивается. Буквы расплываются, дело стопорится.

Писать стихи желчью неприлично. Дурно выглядит, скверно пахнет. Напоминает об излишествах и телесных немощах.

Писать стихи слезами непрактично. Пишется легко, но высыхает без следа.

Лучше смешать эти три жидкости. Пропорция – дело вкуса.

Желчь и слёзы разжижат кровь. Кровь и слёзы перебьют запах желчи. Кровь и желчь позволят сохранить следы слёз.

Красный с жёлтым дают оранжевый. Любому стихотворению гарантирован солнечный оттенок.

Чай с Некрасовым

– Как же без «ордынок» обойтись, если все пути ведут в Москву? – не без ехидства спросил меня Всеволод Некрасов.

Мы познакомились случайно на исходе октября 2003 года у поэта Александра Левина. Я был у Саши в гостях, когда позвонил Некрасов. Неожиданно отказал его ноутбук, требовалась помощь. Вскоре после звонка явился Всеволод Николаевич.

За чаем мы вроде бы сошлись на том, что питерские поэты в массе своей паразитируют на вытоптанной предшественниками культурной почве. Оттого она чаще всего никакая – ни хорошая, ни плохая.

Некрасов прихлёбывал чаёк, говорил коротко и метко. Постреливал словечками.

С Питера на Москву стрелки перевёл я. Дескать, и столица не без греха. «Ордынки», «полянки», «никитские ворота». Приметы местности, чуждые всему остальному населению России.

Некрасову мой ход мысли не понравился. Тогда и прозвучала вышеуказанная реплика в защиту «ордынок». Мою ремарку о грехах тусовочной поэзии Всеволод Николаевич вывернул весьма ядовито:

– Как же, как же, знаем! Лицейская лирика...

Он всё приправлял этим «как же», с разными интонациями. Крепкий, сутуловатый, с резким лицом. Медлительный по-стариковски, но совсем не похожий на старика.

Левин угощал «мишками косолапыми», и Всеволод Николаевич дурашливо спрашивал у жены по телефону: брать – не брать?

Саша провожал меня на маршрутку, когда я завёл разговор о Некрасове:

– Довольно язвительно переиначил. С ним трудно. Похоже, был не в настроении...

– Что вы! Он был очень дружелюбно настроен! Иначе мог бы одной фразой поссорить с собой. С ним надо чётко формулировать мысли. Он сам изъясняется очень точно и требует этого от других.

Кто бы спорил! А с Некрасовым мне больше встретиться не довелось.

Контекст

В маршрутке – «водители Чинарин и Меньшуткин».

На рынке – кофе «Святой ангел».

На кассете – «научно-фантастический ужас».

В ресторане «Поплавок» – «дэнс-группа “Дежавю” и очаровательная Диана».

На заборе – «Постройте будущее с нами! Ярославский строительный техникум».

«В настоящем сборнике несколько разделов, включающих любовную лирику, стихи о деревне, Великой Отечественной, афганской и чеченской войнах, поэму “Праздник Покрова”, рассказы, юмор и сатиру».

Довесок Стюарта

У Джеймса Стюарта – избыточное лицо. Уже в 30-е великолепно сложное на фоне остальных. Актёр с опережением. Самая износоустойчивая деталь классических вестернов. Вписалась

бы в любое десятилетие. И как он умудрился сыграть завтрашний день в самом консервативном жанре?

Великие актёры выживают во времени за счёт довеска, который выламывается из любого амплуа. Довесок Стюарта очень весом. Герой сложней событий, выпавших на его долю. Его лицо бросает на сюжет тень недосказанности.

У позднего Гэри Купера тоже лицо на вырост. Такому драматургическое насилие противопоказано. На съемках вестерна «Ровно в полдень» Купера попросили «просто ходить». Результат превзошёл ожидания.

«Искать второй башмак» – так окрестила манеру игры Стюарта его партнёрша Марлен Дитрих.

Если бы Дитрих осталась в Третьем Рейхе, она могла бы стать Марикой Рёкк. Не пришлось бы садиться на диету, худеть, удалять коренные зубы. Но масштаб был бы уже не тот.

Саму Марлен Дитрих придумал Джозеф фон Штернберг. А ещё он придумал приставку «фон» к своей фамилии. Для пущего аристократизма. Как Эрих фон Штрогейм. Как позже Ларс фон Триер.

Чтобы кем-то стать, профессионализма недостаточно. Нужен довесок.

Загробный завтрак

Бывают странные сближения.

Через 160 лет после пушкинского «Графа Нулина» вышел «Count Zero» Уильяма Гибсона.

В мельвиллевском «Стукаче» Бельмондо прикуривает совершенно так же, как Штирлиц в «Семнадцати мгновениях».

Босоногие ботинки «Красной модели» Магритта рифмуются с охотничьими сапогами Уайетта.

Собака, тонущая в океане по милости Гойи – родная сестра «Очень одинокого петуха» Карлсона, который живёт на крыше.

Нестранных сближений гораздо больше.

Возьмём смысловую пару – Пал Синьеи-Мерше «Пикник в мае» (1873) и Эдуард Мане «Завтрак на траве» (1863). Два лика импрессионизма: венгерский и французский.

У венгра правят бал простор и светотень. Четверо мужчин и две женщины отдыхают в тени огромного дерева. Платья дам светятся безмятежностью.

У Мане такой же пикник, но в лесу. И хотя женщины разделись, мужчинам до лампочки.

На полотне всё само по себе. Люди будто наклеены на пейзаж. Женщина больше лодки. Правила композиции нарушены, законы перспективы попираются.

Вентури считает «Завтрак» неудачей. По его мнению, это следствие компромисса между возрожденческим и средневековым подходом к изображению.

Но если представить, что Мане писал загробный мир, огрехи картины получают объяснение.

Изображённая речушка – один из притоков Стикса. Здесь мёртвых художников встречают музы. Эти дамы должны вдохновлять, а не возбуждать. Да и какой секс после смерти? Поэтому мужчины беседуют.

Что касается искаженной перспективы, то это особенность атмосферы загробного мира.

Школа взгляда

Близорукость сделала его импрессионистом.
Нервность сделала его экспрессионистом.
Пьянство сделало его фовистом.

Обыденность сделала его натуралистом.
Любовь сделала его символистом.
Отчаянье сделало его абстракционистом.

Взгляд не только кадрирует, но и стилизует.
Он смотрит на мир по-разному.
В зависимости от.

Похвала Джону Кейджу

Можно музыку слушать, а можно в ней пребывать. Тут не всякая сгодится.

Музыка пребывания неагрессивна. Она не наступает, не насилует, не выжимает эмоции. Она похожа на мир. Столь же произвольна, сколь и закономерна.

Джон Кейдж уравнял закон и случай. Ты ныряешь в поток мелких длительностей. Названия не имеют значения. Уединяться не обязательно. Бежать от уличного шума не надо. Он становится частью музыки.

Впрочем, есть золотая середина. Кейдж особенно хорош на ветреной набережной с редкими прохожими и автомобилями.

Есть музыка засоряющая, а Кейдж очищает. В конце концов, начинает казаться, что звучит он не в наушниках, а непосредственно в голове. Значит, эта музыка впору твоему телу. По размеру, по возрасту, по износу. Как будто жизнь, сама не сознавая, уже давно идёт под музыку Кейджа.

На грани тишины и шума. На грани того, чтобы перестать быть музыкой. Не демонстрирует возможности, а вводит в состояние. Бедность как честность.

Джон Кейдж – собрат Льва Шестова. Тот тоже писал книги пребывания, а не знания. Спиралевидный маршрут его текстов никуда не приводит. Оглядываясь, нечего вспомнить. Буддизм, рисование на песке, апофатическое богословие. Говорит, что не то. Что то, не говорит.

Кейдж как будто вообще ни о чём не говорит. Точнее говорит ни о чём. И это ничто незаметно становится всем.

Пустота, как и полнота, хороша тем, что для неё нет подробностей.

Структура памяти

У него кинематографическая память.

Сложный монтаж. Чередование черно-белого и цветного, ручной камеры и фотографии, долгих крупных и коротких общих планов. Вспышки и зернь, графика и акварель, немота и взрывы звука, разрывы повествования и остановки времени.

Щелкнув выключателем, он мгновенно переходит из чёрно-белого фильма в цветной. В первом ему нравится больше. «Да будет цвет!» – сказал бог кино. И всё испортил.

Искусству трудно поймать реальность, потому что в ней много пустоты. Моментов, когда человек не думает, не чувствует и, как бы, не существует.

Люди мерцают: то появляются, то исчезают. Искусство изображает их существующими всегда. В этом его главная ложь.

Монтажная структура памяти полностью соответствует монтажной структуре восприятия реальности.

Линия Дега

Художник Дега смолоду страстно влюбился в изысканную линию. Она была для него линией фронта между красотой и всем остальным.

В поисках совершенной линии Дега обращался к портретной, исторической, жанровой живописи. В конце концов начал писать танцовщиц. Они подарили Дега то изящество линий, о котором он мечтал.

Чем больше работал Дега, тем жирней и глубже становилась его линия. Сначала она походила на шрам, потом на борозду, затем на колею. Наконец, так разрослась, что превратилась светотень.

Светотень поглотила линию. Линия фронта перестала существовать. Красота и всё остальное проникли друг в друга, чтобы окончательно смешаться.

Дега понял, что пропавшая линия была линией его жизни. Тогда он взял и умер.

Универсальный Том

Том Уэйтс – хлеб ушей моих.

В апреле – Кейдж, Шёнберг и The National. В мае – только Уэйтс. Универсальный заменитель. Когда он есть, остальное не обязательно.

Как долго я его догонял! Чем старше, тем ближе к Уэйтсу. Чтобы дальше идти рядом. И то сказать, тринадцать лет возрастной разницы значат всё меньше.

Мне было слегка за тридцать, когда я начал слушать его на кассетах. Не выдерживал больше стороны. Его шершавая музыка вгоняла меня в депрессию.

Десятилетие спустя, в эпоху компакт-дисков, я мог слушать любой альбом целиком. Это было время выбора. Я дифференцировал Уэйтса. Отделял любимое от нелюбимого. Составлял избранное.

В конце концов, возобладал интегральный подход. От первой до последней вещи он стал для меня просто Уэйтсом. Я не запоминаю трек-листы, путаюсь в дискографии. Это лишнее. Том Уэйтс стал саундтреком моей жизни. Я не слушаю его музыку – я живу под неё.

Он называет рэп «музыкой от земли». Но сам земнее, чем рэп. Кто ближе к земле, чем Уэйтс? Кто ближе к небу, чем он?

Найти ему соратников нелегко. В голову приходит только Беккет. Его потерянные герои хрипят, как Уэйтс.

Если в теле моём есть душа, она тоже поёт голосом Тома Уэйтса.

Огни рампы

– За металл! – пропел Мефистофель и взмахнул плащом. Поднялась туча пыли. В первых рядах зачихали.

Маргарита стояла, как пивная кружка с двумя ручками. Фауст потерялся на её фоне.

У Щелкунчика не гнулись ноги. Прыгать не давал чугунный зад. Он маршировал по сцене, поднимая и опуская партнёршу. Мышиный король, напротив, был избыточно прыгуч.

Кордебалет радовал глаз разнообразием конституций. От юркой сушёной брюнетки до русо-косой великанши в теле.

Героический Змеелов прятал секретную тетрадь на обширном животе. Чтобы извлечь её на свет, ему приходилось изрядно повозиться с рубахой. Не меньше усилий требовалось, чтобы спрятать тетрадь обратно.

Когда в финале Змеелов получил ножом в живот, в его гибель не верилось. При такой комплекции повредить внутренние органы просто нереально.

Скульптор и диссидент

По углам палаты лежат два Димы. Каждый лицом к своей стене. У них – депрессия. Из точки, где лежу я, композиция кажется почти симметричной. Почти, потому что левый Дима накрылся одеялом до плеч, а правый – с головой.

Левый Дима – скульптор. В больницу он попал не по болезни, а по протекции. Димина мама хотела, чтобы он пришёл в себя. Недавно у Димы убили жену.

Правый Дима – диссидент. По образу мысли, а не жизни. Час назад Диме сообщили, что у него почечная недостаточность. А дома – жена и два малолетних сына.

Дима-скульптор никому не известен. Но одна его работа уже попала на выставку в Манеже. Среди монументальных людей труда затесался маленький бронзовый Пушкин. Растрёпанный, нахохленный, несолидный. Не масштабный и не советский.

Дима-диссидент считает, что «вся история страны – история болезни». Он приносит в палату прозу Высоцкого и стихи Галича. Он умеет находить антисоветские кукиши в стихах Вознесенского.

Дима-скульптор читал Набокова. Об этом писателе я узнал недавно – из статьи Аверинцева в «Литературной газете». Тот считает, что «Лолиту» печатать не стоит, но другие романы Набокова можно.

– «Лолиту» тоже надо печатать, – сказал Дима-скульптор, – это не порнография, а роман о любви.

Скоро так и будет. Дима-скульптор достигнет степеней известных. И даже в Швейцарских Альпах поставят памятник его работы.

Дима-диссидент надолго пропадёт из моего поля зрения. Но четверть века спустя я получу от него письмо из Канады.

Бекман и Дикс

Макс Бекман оттеняет совершенство Отто Дикса. Я это понял на выставке в мюнхенском Кунстхалле.

Бекман на фоне Дикса кажется невнятным, тусклым, усреднённым.

Дикс на фоне Бекмана кажется ослепительно точным. Сплошным попаданием в десятку.

Портреты Дикса напоминают «Карнавал зверей» Сен-Санса.

Дикс быстро обогнал Бекмана, но потом остановился и пошёл ему навстречу. Это случилось уже после второй мировой войны.

Возможен и другой подход.

Дикс на фоне Бекмана кажется примитивным, карикатурным, лобовым.

Бекман на фоне Дикса кажется воистину глубоким. Благодатным хождением вокруг да около.

Портреты Бекмана напоминают камерные симфонии Шёнберга.

Дикс долго не мог даже приблизиться к достижениям Бекмана, и только вторая мировая война открыла ему глаза.

Устроители выставки подают Дикса и Бекмана на равных и в равных пропорциях. Они правы. Ведь всё только кажется.

Желание танца

В полдень гулял под музыку.
Нёс через бабье лето своё мужицкое тело.
Закрывая глаза, видел себя танцующим.

Хотелось кружиться, раскинув руки.
Качаться, меняя ноги.
Клониться вперёд-назад.

Индейцем у тотемного столба.
Дервишем на грани транса.
Крестиком возле нолика.

Усталый ставит крест на прошлом.
Крест начинает танцевать.
Танец – это уже победа.

Ангел Караваджо

Ангел Караваджо просится на полотно Веласкеса с той стороны зеркала.
– Пустите!
– Нет, ты слишком юный и красивый.
– Но я скоро повзрослею!
– Тогда ты будешь слишком старым. И снова красивым, но уже по-другому.
– Я постараюсь не быть ни тем, ни другим!
– Отстань. От тебя веет тревогой. А у нас тут спокойно.
– Я не нарушу полноту вашего покоя!
– Мы тебе не верим. Ты – сладострастный, ты – червивый, ты – слишком подробный.
– Может, и так. Но мы – существа одного мира!
– Нет. Мы живём на фоне обыденности, а ты выступаешь из мрака. Мы обживаем приглушённость, а ты пребываешь среди контрастов. К тому же, у твоих спутников слишком непристойный вид.
– Как же Вакху удалось к вам проникнуть?
– По недосмотру. Но сейчас нам более всего нужна уравновешенность.
Ангел Караваджо неохотно возвращается в зазеркальную тьму.

Капитуляция бреда

«Сдача Бреды» Веласкеса – для меня «Сдача бреда». В смысле «Капитуляция галлюцинации». «Крах мечты», короче.

Войско бреда – слева, армия реальности – справа. Она и победила за численным преимуществом.

Солдаты бреда – растерянные оборванцы. Держат оружие вкривь да вкось. Не знают, как жить дальше.

Воины реальности элегантны. Модельные стрижки, шмотки от-кутюр. Сразу видно, что реальность следит за собой. Её конёк – регулярность, её символ – поднятые вертикально копья. Частокол одинаковых дней. «Копья» – второе название картины.

Но ближе всех к зрителю – широкая конская задница. Она и кажется главным символом победившей реальности.

Капитулируя, бред сдаёт реальности ключ к своему истолкованию. К счастью, ни один ключ не является универсальным.

Невозможность истолковать бред до конца является залогом его непобедимости.

Открытие Печорина

В фильме Исидора Анненского 1955 года княжна Мэри за роялем исполняет романс «Белеет парус одинокий». Этот краткий эпизод так и хочется развернуть.
– Чьи стихи вы только что пели? – спрашивает Печорин.
– Михаила Юрьевича Лермонтова, – отвечает княжна.
– Не знаю такого.
– Не удивительно. Это наш автор, и живёт он в ином мире.
– Что значит «автор»?

– Это значит, что он всех нас выдумал.

– Он и о вас написал, княжна? – иронизирует Печорин.

– О себе я ещё не читала, а о вас, Григорий Александрович, узнала немало. Ведь вы у него – главный герой!

С этими словами княжна Мэри достаёт из секретера тоненькую книжку и протягивает её Печорину. На обложке значится – «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть первая».

Так Печорин узнаёт о своём будущем. И об истории с Бэлой, и о последней встрече с Максимом Максимычем, и о грядущей кончине на дорогах Персии.

Клаус Кински

Клаус Кински вещает, как фюрер, а профиль у него, как у дуче.

Самое прекрасное в фильмах Клауса Кински – его лицо. Мы видим в кадре чудеса природы: горы и леса, пустыни и реки. Лицо Клауса Кински содержит в себе все эти магические ландшафты. Может быть, Кински – от слова «кино»?

Когда Кински играет Христа, неуместность происходящего прямо пропорциональна его значительности. В толпу брошен катализатор эмоций. В общем теле живут мессия и шарлатан, так что не отделить одного от другого. Кажется, в мире всё настолько запуталось, что спасёт его только разрушение.

Самое ужасное, когда Клаус Кински становится режиссёром. В этот момент мы понимаем, что перед нами всего лишь великий лицедей. Гениальная обезьяна.

Кажется, сейчас позвонит Вася и скажет:

– Саш, послушай, что я тебе скажу. Клаус Кински – лучший актёр в мире!

Кирико. Блудный сын. 1922

Блудный Сын вернулся к Блудному Отцу.
Блудный Отец вернулся к Блудному Сыну.
Каждый ищет избавления от собственной ущербности.

Блудный Сын пришёл из будущего.
Скитания сделали его механической куклой.
Лицо его стало зеркальным.

Блудный Отец застоялся в прошлом.
От неподвижности он стал окаменелостью.
Сам себе он кажется призраком.

Рука Отца на плече Сына.
Рука Сына на плече Отца.
Они решают, танцевать или обняться.

Может быть, в объятии родится полнота?
Может быть, танцем исцелится настоящее?
Тишина ждёт их решения.

Классификация молчаний

Герои Тарковского молчат многозначительно. Как властители дум, как соль земли, как совесть человечества. Хотя соли среди них мало. По большей части, обыкновенные неврастеники.

Они молчат так, будто намерены изречь откровение. Время от времени они и вправду произносят что-то подобное. Но так пафосно, что думаешь: лучше бы дальше молчали.

Искусству молчания они учились у героев Антониони. Хотя сам Тарковский ни за что бы в этом не признался. Он всю жизнь восхвалял Бергмана. Хотя герои Бергмана знамениты тем, что трещат без умолку.

Герои Антониони молчат отчаянно. Они никого ничему не пытаются научить. Им бы со своими проблемами разобраться. Да и сказать им особенно нечего. Они и мыслят без слов – как больные животные.

Лучше всех молчат герои Мельвиля. А чего болтать? Они делом заняты. Преступления надо вершить в тишине. Мельвиль начал «Молчанием моря», а закончил молчанием криминала. Это честное молчание.

Братание модерна

Горожане Хоппера выходят на площадь Кирико. Крестьяне Малевича дерутся с крестьянами Гончаровой.

Обнажённые Модильяни знакомятся с обнажёнными Дельво.

Аристократки Климта искушают пролетариев Риверы.

Горы Сезанна и Ходлера меняются местами.

Над ландшафтами Магритта вырастают кувшины Моранди.

В мерцающей субстанции Поллока медленно плывут весёлые скульптуры Кандинского.

Наглядная агитация

На Кирова – ресторан-бар «Счастье есть!». 21 ноября – певец Анатолий Счастьев.

Под Знаменскими – граффити: «Гоняй за “Шинник”! Убивай за “Шинник”! Питер – не город, “Зенит” – не команда!»

Далее по Свободе – караоке-бар «Графин»: «Пой как звезда!»

Через дорогу – реклама «Горки»: «Каждую пятницу и субботу ты не одинока! Шампанское каждой одинокой девушке в неограниченном количестве!»

Выставочный зал имени Нужина: выставка «Египетские мумии».

Во дворе у «Ковчега» – снова граффити: «Рай – смирение. Я всё, что хочешь, выдержу».

Три пейзажа

Первый живёт в натуралистическом пейзаже.
Здесь всё мясисто и увесисто.
Каждый предмет чётко очерчен.
Мир залит ровным светом, но этот свет бескрыл.
Здесь нельзя отчаяться – только заскучать.

Второй плутает в пейзаже пифагорейском.
Он прозревает структуру мира.
Он видит прозрачные рёбра, вертикали и горизонтали.
Здесь тихо и чисто, ясно и холодно.
Здесь так легко замёрзнуть.

Третий – узник экспрессионистского пейзажа.
Он живёт, как в дремучем лесу, не зная покоя.
Его искушают демоны, пугают чудовища.

Его пространство всегда в движении.
Он мечтает, чтоб оно успокоилось.

Иногда эти трое сходятся за одним столом.
Три пейзажа накладываются друг на друга.
И тогда ненадолго случается рай.

Многоликий Распутин

Григорий Распутин – это русский Гражданин Кейн.
История о нём должна быть посмертным расследованием.
Что ни свидетель, то новый взгляд.
Это верно поняли создатели сериала с Машковым.

Кому подвижник, кому охальник.
Кому даритель, кому стяжатель.
Кому патриот, кому идиот.
Жаль, что актёр на всех один.

Вот бы учесть опыт Бунюэля!
«Смутный объект желания» играют двое.
В нашем случае актёров нужно больше.
Сколько свидетелей, столько и разных Распутиных.

Погибая, Григорий Ефимыч должен поочерёдно принять все свои обличья.
Как Терминатор, тонущий в расплавленном металле.
Непонятно, каким будет его лицо, когда он умрёт.
Может быть, он станет безликим?

Только без общего знаменателя.
Чтоб ничто ни с чем не сходилось.
Чтоб отовсюду торчали нитки.
О таком герое можно думать вечно.

Оскорбление второсортности

Помню себя уже в омуте второсортности.
Пионером смотрю в окно.
Девка из кулинарного бьёт по лицу другую.

Когда началось, не помню.
Как проходило, догадываюсь.
Второсортность вошла в меня, как радиация.

Никто не мог ей противостоять.
Отец пил, скандалил, терял работу.
Потом удавился.

Школа, улица, магазин.
Обыденность была второсортностью.
Мать жила в ней, как дома.

Временами второсортность отступала.
Это случалось, когда я влюблялся.
Потом сгущалась вновь.

Способом борьбы стала письменность.
Второсортность нельзя победить.
Её можно оскорбить словесно.

Несчастливое счастье

Счастлив ли ты? Кивну и обосную.
Несчастлив ли? Отвечу утвердительно.
Здесь не софистика, а диалектика.

Я благодарен жизни за её непрерывное давление.
Им сформирован мой нынешний стиль.
Плотность, краткость, ясность.

В существовании под спудом, конечно, есть свои издержки.
В люди культуры я так и не вышел.
Зато получил прививку от растекания вширь.

Жизни почти не было.
Всегда было некогда.
Помощь не пришла.

Для стихов это оказалось благом.

Нуар Одзу

Мастера нуара снимали с потолка.
Ясудзиро Одзу снимал с позиции сидящего на татами.
Он мог бы стать автором самого спокойного нуара.

Камера неподвижна.
Сыщик и его жена пьют чай.
Разговор идёт об убийстве.

В комнате меняются гости.
Родные, знакомые, сослуживцы.
Каждый что-то знает о преступлении.

В финале сыщик говорит жене: «Теперь я знаю, что это ты».
Разоблачённая встаёт и молча уходит.
Сын является с известием, что она отравилась.

Сыщик опускает голову в бесконечной печали.

Девушка-зеркало
(Ян Вермеер. Девушка, читающая письмо у открытого окна. 1657)

Весёлым кажется, что она весела.
Грустным кажется, что она грустна.
Спокойным кажется, что она спокойна.

Глядя на неё, каждый видит своё.
Девушка Вермеера – живописное зеркало.
Размещается строго параллельно реальности.

Воплощение промежуточности.
Апофеоз неопределённости.
Универсальный сосуд для эмоций или мыслей.

Минимум намёков на фабулу.
Минимум предметной реальности.
Максимум возможных трактовок.

В зеркале Вермеера правит бесконечность.
Девушка никак не может дочитать письмо.
Мы никак не можем дочитать девушку.

Вадим ЯРМОЛИНЕЦ

ЛЕВ В МОСКВЕ

Рассказ

С.О.

Вишневый бархатный занавес с золотой бахромой поднимается, открывая нам просторную сцену одесского двора. Боковые стены представляют собой декорацию из шелушащегося ракушняка, с украшением в виде частично застекленных галерей. Где рам нет, на стенах видны типовые предметы коммунального быта: электрические счетчики, почтовые ящики, тазы, мотки серых от времени бельевых веревок, часть сделанной гвоздем надписи: «Клара Будиловская – су...».

Кто эта женщина? Это не женщина, это – одесский фантом конца прошлого века, о котором знал весь город, но с которым никто не сталкивался, за исключением, может быть, автора исторической надписи. Ее можно было видеть повсюду, словно ветер горькой обиды разбросал ее по улицам и площадям Одессы.

В правой части сцены – виноградная беседка. Из нее доносится звук перемешиваемых камней, которыми игроки елозят по пластику, удары и смех курильщиков в ответ на глухие матюги, вызванные к жизни заклинанием: «Рыба!» Из-за беседки выглядывает горбатый «Запорожец» с извлеченными из глазниц фарами. Ржавый корпус поддерживают четыре стопки кирпичей. Это – своеобразный памятник скоропостижному счастью автомобилевладения и одновременно – надежде. Когда-нибудь он еще поедет! Да, конечно!

В конце двора – приземистый флигелек под жестяной кровлей. Кривоватые окна, неровный слой замазки наползает на пыльные стекла, вазоны с алоэ, детский самокат, кусты помидор вперемешку с кустами георгин.

На авансцене установлена беленая известью дворовая колонка с эмалированной табличкой «Белье не стирать!» А где его стирать?! Летом, когда дают напор, хозяйки стирают именно здесь, и вот оно само белье – чинно висит тяжелыми, мокрыми, пахнущими хлоркой парусами на поднятых на деревянные шесты веревках.

А вот две женщины – мелкая Муся и крупная, с наливными плечами и огромной грудью, Дуся – терзают простыни в узких и длинных, как крышки гробов, цинковых лоханях. Отмучив очередную, Дуся выкручивает ее и бросает в стоящую под краном выварку. Распрямившись, она утирает тыльной стороной руки лоб и поправляет бусы из деревянных прищепок.

Два силуэта – мальчика и девочки – появляются в подъезде. Вынырнув на свет, девочка с этюдником через плечо, с листом картона подмышкой прикладывает ладошку козырьком к глазам и кричит задорно:

– Ба! Поесть че-т найдется?!

– Люба моя, золотая, – Дуся вытирает руки о бока, улыбается. – Идите до хаты, щас оладей наделаю со сметаной.

– Ишь, голуби, – шморгает Муся красным носиком.

Переваливаясь на затекших ногах, Дуся направляется домой, но соседка останавливает ее:

– Дусь, ты может выварку свою отодвинешь от крана, а?

Вадим Ярмолинец родился в 1958 году в Одессе. Окончил факультет романо-германской филологии Одесского университета, работал в газетах «Моряк» и «Комсомольская искра». В 1989 году эмигрировал в США, работал в газете «Новое русское слово». Публикации в журналах «Октябрь», «Новая юность», «Новый журнал», «Вопросы литературы», «Новый мир» и др. Автор трех книг прозы. Постоянный автор журнала «Волга».

Та возвращается и за ручку оттаскивает выварку в сторону.

Эти голуби – герои моей истории – Сонечка и Левушка. Они учатся в Грековском художественном училище. Пока Дуся, шаркая шлепанцами, идет жарить оладьи внучке и ее кудрявому ухажеру, те, бросив на пол полутемной прихожей испачканные краской этюдники, слились в совершенно захватывающем дух объятии и целуются, целуются до боли в губах, как это могут делать только те, кому повезло испытать одновременно первую любовь и первую близость.

Когда родители увезли Левушку в Америку, Сонечка горевала страшно. Дуся даже возила ее к профессору Москетти на Слободку и тот, сочувственно кивая, выслушал историю больной и прописал ей свое фирменное средство от всех скорбей – карбонат лития. То ли лекарство, то ли время взяли свое. Отойдя от потери, Сонечка вернулась в училище, окончив его, поступила на работу в художественный фонд, потом вышла за одного серьезного монументалиста из Москвы, благодаря таланту, трудолюбию, ну и не без мужниной помощи, доросла до званий и должностей. Потом у него, правда, случился инсульт, вот так вот, на ровном месте, как говорится, но отходила, слава Богу. Живет. Короче, много чего наслучалось в ее жизни, но я сразу перехожу к ее появлению в Нью-Йорке.

Она приехала сюда по приглашению какого-то фонда с персональной выставкой и смутной надеждой на встречу с первой любовью. Не то чтобы она стремилась к этому, но интерес был. Все же, такие рубцы на сердце остаются на всю жизнь. Каким-то он стал, ее кудрявый американец?

А ее кудрявый американец стал между тем знаменитостью. Он стал Лио Шкловски, чьи работы находились в самых значительных частных собраниях и даже некоторых музеях. По этой причине вокруг него всегда кружила стая поклонников и поклонниц, своими шутками, смехом и комплиментами создающих ту атмосферу праздника, в которой он охотней платил за шампанское, траву и кокаин.

И вот в один прекрасный день, прогуливаясь по Вест-Бродвею, Лев заходит к знакомому галерейщику и, перелистывая в разговоре с ним свежий номер Gallery Guide, видит сообщение о выставке известной московской художницы Софьи Кириченко и тут же – ее фотографию. От неожиданности сердце его дает сбой. Постарела, конечно, его Сонечка, но что ты хочешь – тридцать лет прошло как-никак! Но все те же чудесные карие глаза, та же широкая улыбка, только седина вот появилась в тугом хвосте волос и складки обозначились у смешливых губ.

В день вернисажа Лев тщательно бреется и долго умащивает швейцарским «Селлменом» легкий пергамент щек, виски, лоб, шею – будь она неладна. Вот тоже люди научились делать деньги – полторы унции зелья сомнительных целебных свойств стоят 300 баксов. Он надевает белую рубашку с жабо, черный костюм, остроносые сапоги на каблуках и стетсон. Звезда должна одеваться выразительно.

При его появлении по переполненному залу прокатывается легкой волной шепоток: Это он? Да, он! Сам? Да! Дон Лио Шкловски! И тут же к нему устремляются коллеги, знакомые, просто любопытные, незаметно как-то начинают подтягиваться девушки на каблуках, ему подают стаканчик с белым вином, а он благодарит и просит красное – белое он не пьет. Да, так вот его испортили в этом Нью-Йорке. И уже по уровню полученного им внимания и заботы не вполне даже понятно, чья это выставка – не его ли?

Нет, не его, и те, кто помнит об этом, ведут его к настоящей виновнице торжества. Та стоит в окружении сотрудников пригласившего ее фонда и группы завсегдатаев премьер и открытий, не пропускающих возможности сфотографироваться с очередной знаменитостью. Тут же паратройка самодеятельных репортеров. Щелкают всех подряд в надежде поднять трафик на собственном блоге, не вникая даже, кто эти люди. Внезапно народ перед московской художницей расступается, и она видит средней упитанности кабальеро в шляпе, он пристально смотрит на нее. Ей говорят, мол, вот, рады познакомить вас с нашей знаменитостью, может вы слышали – Лио Шкловски. Фамилия, глаза, рыжие кудри заставляют ее застыть на секунду. Краска бросается в лицо, и то же самое происходит с кабальеро. Он бормочет что-то типа того, что они уже знакомы, а она, выдохнув изумленно: «Левушка, ты?», летит ему в объятия. Два стаканчика с вином – белым и красным – катятся по полу, где образуется лужа розэ.

А дальше и слезы, и смех, и сплющенное в ее ладошках Левушкино лицо с рыбьими губами, и изумление окружающих, и не совсем, может быть, уместные жидкие аплодисменты, все это под вспышки кэнонов и айфонов.

После вернисажа и ужина с устроителями выставки Лев везет Сонечку к себе. Из окон его квартиры открывается дивный вид на ночной Манхэттен. Мириады окон и звезд сияют на бархатном полотне ночи, а далеко внизу текут, мерцая красными сполохами стопсигналов, автомобильные реки. Величие этой картины как бы оправдывает его измену и родине и первой любви. Но у него есть и другие оправдания. Он рассказывает, как родители подмешивали ему в еду седуксен, который получали по рецепту для бабушки, и все те несколько месяцев, когда семья готовилась к отъезду, он был буквально не в себе, а когда спрашивал, где его Соня, ему отвечали, что она вышла в другую комнату или пошла за хлебом и сейчас вернется, он может пока поспать. Так, в конечном итоге, грань между сном и жизнью исчезла для него. А когда он, наконец, проснулся, вокруг была Америка, Нью-Йорк, и исправить что-то было уже не в его силах.

Рассказывая это, он поливал ее руки горькими слезами раскаяния и обиды, и его слезы смешивались с ее, когда она рассказывала, как резала кухонным ножом вены, как бабушка Дуся, она, конечно, давно уже умерла, повезла ее на Слободку, и все заднее сиденье такси было залито кровью, потому что бабушка сначала не могла зятянуть узел толстым махровым полотенцем, а потом уже стала держать ее худенькую ручку своими двумя. Таксист все ругался: кто будет платить за уборку, а Дуся в ответ кричала, чтобы он взял деньги у нее в бюстгальтере, потому что она не может отпустить руки. Кошелек, ясное дело, завалился в этой кутерьме так глубоко, что шоферу пришлось повозиться, короче, нашлось что вспомнить.

Их слезы, как самый настоящий эликсир молодости, смыли с них прожитые годы, и они уснули, обнявшись, на диване под окном с грандиозным видом, как засыпали когда-то в своей белой комнатке на улице Княжеской.

Но любовь любовью, а жизнь жизнью, и на следующее утро, сидя за бесконечным американским завтраком с апельсиновым соком, тостами, омлетом с беконом, блинами с кленовым сиропом и кофе, они говорили, что нет, все-таки, худа без добра, и их встреча открывает перед ними еще одну возможность заработать копейку, потому что никакой художник не думать об этом не может. Сегодня есть, завтра нет, а старость не за горами и всякое может случиться, верно?

Действительно, каждый из них много чего достиг по разные стороны Атлантики. Соня, со своей стороны, стала членом совета директоров всемирно известного музея. Лев, со своей, теперь открывал ногой двери самых известных галерей. И в этом разговоре о будущем Соня предложила ему организовать ретроспективную выставку в Москве, в том самом музее. Лев, конечно, ответил согласием, за которым стояли не только денежные соображения. Согласитесь, каких бы успехов ни добился иммигрант на новом месте, ему приятно вернуться на старое и отчитаться за достижения истекшего периода, да еще в музее!

И вот Лев в Москве. В теленовостях сообщают о возвращении на родину звезды американского искусства российского происхождения. Его безумно дорогие работы можно, наконец, увидеть собственными газами и даже потрогать руками, только очень осторожно. И потом начать клепать аналогичные, потому что мастера русской академической школы склепают тебе что угодно, только скажи что. Что там у них на Западе сейчас модно? Вот бы знать заранее, да?

Короче, важный американский гость пожимает протянутые к нему руки, фотографируется с местными знаменитостями, сидит с ними за одним столом, платит за шампанское и снова купается в искренней любви и симпатиях нарядных и веселых людей. А как здорово говорят они на русском! Как свеж и энергичен их язык, так не похожий на его, словно увядший в заграничной неволе! Он смеется, показывая ослепительные американские зубы. В неволе тоже есть свои плюсы, согласитесь!

Хозяева с удовольствием соглашаются и катают его по мастерским, кабинетам и дачам, где льется густая от мороза водка и хрустят соленые огурчики, и черная икра образует отличную мишень, если точно разместить ее в кружке сметаны на блине. «Давай, дорогой, пока не выдохлось!» – подбадривают его, и он дает, отмечая, что лица вокруг становятся еще светлей, когда он говорит, как ему легко представить своих новых друзей владельцам галерей в Нью-Йорке и

в Сан-Франциско, а также в Лос-Анджелесе и в Остине. Да, все бабло сейчас в Техасе, чтобы вы знали, но мы еще до них доберемся! Им не спрятать от нас свои петродоллары!

Лишь небольшое облачко раз проносится над ним. На очередном вернисаже Сонечка представляет его мужу. Человек с немного перекошенным лицом тянется к нему из кресла-каталки. На нем громоздкий серый костюм, ворот белой рубашки чуть великоват, невыразительный галстук. Начав носить этот гардероб, он, видимо, был крупней. Лев смотрит на Сонечку в поиске поддержки и читает в ее глазах: «Что поделаешь, мой дорогой? Это – жизнь».

Рука у инвалида необыкновенно цепкая. Лев пытается расшифровать обращенный на него взгляд по-северному прозрачных глаз, понять, не таится ли сарказм в благоприобретенном перекосе черт, не дает ли ему понять несчастный инвалид, что осведомлен об их треугольнике?

– Д-давно, слежу за в-вашим творчеством, – докладывает тот.

– Да?!

– Видел в к-каталогах и ин-тернете.

Инвалид ухмыляется, не торопясь отпускать его.

– Н-но хотелось бы п-понять вашу ф-философию...

– Что?!

– В-вашу фи-фи-лософию, говорю, х-хотелось б-бы понять.

Лев озадачен.

«Философия у нас простая, – думает он. – Сделал и продал. Со всеми остальными вопросами – к критикам. Им за это деньги платят».

Откуда это в нем? Это от папы, который всю жизнь знал, как сделать копейку и принести в дом. Это от папы, который, к большому сожалению, умер в своей хорошо обставленной кооперативной квартире на Брайтоне, так и не дождавшись, когда работы сына станут покупать еще до открытия выставки и в сыне проснется его понимание успеха.

– Это не совсем удобное место, – мямлит Левушка.

–Да-да, я п-понимаю, а вы п-приходите. Соня ус-строит... П-поговорим.

– Спасибо! С удовольствием!

Чьи-то спасительные руки оттаскивают Льва от собеседника, чтобы устроить у стола, за которым собрались правильные люди.

– Лев Борисович, у вас рюмка пустая, это надо немедленно исправить!

Ах, как не похожа эта Москва на ту, в которой он оказался 30 лет назад! Эта – счастливый мир, схваченный своими, теплыми, желающими ему добра людьми. Людьми, которые обращаются к нему на вы и по имени отчеству, отчего возникает ощущение того, что говорят не с ним, а с кем-то рядом.

– Лев Борисович, вы пробовали миноги? Возьмите.

– Лев Борисович, скажите, а как бы вы отнеслись к идее вступления в Академию художеств России в качестве почетного зарубежного члена?

– Кто, я?! – смеется он. – А зачем?!

– Зачем?! Нет, ну подумайте, что это за академия без почетных зарубежных членов? И кому, если не вам, занять это место?

– О, кстати! – вспоминает он. – После училища я же чуть не поступил в эту академию. Вот Софья Николаевна в курсе.

– Вы имеете в виду – в Репинку?

– Нет, в Суриковское. Но, тоже как-никак часть академии, верно? Это – потрясающая история, между прочим! Я должен рассказать. Это было в...

Левушка пытается точно вспомнить год, прикладывает ладонь ко лбу, морщится, но его отвлекают новым тостом. Резной хрусталь снова полон до краев, и мысль о прошлом, смазанная соленым осетровым жирком, ускользает от него. И потом, давайте будем откровенны: собравшиеся интересуются галереями Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и теперь, вот еще, Остина куда больше, чем тем, что случилось с их гостем, буквально, в прошлом веке.

Да и обстановка не для воспоминаний, особенно при наличии водки и всего остального красного и черного, полного, как они это тут называют, Стендаля.

В Нью-Йорке, протрезвев, Левушка начинает было сомневаться, что виденное и слышанное действительно случилось с ним, но Сонечка подтверждает это по скайпу:

– Лева, – говорит она, глядя в объектив монитора как в зеркало и вычесывая тугой хвост волос. – Ты не шути. Потому что они точно не шутят. Я их знаю, Лева. Это серьезные люди. Ты уже в плане, Лева, от тебя ждут результата.

– Какого результата? – возражает он. – Результат дают «Сотби» или «Кристи».

– Ах, ты не понимаешь, – сердится она. – В жизни как в часах. Одно колесико крутит второе, то третье, и стрелки идут. Какое колесико самое главное? Все – главные.

Он заваривает кофе на газовой плите – в настоящей, купленной в Стамбуле джезве. Дождавшись, когда пена запузырится над медными краями, выключает газ, наливает густое варево в чашку, закурив, устраивается у окна. Солнечным декабрьским утром расстилающийся перед ним город красив так же, как и ночью. Но если ночью он романтичен и непредсказуем, то в продутые ледяным океанским ветром дни эта геометрическая комбинация черных провалов улиц и слепящих плоскостей высоток предельно ясна и прагматична. Она зовет тебя к действию и к вершинам жизни, сияющим на солнце, как пик Крайслер-билдинга.

«А почему, действительно, нет? – он затягивается так глубоко, что сигарета сгорает чуть не на треть. – Это при моих-то успехах, при моем мастерстве. После десятилетий каторжного труда, после позорных уступок грабителям-галеристам и скрягам-коллекционерам, после изматывающих операций по привлечению тупых и ничем не интересующихся, кроме денег, критиков. Нет, ну действительно, если не я, то – кто? Эти рисователи антисоветских карикатур музейного размера? Борцы с режимом, от которого внезапно не осталось даже воспоминаний? К чему в сегодняшнем культурном дискурсе приложим пафос их вчерашних исканий?»

Он вдавливает тлеющий остаток сигареты в пепельницу, допивает кофе. Соня права, конечно: никогда не знаешь, где найдешь.

В основе его успеха лежала техника, о которой говорили «на грани фантастики». Сравнения с Дюрером стали дурным тоном из-за частой повторяемости. Дело было не только, конечно, в технике на грани фантастики, но и в таланте на грани колдовства. Написанная им вещь становилась живым организмом, шла ли речь о замочном ключе, старом «Ундервуде», дамском корсете позапрошлого века. Он никогда не повторялся – облупившаяся эмаль, кракелюр старой кожи, щетина малярной кисти – увлекали его, как сложный ландшафт увлекает пейзажиста. Но, чтобы втиснуть натуру в раму, пейзажист уменьшал ее, исключал миллион деталей, превращал жизнь в условность, красивую подделку. Шкловский клал свою натуру под микроскоп, открывая зрителю такие подробности, что вещь, казалось, дышит.

Перед поездкой в Москву Лев пошел в «Сакс на Пятой», где купил коричневый в широкую бежевую полоску двубортный костюм от Кристиана Диора, белый шелковый шарф – знак принадлежности к художественному цеху, и великолепную федору – в тон костюму.

Рассматривая себя в тройном зеркале примерочной, заключил:

– «Американец». Габардин, шелк, фетр, кожа, кости, мясо, жир. Смешанная техника. Леон Шкловски. Коллекция автора. Нью-Йорк.

– Вам бы еще трость, – подал голос помогавший ему продавец.

– А я бы не отказался! – Лев засмеялся, представив реакцию своих новых заокеанских друзей.

И вот он снова в Москве. Его встречает уже знакомый Полный Стендаль, но теперь Лев не смеется, он чуть-чуть нервничает. Как-то все это неожиданно и так необычно.

– Лев Борисович, – говорит ему высокая блондинка в черном костюме и стильных очках в красной оправе – в тон помаде, – все будут в смокингах.

– Что? – не понимает он.

Блондинка в очках тревожно улыбается.

– Будет вся академия, сотрудники министерства, телевиденье.

– Все в смокингах? Нет, я так, спасибо. Извините, как вы сказали, вас зовут?

– Валерия.

– Спасибо, Валерия. Не волнуйтесь, все будет хорошо.

Через полуприкрытую дверь он видит торжественный зал, где собрались гости: именитые коллеги, какие-то начальники, нарядные дамы. Пол в черных кабелях, дальше – юпитеры, телекамеры на треногах и операторы в наушниках. Во втором ряду с краю он видит свою Сонечку и рядом с ней ее инвалида. Сложенное кресло стоит рядом у стены. Тот же квадратный в плечах пиджак, слишком большой ворот рубашки, тот же скептический перекос черт. Как она живет с ним? Как помогает раздеваться? Наверное, как все пожилые люди, сживающиеся с сознанием того, что надеяться можно только друг на друга.

От волнения его начинает слегка знобить. Но он знает, что делать. Он знает, как достичь олимпийского, как это называется, спокойствия.

– Где здесь у вас туалет, Валерия?

– В конце коридора направо.

– Спасибо.

Закрыв за собой дверь кабинки, он присаживается на край унитаза и достает из кармана жилета привезенный из Нью-Йорка джойнт. Он забит великолепной афганской травой, которую он покупает у живущей на Северной Шестой над пластиночным магазином дилерши по прозвищу Афганка Мувер. Муверами в Нью-Йорке зовут грузчиков, которые перевозят мебель. Афганка Мувер, продавая пакет своего снадобья, всегда приговаривает: «Две затяжки – и у тебя мебель сама из дому пойдет». Почему мебель должна сама уходить из дому? Не спрашивайте. Мысль наркомана стремительна, выяснять природу его ассоциаций бесполезно.

Лев взрывает джойнт, делает затяжку и, закрыв глаза, сколько может, держит дым в себе. Афганка Мувер. Мебель, говорит, сама от тебя пойдет. Он представляет, как тащится со страшным скрипом к двери тяжелый шкаф с зеркалом, как, путаясь в тонких паучьих лапах, несется к выходу прикроватная тумбочка. Похоже на картинку из «Мойдодыра». Он кашляет злопахучим дымом. Потом делает еще одну затяжку, потом еще и, послюнив темную от краски подушечку указательного пальца, гасит джойнт, аккуратно заворачивает остаток в целлофан, прячет в карман жилета. Еще пригодится. Застегивается у зеркала, поправляет шарф, проводит рукой по двум рядам пуговиц. Разворачивает и кладет в рот жвачку. Идет в зал. Взволнованная Валерия вылетает навстречу:

– Лев Борисович, где вы? Сейчас выходить на сцену. Ой, а что это от вас...

– Валерия, – говорит он, прислушиваясь к своему голосу, который теперь звучит как будто со стороны, как будто это кто-то другой, стоя у него за спиной и устроив подбородок на его плече, говорит за него. – Только не надо волноваться, Валерия. Вы же со мной. Я все беру на себя. – Он ободряюще смеется. Нет, это не он, это кто-то рядом смеется его голосом, и это смешно. – Я надеюсь, вы не исчезнете сразу же после этого бенефиса? Я должен вам рассказать одну потрясающую историю. Как меня один раз отсюда выгнали. Нет, это было давно. Лет 30 назад. Или даже больше. Честно! Да-да, я иду.

Миг – и он на сцене. Ему хлопают. Уже другая девушка в черном, но тоже длинноногая и тоже с красными губами, раскрыв красивую бархатную папку, читает заготовленный текст про технику на грани фантастики. Снова хлопают. Девушка показывает, чтобы он прошел к микрофону. У нее потрясающие синие тени на веках, темно-красные губы и белоснежная кожа. В этом есть что-то от американского флага. Примитивная лихтенстайновская выразительность. Он смеется от ясной простоты этой мысли. Она снова указывает ему на стойку микрофона. Ну, конечно, он должен поблагодарить собравшихся. И не забыть сказать, что если бы не случай, мог учиться с ними и сейчас сидеть в этом зале, а не стоять на сцене.

Кто-то рядом кашляет в кулак. Это поразительно – он подносит ко рту кулак, а кашляет тот другой на плече. Что за чертовщина?! Это уже не смешно. Нет, все-таки, смешно.

Перед ним ряды лиц, похожие на поплавки на черных волнах пиджаков. Но далеко не на всех можно видеть то добродушное благорасположение, к которому он так привык. Он видит лица насмешливые и требовательно серьезные, искривленные гримаской злой иронии и сонно-безразличные. Какое огромное море чувств простирается перед ним, подступая к самым носкам его двухцветных ботинок от Пола Смита. Какое слово ни брось в это море, оно поглотит его и будет

долго-долго обкатывать в своих волнах, пока не положит в правильное место на дне и станет хранить там, потому что слово, как камень – долговечно и часто переживает обронившего его.

– Академия всегда была для меня недосягаемой мечтой, – вдруг начал, не спросясь, невидимый спутник Льва. – Когда я только окончил Одесское художественное училище и моя выпускная работа была отмечена всесоюзным жюри, я приехал в Москву, чтобы поступать в институт имени Сурикова, но я не смог даже сдать вступительный экзамен.

Сказанное заставило его задохнуться от ужаса. Боже мой, что значит не смог сдать?! Надо же объяснить почему! Но с чего бы начать, чтобы вышло коротко и понятно? Наверное, лучше всего с детства. Причем с раннего.

– Когда мне было лет пять... – начал он.

Когда Левочка был пятилетним ребенком, его папа Борис Михайлович был одним из самых модных женских портных в Одессе. Его знали как Шкловского с Пишоновской. Улица носила имя француза Пишона, а скорее даже Пижона, который открыл в Одессе фабрику по производству ароматной пудры. Название этой улицы тревожило одесских модниц на генетическом уровне. Шкловский-старший обшивал жен всех городских начальников и морячек высшего ранга – жен капитанов, старших механиков и помполитов.

Левушка лежал на покрытом нитками ковре, где папины кожаные мокасины танцевали свой бесконечный танец с остроносыми итальянскими туфлями его заказчиц, и, высунув от усердия язычок, перерисовывал из журналов высоких, переломленных в осиной талии женщин в плащах и шляпах. Приросший к крохотным пальчикам карандаш проявлял поразительную точность в передаче самых мелких деталей. Оставленный им на столе рисунок кружев принимали за кружева.

Один раз он изобразил предмет женского белья в таких подробностях, что мать, сглотнув, спросила: «Где ты это видел?» Он пошел к дивану и достал из-под бархатной подушки комок кружев и шелковых тесемок. Был страшный скандал, на пике которого отец с надрывом выкрикнул: «Молчи! Ее муж ты знаешь кто?! Всех посадят!» «Меня не посадят! – крикнула в ответ мать. – Мне еще скажут спасибо за конец этому разврату!» «Сима, ты получишь деревянную крышку на гроб и ничего больше!» – «Предатель родины, ты не знаешь, что я получу или нет!» – «Сима, не будь! Здесь нет предательства, это – провокация. Подонки под меня копают! Они жаждут меня в тюрьме! Они не любят частника!» – «Я тоже жажду тебя в тюрьме!» – «О, темные как ночь люди, что вы будете иметь с меня в тюрьме? Ни что надеть, ни кусок хлеба с маслом!»

В школе Левушка, можно сказать, не учился, но рисование его спасало. Когда педагоги поняли, что к наукам он невосприимчив, но рисует не по-детски хорошо, ему выделили стол в учительской, за которым он делал на листах ватмана очередную стенгазету, или писал по красной ткани белой эмульсией с замешанным в нее зубным порошком лозунги типа «Учиться, учиться и учиться» и «Отличной учебой встретим XXIII съезд КПСС».

После восьмого класса Левушку приняли в художественное училище. Он так отдался учебе, что первая любовь пришла к нему с большим опозданием – на четвертом курсе. Сонечка Кириченко была родом из Овидиополя. В Одессе она жила у бабки на Княжеской, напротив дома художника Буковецкого, входишь под низкую арку – флигель в самом конце двора. Она занимала светлую, наполненную запахом скипидара и красок комнату с никогда не застилавшейся постелью, в которую постоянно норовил заскочить колченогий Равлик. Ночью он тихонько заберется под одеяло, проползет, как шпион, к подушке, вывернется на спину, устроит голову между ними. Утром проснешься, Равлик выжидательно смотрит: выгонят, не выгонят?

– Равлик, опять ты? А ну, вали отсюда!

Равлик встает, смотрит обиженно, идет по ногам, уже не таясь, еще раз оглядывается, не в силах поверить такой несправедливости, спрыгивает на пол, укладывается на подстилку. Косит обиженным глазом – не позовут ли обратно?

Левушка привстает на локте – Сонечка еще спит, устроив щеку в ладошке. Он целует ее в проступившую на горячем виске голубую жилку, она не слышит. Он ложится, закрывает глаза. За окном голуби постукивают лапками по карнизу, воркуют о своем, ритмично скрипит ржавый блок – Дуся развешивает белье.

В дипломной работе – «Возвращение» – Левушка изобразил стоящего посреди их двора солдата с вещмешком, с винтовкой, в расстегнутой шинели. У его ног – белый голубь. Голубь казался живым. Он косил на зрителя обиженным глазом Равлика, словно спрашивал: ну, позовете? Рассохшихся, в глубоких рубцах ботинок хотелось коснуться, проверить – написаны ли они, или это автор приклеил на холст куски старой кожи?

Работу выдвинули на всесоюзный конкурс, она получила первую премию, и то, что раньше неявно назревало, лопнуло и запузырилось. В Москву! В Суриковский! В кабинете директора было срочно созвано совещание.

Все, конечно, понятно, талант и все такое, но... э-э... пятая графа? Перестаньте, в какое время живем? Вот именно – в какое?! Я не буду напоминать вам, что происходит на Ближнем Востоке. Боже, он – ребенок, какое он имеет отношение к Ближнему Востоку?! Очень простое: сегодня он здесь, а завтра – там! Я не знаю, что будет завтра, а сегодня я вам скажу, что такие дети рождаются один раз в сто лет и становятся славой отечественной живописи, вспомните Бродского! Мы должны проявлять бдительность. Не в ущерб таланту! У мальчика в кармане всесоюзная премия, его заметил кто-то повыше нас с вами, так что считайте, что бдительность уже проявлена!

Вручая Льву рекомендацию, директор училища, наклонив по-голубиному голову, внушал ему:

– Вы едете поступать в Московский государственный академический художественный институт имени Сурикова, молодой человек. Я думаю, вам не надо объяснять, какая ответственность лежит на вас. За вами стоит весь коллектив нашего училища. Авторитет и доброе имя ваших педагогов. Вы понимаете, что я имею в виду?

Родители тоже были счастливы – если поступит, то, считай, еще на пять лет отсрочка от армии, а дальше видно будет. Левушка сложил этюдник, сунул в рюкзак свитер, белую рубашку для экзаменов, белье и носки на смену, коробки с кистями и карандашами, хрестоматию по русской литературе.

Проснувшись утром в купе, слушая стук колес покачивающегося вагона, он обнаружил, что лежавшего в ногах рюкзака нет. Наверное, свалился ночью на пол. Он заглянул вниз. Двое лысых мужиков с бычьими шеями, устроившись по сторонам столика, пили водку. На газете между ними лежал сочный украинский натюрморт: белое сало, зеленый лук, черный хлеб, раскрытый нож с костяной ручкой. Бутылка весело сигналила в окно летевшему за поездом солнцу. Рюкзака не было.

Левушка спустился и обнаружил, что нет не только рюкзака, но и новых чешских сандалий, купленных ему перед поездкой в Москву.

Мужики, хрустя лучком, с интересом рассматривали его. Узнав о пропаже, один мужик сказал многозначительно другому:

– Так ты понял? А я еще думаю, вроде у него лапа побольше размером, но сандалеты же такое дело – пальцы вперед прошли и носи на здоровье.

Второй, почесав голову, объяснил Леве:

– Тут один ночевал напротив тебя. На Солнечной в 4:10 вошел, в Очаково в 4:30 вышел.

Видя растерянность попутчика, один достал из сумки запасную стопку из нержавейки, поставил на край стола, наполнил.

– Присоединяйся. Тебя как звать-то?

Попутчиков звали Витяня и Вован. Они были близнецами. Обменялись рукопожатиями. Руки у них были толстые и добрые. Лева позавтракал с ними, в ответ на расспросы сообщив, что едет поступать в Академию художеств.

Тогда Витяня сказал:

– Левчик, ты если художник, так ты нарисуй эти сандалеты прям на ноге. Сейчас лето, ноге не холодно. А как до магазина какого-то доберешься, там прикупишь что тебе надо.

– Действительно, – сказал Вован. – Покажи, на что ты способен. Мы тебе сразу скажем, какой из тебя этот, как его... Айвазовский.

Братья заржали, а Лев раскрыл этюдник, устроил ноги на краю скамейки и изобразил на них отменные сандалеты, из под которых еще и проглядывали красивые носки в серо-оранжево-коричневую полоску.

Вован с Витяней были в таком восторге, что насобирали ему по карманам четыре рубля с мелочью – на кеды, а на вокзале взяли с собой в буфет, чтобы показать Витяниной жене Ленке. Она там работала. Лена долго присматривалась к его ногам, а потом спросила, не мог бы он нарисовать прямо на ней гипюровую ночную сорочку. Лев ответил, что нарисует такую, что сама королева Виктория позавидует, если только Витяня возражать не станет.

– Я те нарисую, – Витяня хлопнул его легонько по затылку и добавил:

– Айвазовский.

Когда все насмеялись, Лена ушла на кухню и вынесла им в промасленной бумаге чебуреков с картошкой. Они взяли к ним еще поллитровку, Левушке пришлось для этого вернуть им один рубль, и устроились за ящиками с яблоками, которыми закусывали, когда кончились чебуреки. Потом Витяня ушел к жене, а Вован отвел Левушку на метро. По дороге он очень подробно, так что тот тут же запутался, объяснил, где он должен совершить первую и потом – через шесть остановок – вторую пересадку, чтобы добраться до общежития.

В вагоне Левушка часто засыпал, всякий раз пропуская момент, когда невидимая женщина объявляла со сдержанным воодушевлением остановки. А вокруг люди читали, дремали, думали сосредоточенно о своем. Это были люди в очках и с усами, в косынках и в кепках, с золотыми зубами, зубами из нержавейки или с черными щелями на месте зубов, потерянных в схватках с жизнью. В каждом из этих лиц была своя история, достойная его карандаша, но в тот момент все его мысли были о туалете, потребность посещения которого вдруг заслонила все остальное. Именно по этой причине, покидая на следующей остановке вагон, он начисто забыл об этюднике, и поезд увез его в темный туннель, лишив того важного звена, которое связывало его как с прошлым, так и с будущим. Миг, фраза «осторожно двери закрываются» – и из абитуриента московского государственного академического художественного института имени Сурикова он превратился в пьяного бродяжку.

Левушка осторожно, чтобы не упасть на сильно раскачивающемся полу, осмотрелся. Станция сверкала белым кафелем, и не было в ней ни одного укромного угла, который мог бы принять его в своей уединенной тиши. Он встал на эскалатор и поехал вверх, прочитав над сводчатым выходом первые понятные в этом подземелье слова – «Третьяковская галерея».

Людская волна вынесла его к небу, и он, ловя краем глаза указатели, побежал легкой трусцой к единственному месту, которое могло теперь спасти его. Очередь казалась неподвижной. Едва добравшись до окошечка кассы, купил билет. Плотная толпа, придерживая со всех сторон, внесла его в залы, где он на какое-то время отвлекся от своей заботы видом знакомых пейзажей и лиц, пока одно не заставило его замереть и остановиться – это было светлое и улыбчивое лицо его Сонечки.

Она смотрела на него из зеркала-картины, держа в одной руке хвост густых каштановых волос, а в другой – гребень. Их сияющая белым светом комната выглядывала из-за ее легкой фигурки. И такая жуткая тоска свела страшным спазмом отравленный водкой и чебуреками Левушкин организм, что, обессиленный, он припал к стене с портретом любимой и дал волю всей переполнявшей его влаге. Ему не нужен был этот чужой город, эта академия, учеба непонятно чему, он только хотел вернуться в теплые сонечкины объятия, где мир был понятен и прочен. Держась за стену, он рыдал, нимало уже не заботясь о том, как горячий спиртовый коктейль течет по ногам, смывая краску, быстро расползающуюся по историческому паркету.

Не успел он насладиться долгожданным облегчением, как чьи-то сильные руки подхватили его, он взлетел и понесся вперед, разрезая размытыми сандалетами и отбрасывая назад пространство, полное лиц, пейзажей и распахивающихся дверей. В очень неприветливом казенном учреждении, где он скоро оказался, его раздели и поставили под ледяной душ, а потом положили, трясущегося от озноба и отравления, на жесткую, как доска, кровать, прикрыв отчаянно колючим одеяльцем.

Через неделю отец вызволил его из захламленной кладовки вытрезвителя, начальство которого решило использовать узника по прямому назначению – рисованию настенной агитации и лозунгов типа «Норма жизни – трезвость!»

В поезде Борис Михайлович рассказал о страшном скандале в институте. Милиция обратилась сначала туда. Имя и адрес нашли в документах абитуриентов. Родителям написали открытку.

– Шикер, – выговаривал ему Борис Михайлович. – Ты уже можешь забыть за свою академию! Ты будешь красить заборы в зеленый цвет. Ты не знаешь, что мне надо было выслушать! Ваш сын обделал главную Третьяковскую галерею Советского Союза, как дворовой сортир на своей Молдаванке! Какой-то шедевр, какой-то Зинаиды! Я им сказал, извините меня, но такое может случиться с каждым человеком, включая присутствующих, это – раз. Два – мой сын рисует не хуже вашей Зинаиды, а может еще и лучше. Или вы думаете, ему напрасно дали всесоюзную премию первой категории?!

– Ой, вэй! – папа уже беседовал сам с собой. – Надо было видеть, как они подпрыгнули. Это не какая-то Зинаида – это – гений русской живописи XX века! А я что, спорю за ее гениальность? Я просто хочу сказать, что если бы какие-то хазеры не напоили моего сына водкой, так у вас было бы два гения русской живописи XX века. Мама моя родная, они так кричали, небо стало черным. Нет, в такой стране аиду хорошо не будет!

В ноябре того же года Левушку увезли в Америку, но это уже была другая история. Вот, собственно, и все, что он хотел рассказать собравшимся, но не успел. Мощная афганская волна, поднимавшая его все это время на свою радостную высоту, стала оседать, и он понесся по черному скату в неумолимо разверзавшуюся под ним пучину черной тоски. Но еще перед тем, как исчезнуть в ней, он снова увидел свою Сонечку. Со страшной печалью смотрела она на него. Рука ее лежала на руке ее перекошенного несчастья на колесах. И тогда, спасая остающиеся у него мгновенья, он схватил микрофон обеими руками.

– Дамы и господа! – заторопился он. – Уважаемые академики! Когда-то я смотрел на вас и думал, что лучше, чем рисуете вы, рисовать невозможно. Да, я так думал! Я мечтал быть вашим учеником. Я мечтал быть таким, как вы. А сейчас, – он задохнулся, уступив место своему двойнику, чей смех, злой и короткий, стал похожим на отрывистый собачий лай. – А теперь, мне это все на фиг не надо! Не надо, потому что я рисую лучше всех вас вместе взятых, и мне платят за это миллионы! Вы поняли, меня? Миллионы!!! Вы меня поняли!!! Мне не нужен ваш почетный диплом!!! Мне ничего здесь не нужно! Ничего!

Сгибаясь от одолевшего его лая, он видел, как взлетели удивленные брови, как кто-то, оскалившись, смеялся, а кто-то говорил зло и возбужденно, кто-то даже аплодировал. Он ощутил, что его тащат со сцены. С головокружительной ритмичностью перед ним появлялись то растерянное лицо Валерии, то ее прекрасные ноги, как будто она безостановочно крутила колесо. Он пытался остановить ее, и в какой-то момент ее остроносый красный туфель даже оказался у него в руке, но ненадолго. Его ударили о стену, его обдало уличной прохладой, хлопнула дверца, и кто-то невидимый дал указания водителю, куда его доставить. Витрины, окна, светофоры, лица поехали прочь от него, он закрыл глаза.

Ступив на тротуар у гостиницы, осмотрелся. Впервые с момента его появления в этом городе никто не сопровождал его. Он застегнул пиджак, бабочки не было, шарф тоже куда-то подевался, но это уже не беспокоило его. Он хотел побыть один, разобраться, что с ним случилось, как его так понесло и откуда взялись эти миллионы?

«Главное – выяснить, не подмешала ли эта афганская аферистка чего-то в свою траву, – думал он, поднимаясь в номер. – Кому нужны такие неожиданности?»

Утром он поменял билет на ближайший рейс и, рассчитавшись за номер, уехал в аэропорт.

Отправляясь на посадку, он оглянулся, увидев обычную картину: кто-то ждал своих родных, говорил в телефон, обмахивался сложенной газетой, бродил без дела по залу, спал. Жизнь продолжалась, но она уже не имела отношения к нему. Город сияющих небоскребов и пронумерованных улиц ждал его. Простой и ясный в свете зимнего солнца.

Нью-Йорк

Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

***

Ушедшие, которых пережил –
как партия, в которую готовлюсь
вступить и я. Не ясен только срок,
для испытанья отведённый, то есть
когда высокий форум их решит,
что нет принципиальных возражений
против моей персоны, что и мой
им требуется голос для поддержки
влиянья своего на дольний мир,
нуждающийся в кардинальном сдвиге
пластов и представлений, что уже
украдкой вписан в новую систему
координат как точечный агент.

Живут слова их, имена и лица
в сознании моём, день ото дня
становятся всё ближе, всё яснее,
колеблют воздух, проверяют связь
по откликам тоскующего сердца.
Глазами поспешивших завершить
участие прямое в гиблом деле
и приступивших к действиям извне
гляжу вокруг себя чуть отстранённо
и перед кооптацией своей
оплакиваю, призываю в помощь,
вступительный оплачиваю взнос.

2011

***

Скудельного сосуда полого
возможности разнообразны:
принять весь мир, его соблазны
иль образ существа бесполого –
осадок в виде камня винного,

Борис Лихтенфельд родился в 1950 году, живет в С.-Петербурге. Публиковался в журналах «Обводный канал», «Часы», «Арион», «Волга», «Звезда», «Крещатик», «Нева», «Зинзивер», «Дети Ра», «Слово\Word», антологиях художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдемся снова...» и «Петербургская поэтическая формация», «Лучшие стихи 2010 года» и др. Автор книг «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда» (2000), «Метазой» (2011).

кристаллизуясь, дно покроет,
иль джинногунногуманоид
взойдёт из вещества невинного.

2014

Произвольный монтаж

Перед умственным взором недремлющим
прокрути эту ленту назад,
в каждом кадре мучительным зрелищем
концентрируя долгий распад
эфемерной империи внутренней,
уязвлённой, но верной судьбе,
словно звёзды – вечернюю с утренней,
день и ночь совмещавшей в себе.
Смысл какой-то ведь был в этой верности!
Камнем канул – вернуть помоги,
Режиссёр: пусть на зыбкой поверхности
в той же точке сойдутся круги!
...Сжалась вся и, как память, изглодана.
Старый льётся по-новому свет,
приглушён – как бы глядя из Лондона
(Анатолий Максимыч, привет!)
Расцвели все оттенки осенние
умирания в финских лесах,
в белом цвете суля воскресение
на каких-то других небесах.
Где-то там, довоенная школьница,
мама в стайке ближайших подруг.
Карнавальная дикая вольница
волны счастья разносит вокруг,
опьяняет большими надеждами...
«Страшно!» - голос за кадром сказал,
и балетными па центробежными
раздвигается зрительный зал.
О, как благоуханна, как солнечна
та лужайка в наплыве тоски!..
Потемнеет – и двушечку Сонечка
заработает за колоски.
По ненастному времечку Настенька
побредёт – не тюрьма, так сума!
Ономастика строгого кастинга
слух линчует и сводит с ума.
Вылезает, волнами насилия
поднята из глубин забытья,
на экран, как большая рептилия,
достоверности галиматья,
между строк и навязчивых роликов
несусветный кроит свой сюжет,

розовеет колонией кроликов,
кружевами брабантских манжет.
Вот и пьяный корабль обессиленный,
как синюшный ночной нищеброд,
всё какой-то влеком Абиссинией,
пряным веяньем знойных щедрот.
Всё не так ведь, как было... Напомни-ка,
захвати болевой ареал,
чтобы зритель под крышей питомника
глупых страхов своих не дремал!
Всколыхни декорации горние,
чтобы Индии Духа достичь,
чтоб в священном лесу Калифорнии
ожила заповедная дичь!
...Мёртвый дом перекличкой певучею,
как струною разбужен тугой.
Произвольный монтаж по созвучию
узаконен сибирской тайгой.
Смещены Достоевским и Диккенсом
оба центра, а память в плену,
как затворница Эмили Дикинсон,
отдалённую ловит волну.

2013

***

Вновь подморозило – и, вроде,
к развязке не спешим кровавой,
пока на левом повороте,
как встарь, не занесёт нас вправо.

2012

Гимн священной корове

Сурабхи – священная наша корова.
Сурабхи – судьбы нашей кармоотвод.
Суровая сила немолчного рёва,
как мантра блаженства, в нирвану зовёт.

Кушай, Бурёнушка наша родимая,
травку целебную наших лугов!
Славься и радуй нас, наша любимая,
статной красой от гузна до рогов!

ИО нашей воли, корова желаний!
На страже святилищ твоих мы стоим.
Амброзия нежных твоих излияний
питает наш дух ароматом своим.

Кушай, Бурёнушка наша родимая,
травку целебную наших лугов!
Славься и радуй нас, наша любимая,
статной красой от гузна до рогов!

Ау, Аудумла! Мы долго блуждали
по млечной распутице дум о былом.
Откликнись, вскорми наши корни в Валгалле,
скреплённые свыше могучим стволом!

Кушай, Бурёнушка наша родимая,
травку целебную наших лугов!
Славься и радуй нас, наша любимая,
статной красой от гузна до рогов!

2014

***

В мире абстрактных пустот
где ж академик найдёт типажи для массовки
в духе картины Иванова – тихий антихрист
шествовал чтобы, как *Тот,*
к ждущим и жаждущим, шабаш их жидо-масонский
чтоб трепетал, а безродный какой-нибудь выкрест
чтоб возвещал им: *грядёт*?

В символах чтобы наглядно читались приметы
времени: зверь героин
вкрадчив, как солнечный культ голливудской блондинки,
жертвенник в виде руин
башни разврата... Один за другим пусть портреты
вспышками вырвет из каббалистической дымки
огненный транспорт Ильин!

Маркс-лжепророк чтобы зрителем с первого взгляда
опознавался в седом
бородаче, чуть поодаль Эйнштейн пучеглазый,
пеплом Гоморры кормящий ползучего гада,
тут же и Фрейд, в недрах психики вскрывший Содом,
что перед Страшным Судом
распространился по миру тлетворной заразой.

Камни, что будут в хлеба
превращены – под ногами, вдали – астероид
ястребом шизым завис над вершиной Сиона.
Вера без чуда слаба.
Только оно убедит и палитру настроит,
чтобы Архангела веская, как аксиома,
зримо звучала труба.

2013

Феликс ЧЕЧИК

***

Твоё в горошек платье,
мой клёш под пятьдесят,
как новые – в палате
мер и весов висят.

А мы с тобою – пепел
и нас развеял сын.
Конечно: мене, текел,
но вряд ли – упарсин.

***

самые вкусные яблоки или
тыблоки были на братской могиле
вечный огонь бесконечный мотив
млечно-медовый налив
в жизни вкуснее не пробовал этой
паданки солнцем июльским согретой
ливнем омытой как слёзами вдов
вновь вспоминаю и вновь
долго ли коротко ли как ни странно
косточек горечь и запах пропана
нету страны на меня из окна
смотрит огрызком луна

***

я на шестом десятке
играю с миром в прятки
мое второе я
как малое дитя
оно неуловимо
мираж и струйка дыма
во тьме при свете дня
поймаете меня?
и даже не мечтайте
я всюду и нигде
один в 6-й палате
и на сковороде

Феликс Чечик родился в 1961 году в Пинске. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор нескольких поэтических книг. Лауреат «Русской премии» (2011). Живёт в Израиле.

***

Когда рыдали над прыщами
и слушали «Goodbye, My Love»,
мы брать преграды обещали,
обещанного не сдержав.
Да здравствуют петля и вена,
тоска и хлебное вино,
где погибают откровенно,
уже погибшие давно.

***

даже не думай об этом
выброси из головы
летом дождями отпетом
выползти днём из травы
спрячься в траве как улика
ляг на прохладное дно
поползновенье улитка
мокрое в общем пятно

***

Не удержала... Цадик. Грешник.
Католик. Русский. Иудей.
Соломинка – в один из вешних
декабрьских дней.

Не удержала, не сумела,
как ни старалась – не смогла.
Соломинка и Саломея.
Ночная мгла.

***

В ожидании сына с войны
мы с тобой перевидели сны
до единого все – не осталось
сновидений на старость, –
проживем и без них – не впервой –
нам бы только увидеть его
краем сердца, как если бы глаза...
Сериал под названием «Газа».

***

Воздушный змей,
искусственный на вид,

во тьме ветвей
застрял, и не летит.

И этому
он бесконечно рад.
Покой и тьму
предпочитает, гад.

***

я жил нет выживал
и выжил ну и ну
и полюбил овал
покой и тишину

из предпоследних сил
существованье для
я угол разлюбил
с названием земля

***

долго ли коротко ли
не пойму
молча текли
муравьи и во тьму
перетекали
бесшумным ручьём
жизнь как вначале
и смерть нипочём

***

я оборвал на полу
молчала и молчи
из детства радиолу
поющую в ночи
цифирь пришла на смену
убогости былой
и попадает в вену
невидимой иглой
молчала не винила
не проклинала свет
лишь капелька винила
скатилась на паркет

***

воробьи и трясогузки
пели песни не по-русски
у могилы на виду
в мандариновом саду

у покойницы старухи
на груди лежали руки
выражение лица
в песню вслушивается

***

какая лёгкая походка
какая полная луна
осмысленно и неохотно
пересекает двор она
как мельхиоровая ложка
засахаренная в меду
идя не двигается кошка
у спящих окон на виду

Поймай меня...

1.

Поймай меня на честном слове,
пытай, не делая поблажки –
ноябрьское Подмосковье, –
хрущобы и одноэтажки.
Но пойманный тобой, как птица,
под пыткой не скажу ни слова
о том, что продолжает сниться:
и Щёлково и Одинцово.
Я житель не твоих окраин
и небо надо мной не хмуро,
которому я рад и равен,
как вечный гой после гиюра.

2.

Памяти Н.Оганесяна

Поймай меня на честном слове,
пытай меня без перерыва,

гранатовое – цвета крови, –
вино армянского розлива.
Мне хлебное милей, конечно,
и ближе сахарное даже, –
не потому, что ночь кромешна
в метафизическом пейзаже.
Не потому, что брат на брата,
и ничего не стоит слово...
А потому, что Арарата
кровь иудейская багрова.

3.

Поймай меня на честном слове,
пытай меня до полусмерти –
чужое горе, как сыновье,
покуда за отца в ответе.
В степях Донбасса – в Диком Поле,
изрытых траками своими,
где от бессмыслицы и боли
любимой забываешь имя.
Но помнишь золотое время,
но помнишь время золотое.
И леса нет – одни деревья,
и те – не умирают стоя.

Андрей КРАСНЯЩИХ

АНДРЕЙ И СВЕТА ЕДУТ В БЕЛГОРОД ЗАНЯТЬСЯ СЕКСОМ

(Глава из романа «О себе»)

Эстетический смысл асимметричного построения понятен: полная симметрия есть самый отвлечённый, нечувственный («холодный») вид порядка, статическое равновесие.

Евгений Харитонов

Ему было восемнадцать. Ей – двадцать два. Его звали Андреем, её – Светой. Они ехали из Харькова в Белгород, чтобы снять в какой-нибудь, абсолютно любой, гостинице номер и заняться там сексом. Белгород, как им казалось, – это ближайший от Харькова город, где для них есть гостиницы. В Харькове на то время для них гостиниц не было. Были Светино общежитие – комната с двумя соседками, Мариной и другой Светой, квартира с родителями Андрея, да и, собственно, всё, не считая аудиторий IX/40 и I/51 (а раз Андрей не хочет вспоминать о даче своего друга Тимура, то и мы о ней умолчим).

«Гарри и Уолтер следуют в Нью-Йорк» – любимый фильм Андрея в двенадцать лет (во всяком случае, он так говорил одному мальчику из Красноярска, Лёне Брянцеву, с которым познакомился и подружился в пионерском лагере «Факел») – назывался почти точно так же, как эта глава. В этом фильме Андрею особенно нравилось, как повисшая на пальце капля нитроглицерина, слетая, взрывает чуть ли не целую улицу домов. Но, конечно, самыми любимыми фильмами были не американские, а румынские вестерны – про комиссара Миклована и его временного партнёра по борьбе с послевоенной преступностью комиссара Романа. Они назывались «Последний патрон», «Чистыми руками», «Комиссар полиции обвиняет», «Комиссар полиции и Малыш» и было, кажется, что-то ещё. В конце каждого из них то ли Миклован, то ли Роман (сейчас Андрей уже не помнил точно кто) вроде погибал, но в другом – раненый, почти мёртвый, но живой – снова принимался за бандитов. Это было здорово. В финале одного из фильмов Миклована или Романа расстреляли из автоматов прямо на краю какого-то румынского обрыва или карьера, а в начале следующего (жутко хотелось верить, что так и бывает на самом деле) он оттуда вылез. Весь в крови, но это ведь не считается. Тогда, во всяком случае, не сильно считалось.

Андрей Краснящих родился в 1970 году в Полтаве. Окончил Харьковский государственный университет, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории зарубежной литературы и классической филологии. Автор сборника рассказов «Парк культуры и отдыха» (2008; шорт-лист премии Андрея Белого). Публиковался в альманахах «Вавилон», «Фигуры речи», «Абзац», «Новая кожа», журналах «Новый мир», «Искусство кино», «Новая Юность», «Черновик», «Наш», «Шо», в интернет-изданиях «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным», «TextOnly», «Vernitskii Literature» и «Post(non)fiction». Соосновательи соредактор литературного журнала «©юз Писателей». Живет в Харькове. В «Волге» опубликовано интервью с Юрием Соломко (2014, №5-6).

И вот сейчас Андрей и Света, как герои Гарри и Уолтер – в Нью-Йорк, или как Миклован с Романом – на борьбу с уголовным миром, ехали в Белгород, только с иной целью. Андрей в Белгороде бывал в детстве, все бывали – кто куда, а Харьков издревле, чуть ли не с татаро-монгольских времён, ездил в Белгород за синей школьной формой. Украинская коричневая считалась в кругах просвещённой харьковской молодёжи нешарманом, молодёжь сетовала на то, что её в школе называют лохами, мамы выбирали выходной день субботу (в воскресенье магазины не работали) и везли своих модников в Белгород.

По сравнению с Харьковом Белгород был мал и тих, но просторен и чист. Просторные светлые улицы вливались в широкий светлый проспект, по светлым просторным площадям гуляли спокойные улыбающиеся дети. Казалось, что места в Белгороде хватает, должно хватать, на всех – может, поэтому Андрей со Светой поехали именно туда, а не в другой город.

Ехали на утренней электричке: впереди были день, ночь, ещё день и, если хватит денег, ещё одна ночь, а там – Харьков, универ, сессия: Андрей со Светой были однокурсниками, Света – после рабфака, Андрей – после школы и неудачного поступления на журфак МГУ. Нет, он мог бы туда поступить, если б лучше готовился к экзаменам, например, по английскому языку, и меньше времени тратил на саму Москву. Но так как Андрею для поступления в МГУ не хватило всего-то одного балла и так как в его жизни слово «почти» значило столько же, сколько «на самом деле», если не больше, то он – почти москвич, почти столичная штучка – чувствовал себя в родном городе Харькове как отправленный в не вполне заслуженную ссылку знаменитый поэт, Пушкин или Байрон, или – когда надо – изображал из себя путешествующую инкогнито знатную особу, принца Флоризеля.

В Свету – девушку из Нововолынска – Андрей влюбился полгода назад и теперь уже ясно осознавал, что жить без неё не может. Света об этом тоже знала. Андрей был хорошим, очень хорошим, временами – просто удивительным и самым лучшим, но из логики построения этой фразы уже ясно, что этого всего было недостаточно. Многие вещи (из-за которых, к слову, они с Андреем через два года расстанутся), например, необходимость постоянно доказывать свою любовь к Андрею или его патологическая безмерная обидчивость по любому поводу (детское качество, перешедшее в личность формирующегося мужчины), или вообще всё то, что она про себя называла капризами ребёнка и юношеским максимализмом (в плохом смысле этого слова), Свету не то чтобы отталкивали от Андрея, но уж точно не приближали к нему. Андрей видел, ощущал эту дистанцию – когда больш́ую, когда не очень – и не понимал, не мог понять, как это его – такого хорошего, такого влюблённого, такого внимательного и заботливого, такого готового на всё ради своей любви и к тому же такого яркого, красивого, интересного (и – к чему замалчивать то, чего не надо замалчивать? – о нём легенды ходили по филфаку: «А знаете, что Андрей на это ответил?», «А знаете, где он был?», «А помните тот случай в Гайдарах?») – можно обдавать таким космическим холодом, да ещё и кто? – девушка, которую он любит больше жизни, его девушка. Это непонимание делало Андрея ещё более капризным и обидчивым, и он требовал всё новых – постоянных – уверений в любви к нему. Короче, получался замкнутый круг.

По железной дороге от Харькова до Белгорода менее двух часов. Город солнца встретил Андрея и Свету солнцем и дождём. Дождь, правда, вскоре, закончился. В справочной сказали, что до ближайшей гостиницы – она называлась «Дружба» – можно доехать на первом троллейбусе, четыре остановки. Пока ехали, Андрей пытался узнавать места и, если удавалось, страшно радовался и тут же рассказывал Свете о своей находке.

«Вон там книжный магазин, – говорил он, показывая куда-то между домами. – А вон там, справа, будет памятник Ленину. Видишь, вот он».

Света смотрела туда, куда он показывал, и пыталась увидеть город Андреевыми глазами. В Белгороде она была впервые, этот город ей абсолютно ни о чём не говорил, и она от него ничего

не ждала. А ждала она от Андрея – нет, не слов, не действий, даже не мужественности и взрослости, а... а в самом деле, чего она от него ждала?

Наверное, гостиница «Дружба» была слишком дорогой, во всяком случае, она выглядела точь-в-точь как очень дорогая гостиница: кожаные диваны, стеклянные стойки, персонал в униформе, пальмы в кадках, – но насколько дорогой, Андрей со Светой не узнали. «Мест нет», – сказали ему из окошка, когда он – в первый раз в жизни! – просунул туда свой паспорт. «Вообще?» – спросил Андрей. «Вообще», – ответили ему.

Следующей белгородской гостиницей была «Белгород» – тоже, в общем, недалеко, пять или шесть остановок на том же первом троллейбусе. В фильмах про Миклована и Романа героям всё тоже давалось не сразу. «Знаешь, – сказал Андрей Свете, – когда я был маленьким, мы с родителями каждый год летом ездили в Сочи. По сравнению с сочинскими их «Дружба» просто конура». Света не возражала.

«Белгород» оказался конурой даже по сравнению с «Дружбой», не говоря уже о сочинских гостиницах, которых в Белгороде, вероятно, не было, да и слава богу, иначе у Андрея на них точно не хватило бы денег.

«Есть, – радостно объявил Андрей Свете, ожидавшей его на диванчике в холле. – Есть свободные места. Но шестиместные. С подселением. Зато я узнал, как добраться до кемпинга. Там, сказали, точно должны быть отдельные комнаты».

Кемпинг – звучало по-американски. В американских фильмах всегда была свободная комната для двух уставших путников или влюблённой парочки. Придорожная гостиница, мотель, кемпинг – не всё ли равно, как называется, главное, что можно сбросить в угол свои немудрёные пожитки, запереть дверь и остаться совсем вдвоём, только друг с другом, на какое угодно время, хоть на день, хоть на два.

Троллейбус был сменён на автобус, кемпинг находился где-то на окраине города, где даже Андрей ни разу не бывал. Когда через несколько остановок освободилось одно сидячее место, Света сначала отказалась от него, чтобы находиться рядом с Андреем, но проехали ещё несколько остановок, автобус швыряло и подкидывало – он ехал по пригороду, Света устала и села.

Андрей, думая о предстоящем кемпинге, пытался вспомнить конкретно какой-нибудь фильм, где герои – парень и девушка – приезжают в мотель и остаются там вдвоём, но такой фильм – а их Андрей пересмотрел великое множество – почему-то не вспоминался, в голову лезли сплошные миклованы и романы, четверо против кардинала, ангары-18, бездны и гойко митичи. Что тоже, конечно, было нескучным, но как-то, что ли, не ко времени. Глядя на отвернувшуюся к окну Свету, Андрей поборолся-поборолся со своими гойко митичами и сдался на их милость: ехать предстояло ещё долго, очень долго, почти два года, за это время произойдёт много чего – Андрей, не выдержав светиного молчания, сбежит от него на Камчатку со стройотрядом, Света, не вынеся Андреевых слов, уедет на Сахалин работать на рыболовецком траулере, потом они – Андрей и Света – снова встретятся в Харькове, и Света, ища выхода из пугающей и уже становящейся дурной бесконечности, изменит Андрею с его лучшим другом, а Андрей – нет, не в отместку – переспит с её ближайшей подругой, впереди будет всё: и его попытки самоубийства, и её поиски себя – с Андреем и без Андрея, и неожиданное для обоих глобальное потепление, и вполне искренний самосуд, и садизм, и мазохизм, и страсти, и страсти-мордасти. Увы, мой друг, увы, любовь – это попса, всегда и только попса, и ты с этим ничего не поделаешь. Других стилей и жанров у неё не бывает.

Но всё это будет позже, а пока Андрей со Светой приближались к кемпингу, в котором, как все уже догадались, места для них тоже не будет. Кемпинг окажется мотелем, мотель окажется забитым под завязку поляками, приехавшими на автомобилях искать могилы своих дедов и отцов, поляки окажутся весёлыми и общительными, пригласят Андрея и Свету выпить с ними, Андрей почти согласится, но Света откажется, тогда Андрей посмотрит на часы и скажет полякам – Иреку

и Каролю – «спасибо, но нам пора, надо ехать», и они – Андрей со Светой – уедут из кемпинга обратно.

Андрей и Света ехали из кемпинга обратно. Андрею давно уже хотелось произнести слово «невезение», но невезучие – это Пьер Ришар, «Синьор Робинзон», «Мистер Питкин в тылу врага», невезение было комедийным жанром, а не героическим, и Андрей решил это слово вслух не произносить.

Как и в прошлый раз, Света сидела, Андрей стоял. Они ехали на вокзал. В кемпинге им сказали, что есть ещё две гостиницы, почти в центре, но если «Белгород» и «Дружба» заполнены, то и там, скорее всего, не будет свободных мест. «В следующий раз бронируйте заранее», – сказали им в кемпинге, и Андрей подумал, что да, надо было выяснить всё заранее и забронировать, хоть это и малоромантично – бронировать номер для свидания с любимой девушкой. «Пошлость», «цинизм», «расчёт» – вот какие слова приходили на ум Андрею, когда он думал о том, что если б он заранее, из Харькова, заказал номер в «Белгороде» или «Дружбе», то они бы со Светой давно уже получили его, закрыли дверь на ключ и остались только вдвоём, а не возвращались в битком набитом автобусе на вокзал, где, как им сказали в кемпинге, всегда есть свободные койки для транзитных пассажиров в комнатах отдыха. «И не только для транзитных», – подмигнул Андрею тот, кто всё это рассказывал, и Андрей вместо благодарности почувствовал чуть ли не ненависть к нему. Скотина. «Хорошо, что Света не слышала», – подумал Андрей, хотя, может, работник мотеля и не имел в виду ничего такого гадкого или двусмысленного, но тогда выходило ещё хуже – получалось, что гадкое и двусмысленное родилось у Андрея в голове, или даже всегда было там – на периферии, в глубине подсознания, а может, и сознания.

Света выбрала комнаты отдыха на вокзале, и две оставшиеся гостиницы – и в самом деле слишком малый шанс, чтобы говорить о нём всерьёз, – остались за бортом их с Андреем кругосветного путешествия. Полмира уже было позади, оставалась ещё половина. «Кульминация, – думал Андрей, – она есть в каждом сюжете. Её не может не быть». И вспомнил о других фильмах – тех, где ничего не происходило и ценность которых была не в действии, интриге и не в напряжённом ожидании развязки, а в другом – в утомительном, но в то же время и упоительном для человека бездействии, наслаждении самим моментом, а не его переходом в другом момент, тихой, спокойной радости наблюдателя, а не соучастника.

Такие фильмы Андрей не то чтобы не признавал и любил меньше, но всё же предпочитал им обычные – с лихо закрученным сюжетом, драками и перестрелками. Где сердце бьётся как бешеное и жизнь героев висит на волоске. Конечно, Андрей понимал всю ненастоящесть этих фильмов, но в том-то и дело, что эти фильмы были лучше настоящих.

Комнаты отдыха, по сравнению с гостиницей, стоили совсем ничего, но чтобы туда попасть, требовался билет на скорый поезд, куда-нибудь далеко, а такие билеты стоили уже гораздо дороже, больше, чем было у Андрея. Света открыла свой кошелёк и пересчитала, сколько у неё было – всё равно не хватало.

Как красиво, как пьяняще красиво и вдохновенно, словно призывая разделить с ними торжество радостной смерти над унылой бесцветной жизнью, умирали в конце каждого фильма Роман и Миклован! Как возвышенны были их падения под пулями врагов на грязный асфальт шоссе или в пропасть карьера! Как элегантны и легки были хорошо отрепетированные взмахи роняющих пистолет рук! Особенно если знать, что вскоре, в следующем фильме, они будут снова сжимать пистолет и стрелять из него по бандитам. И только бандиты умирали в фильмах по-настоящему, никогда не переходя из одного в другой.

Андрей и Света сидели на скамейке в зале ожидания. Электрички до Харькова ходили каждый час – можно было поехать любой, ближайшая уходила через пятьдесят минут. Света задала какой-то вопрос, Андрей на него ответил. Света взяла его за руку, Андрей положил свою руку на её. Андрей и Света ехали из Белгорода в Харьков. Впереди у них были ещё два года, но общего будущего у них не было.

Bonus

В справочной сказали, что, кроме комнат отдыха – для транзитных пассажиров, на запасных путях стоят ещё и вагончики отдыха – для нетранзитных, на полдня или несколько часов. Вагончики как вагончики, купейные, даже вода в умывальнике есть, покупай постельное бельё, доплачивай два рубля за отдых и лежи себе отдыхай, купе в твоём распоряжении. Андрей собирался заплатить за два комплекта белья, Света сказала, что достаточно одного, всё равно к ним никого не подселят.

«Правда, здорово?» – спросил Андрей, когда они закрыли дверь купе, расстелили постель и наконец-то остались одни. И поцеловал Свету. «Правда», – ответила Света и поцеловала Андрея. По коридору вагончика бегали цыганские дети, что-то выкрикивая («Тили-тили-тесто, жених и невеста»?) на, наверное, цыганском языке. В купе справа пили, громко цокаясь стаканами, и всё время смеялись. Из-за стенки другого купе раздавался чей-то храп. Света положила голову на плечо Андрея и закрыла глаза. Андрей гладил Свету по голове и смотрел в окно, где не ехали, а стояли на запасных путях такие же, как их, вагоны, в которых, наверное, сидели или лежали, ожидая своего поезда или просто так, другие люди – мамы с детьми, цыгане, вахтенные рабочие, собравшиеся выпить старые знакомые, спекулянты с огромными баулами, карманники с тонкими бритвами в каждой руке, ушедшие из дому мужья и жёны и, конечно же – куда уж без них, – влюблённые парочки.

Света спала, Андрей смотрел в окошко на надвигающийся вечер и завокзальную часть Белгорода, в которой раньше никогда не бывал.

Потом Андрей и Света сидели на скамейке в зале ожидания. Электрички до Харькова ходили каждый час – можно было поехать любой, а ближайшая уходила через пятьдесят минут. Света задала какой-то вопрос, Андрей на него ответил. Света взяла его за руку, Андрей положил свою руку на её.

Андрей и Света ехали из Белгорода в Харьков. Впереди у них были ещё два года, но общего будущего у них не было.

Александр ПЕТРУШКИН

Prayer of fish / Моление рыбы

На берег [как рыбы протёкший побег]
дождь ставит тавро прямой речи
и смотрит в её непрозрачный подтёк,
где вновь перекладывал вещи,
как ссадины птиц на коленях пустых
отсутствующих живых,

где берег на кадры положит пробел
снежком рыбным [к жабре прижатым]
коснётся дна зренье своим вторым дном,
своим словарём небогатым:
от края до сумерек – рыбный базар,
и слышно гортанное «ар».

На берег, как лошадь взойдя, стая рыб,
горит, что листва тёплой Парки
и видишь её ледяную дугу
и след от проточной тьмы сварки
всех слайдов положенных навзничь в петлю
[и что вероятно – свою],

где мир примечание к йодным полям
и рыбному взгляду без века,
лежит Пифагор в очевидных губах
всей смерти своей, как побега –
и снится ему, словно речь хромосом,
зола [как бы иней и схрон].

Ведет свет ресницы и видит тавро
прямой своей речи, как банки,
где он словно берег в рыбу протёк
чьё слово сбегает из ранки
и рыбные всходы встают, чьи вчерне
все лампочки – обо мне.

Александр Петрушкин родился в 1972 году в городе Озерске Челябинской области. Публиковался в журналах «Урал», «Крещатик», «Уральская новь», «День и ночь», «Нева», «Дети Ра», «Воздух», «Знамя», «TextOnly» и других, в «Антологии современной уральской поэзии» (тома 2 и 3). Куратор евразийского журнального портала «МЕГАЛИТ» http://www.promegalit.ru/. В «Волге» публиковались стихи (2009, №1–2; 2012, №9–10). С 2005 года проживает в г. Кыштым Челябинской области.

***

Плещется набережная, как Адам
исчезая в полях плавучих, птичьих,
опрокинув смородину, как стакан...
– Где твой Бог?
– всё кого-то свищет,

в чайки тёмной взглянув глазок,
к недозрелой терпкой войдя погоде,
где и сад летит наискосок,
вопреки холодной своей природе.

Леска света глухо клюнет окно
поплавка, будто мир оказался плотен
с глиняных и несбывшихся спин
чаек, где мрак подмигнул с ладони,

плещется набережная хвостом
там, где малькам разжимает веки
воздух [который станет ртом –
но пока что набережная в человеке].

***

Янису Грантсу

Что, недотёпа, сирота, щегол,
в чьём горле эмбрионом
свернулся лес, где кровь твоя
бежит в прочитанном вагоне?

Ты не отбрасываешь тень,
[не успеваешь] и щебечешь,
и с металлических колен
своих, как бы чужие вещи,

в ребро своё, как спирт, кладёшь,
как улицу в глухом Свердловске –
хоть правды в нас нет ни на грош
и механизм у снега плоский.

В каких углах прямой твой дом?
на Руставели дрель достанешь,
идёшь сквозь речь и в горле – кровь,
которую не понимаешь.

Что недотёпа, белый грач,
подавимся своею встречей [?]
маниакальной, как психоз,
делириум нечеловечий.

Черепаха в раю

Дмитрию Машарыгину

Водная черепаха делит свою
сферу дыханья на ад и рай
то всплывает вовнутрь
(т.к. пространства здесь нет) –
то ныряет в свет [и иной сарай
даст ей имя своё, так и тень кожуре
от лица воды говорит: стирай].

Черепаха плывёт по самой себе
то ли учит себя, то ли свой язык
надкусив, как яблоко бросив, всё
как бы выдох смерть свою повторит:
в глубине у рая, помещённом в зрачок,
и меняется местом с моим ребром,
где дыханье в окружности своей спит

Черепаха похожей на дно воды
прошивает, как зренье иглой, края –
это ад геометрии произнести
мир пытается ей – то ли неправа,
то ли лопасть её щекотал Протей
замещая мальками своё лицо,
чтоб она [как сумерки] истекла.

Вот стоим у моря – прикинь, стоим,
соблюдая слайды, кефир их пьём
черепаха плачет внутри, молчит –
принимает матрицу: не плывём никуда –
потому что сад – отраженье воды,
и один за всех вокруг говорит
[даже если мы говорим втроём].

В.К.

Не путешествуй с Гоголем, и не
стирай, как летаргийный иней, с глаз
изображенье мёртвое бровей
деревьев – тех, что точно не для нас.

Поворотившись сынками в гробах,
мы повторим заученный отказ
от мира, что – как взрослых – нас надул,
и от того, конечно же, не спас.

И потому в урановых руках
идёшь, как гоголь, чтобы спать, как псих,
и стрелочник летает между гланд,
среди неплодородных слов твоих.

И потому – на Каме заводной
всплывает осень из пластов земли,
расчёсывая плоти твоей пятна
до хохота, что спит в комках золы.

Чаадаев

Предвестник рыбный появленья чаек,
мальков сих возвращающих воде,
где крошево ржаное прорастает,
как осы у Протея в бороде,

почуешь кислород и эту тяжесть
от жестяного, словно смерть, ведра,
которое – в своем снегу пернатом –
за клёкотом куда-то жизнь несла.

Куда? – не видишь – Только едем, едем
средь чаек тонких, разводных мальков,
что изнутри следов звездою светят,
как радость, в тьму – сокрытых в них – подков.

Так едем, сумасшедший Чаадаев,
туда, где ангелы придумали нам кров:
свободы нет – поскольку угадаем
мы не предел, но утишенье слов.

И по краям у тишины и чёрных чаек
сидит и греется такая темнота,
что если рот случайно размыкаешь
то светятся твои [уже] уста.

(01/02/15)

***

Едва ли этот вещный мир – был обращён, как в человека,
в сухую тварь без слова, и моргают птичьи слайды света...

О, бычья радость изнутри, из ноября строгая лодку
меня везёт, а снег гудит, что телеграф – и верно это:

я выхожу в простудный двор и горлом становлюсь бутыли,
в которой тварью зарождён, чтоб стало всадников четыре,

и ты моё лице сотрёшь в своём лице, и жажду выльешь
во флягу снега, что суха, которой выживешь и выйдешь.

Сергей СДОБНОВ

***

жизнь поворачивается к врачу
я ничего не хочу
в груди освещают других
шаги приносят врагов на свет
король открывает рот и народ идет

рука снаряд но цели нет
в голове из костей собралась карусель
а билет подождет
за одной щекой ложь за другой
все превращается в переплет
пастух положил память на плот
и за водой плывет

***

утром во рту мертвое государство
стоял за окном два дня ожидая погони
решил приходить любой
безнадежны твои круги яблоки блюдца
кровь лежит – стеклянный прибой
ветер никого внутри не встретил
домой куда домой

***

на луне цифра ты и на ней пятна
вышла очередь и облако и дом
и мне сказали я потом
волк открывающий тебе рот
жил внезапно и падал вперед
знаю язычников первой груди
тронет плот приходящий во сне

Сергей Сдобнов родился в 1990 году в Иваново. Поэт, культуролог. Публиковался в журналах «Волга», «Воздух», на сайте «Полутона», в интернет-журнале «TextOnly» и др. Лонг-лист премии «Дебют» (2011, 2012) и премии Аркадия Драгомощенко (2014).

только белая песенка крови
только кровь на флаге руки
для немногих
воют лесом зажимая предмет
сколько должен свет
если время остыло
это вечная дружба смотри и дари ответ
и ждет вопрос попавший в спину
охрана мост рисует
жизнь до конца несут
и проливают половину

***

дом приютивший страх жил на устах
глаза оставались дружить с золой
чтобы день вчерашний больше не приходил
не ходи домой там чужой
а ты мало что можешь этой порой
в этом городе и году подарили звезду
играли в игру правил ее не найду
догорает в огне из твоей руки
нарисованный нож
«я не приду»

***

вспоротой спички не слышно
чирик
на подержи глаза
долго долго везли слова к волге
там целовались враги
это сосед спит под окном
загораживая чудеса
полет рассматривал самолет где
пилот в котором никто не живет

горит горит страница первого распада

***

холодно в очереди за утром
люди дуют в дома
во дворе медленные враги научились ходить рано
город не город спит на щеке огонь
тронь это место пока твой состав идет
подушка пол и все твои дары ведут на суд мои предметы

на каждом ленточка и лента
несли гонца до мертвеца
он сны спасал от человека
забыт кто должен ветру

***

долгой белой руки течет карандаш
сломанный рослик не перестал
так нога уходила под лед в ноябре
на долгой старой руке
развели огонь и не смогли смотреть
в тесной красной руке
падало молоко
на конце тела сажаешь весну
ничего не растет
два в полночь записали секрет
а ключи в саду
в калитке старая бабочка
ждет домой темноту

Наталия ЧЕРНЫХ

СЛАБЫЕ, СИЛЬНЫЕ

Роман

(Окончание)

Часть вторая

2013 год

1.

Снег шёл с самого утра, что в Москве в марте не редкость, и ничего с ним не поделать. Мягкая пасмурная погода – циклон держался уже дней пять. Весна наступала на зиму, но решительных действий пока не предвиделось.

Зина возвращалась из поликлиники, голова мигренозно ныла, отчего по всему телу разливалась почти приятная тошнота. Но снег Зинаиде даже нравился: он возвращал окружающему, как ей думалось, истинный облик.

Вокруг неё поменялось почти всё, но эти перемены уже перестали быть важными. Как ей было однажды сказано в минуту сомнительной откровенности: сплю я с ней или нет, позвонит или нет, дружим мы с тобой или нет, – уже не имеет никакого значения. Хорошо, будем исходить из того, что не имеет значения. Зинаиде было за сорок, телодвижения остались почти такими же, как двадцать лет назад. Внешне Зина мало изменилась. Хотя нет – волосы после болезни сильно поредели и поседели. Теперь Зина почти надменно носила короткую, очень короткую стрижку. Но выглядела она всё же на свой возраст – одинокая женщина чуть за сорок, не важно – сколько этого чуть. Она как-то ссохлась: не то похудела, не то стала меньше ростом. Юбки канули в прошлое. Кажется, одна чёрная – длина до колен – и есть в гардеробе. Зато появились недорогие толстовки, тёплые и нет, мягкие удобные брюки. Джинсы она не покупала.

Работа уже много лет балансировала на грани, как говорили сотрудники. Денег частными уроками было – пять тысяч в неделю, а этого хватало и на оплату однушки в люблинской новостройке, и на питание. Болезнь, с фатальным для многих диагнозом, пришла быстро, быстро была опознана и быстро подлечена. Хотя, конечно, оставила жестокий след. И необходимость раз в месяц сдавать разные анализы, а раз в год проходить полное врачебное обследование. В этом можно было найти даже опасное удовольствие. Но что за радость быть больным. Впрочем, это та же работа.

Зина вошла в подъезд, быстро вбежала на площадку к лифту. У этой новостройки слишком много тёмных окон в конце рабочего дня. Дом на самом деле страшный, несмотря на прекрасный вид из окна на реку. В лифте вдруг достала мобильный телефон – «нокиа», без интернета, и набрала номер.

Наталия Черных родилась в 1969 году в Челябинске-65, ныне Озерск. Училась во Львове и в Москве. С 1987 года живет в Москве. В 2001 году – победитель Филаретовского конкурса религиозной поэзии. Куратор поэтического интернет-проекта «На середине мира». Автор восьми поэтических сборников. Публикации в журналах «НЛО», «Новый мир» «©оюз Писателей», «Знамя» и др. В «Волге» публикуется с 2009 года (стихи, проза, критика).

– Ты где?

– Да тут вещь одну надо купить, – ответил телефон голосом Макса.

– Илюха с тобой?

Илья был сын Макса, ему недавно исполнилось десять лет.

– Нет.

– Рита дома?

Рита, соответственно, мать Ильи и доверенное лицо Зины, хотя как сказать. Им обеим много пришлось вынести, пока из болезненного белокурого младенца вылупится шумный диковатый отрок. Кстати, Илья уже разбирался в сигаретах.

– Да дома, дома. Давай до вечера.

Вместо двушки, конечно, дали однокомнатную, но Макс как-то ухитрился найти ещё одну: не то потому что сына родил, не то потому что работник метрополитена, и надо – две. Какое-то время ушло на размен, чтобы квартиры были в одном районе, в пределах досягаемости. Теперь дом, где жил Макс с семьёй, был виден из окна Зининой кухни, выходящего на другую сторону дома. Лифт остановился, потом привычно защёлкало-заклацало. Мартовский снегопад окончательно остался позади.

– Вот ведь глупость какая, – подумала Зина. – Жильё! А страсти-то были. Тепло-светло-мухи-не-кусают. И то ладно.

Восточный угол дома смотрел на реку. Между окном и стеной оставалось небольшое пространство, слишком маленькое для мебели, но достаточное для обогревателя или вентилятора. Именно там и была иконная полка. Зинаида перекрестилась, войдя – быстро, привычно. И остановилась на мгновение.

– А ведь когда-то стать монахиней хотела.

Не стала. Теперь – просто болящая прихожанка. По виду не скажешь. Она так и не решила, плохо это или хорошо, что не скажешь. Ни что – болящая, ни что – прихожанка.

Под небольшой полкой с книгами стоял уже несколько дней ящик, обычная картонная коробка, с дисками и кассетами. Зинаида хотела вынести её на помойку, но вчера забыла. И позавчера забыла. А ведь намеревалась. Подошла, села на пол и заглянула в ящик. «Дорз», «Пинк Флойд», «Кинг Кримсон», «ГО», «Аквариум». Это её диски. А кассеты все – Максовы: «Алекс Харви Бэнд». Нет, всё это не ностальгия. Ей уже не нужно слушать эту музыку, не нужно даже думать о ней. Откуда-то из мягко спрятанного объектива памяти вышло лицо Алекса, ощущение его плотных ладоней. Зина молча поздоровалась с ним. Потом встала и взяла коробку: рано или поздно это придётся сделать.

Да, одинокий вечер. Да, через неделю начинается Великий Пост. Да, теперь она как тетрадь, в которой пишется бесконечный синодик живых и усопших. Это её часть; довольно редкая. Вспомнила, как лет в восемнадцать придумала себе семью: всего будет девять человек. Когда число исполнится, она умрёт. А сколько всего сейчас в семье?

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июль 1989 г. Точно не уверена, июньская эта запись или уже июльская. Вот, нашла в тетради и переписываю сюда, а даты не могу вспомнить. Скажем, ночь с тридцатого июня на первое июля. Внеочередная получилась запись. Почему именно лето? Эти летние месяцы, которые каждый нормальный человек пересиживает как в окопе, в обнимку с отпуском? Столько всего происходит внутри и снаружи, что стыдно и перед самой собою. Стыдно как тающему американскому ореховому маслу на утреннем хлебе, в наготе грехов.

Был Игорь, снова завёл разговор о том, что надо бы батюшку позвать, он и займётся. Дала согласие, подумав, что, мол, не скоро, как-то у него получится, и так далее. Однако во сне мне было

сказано, что батюшка придёт и что надо исповедоваться и причаститься. Вот кто сказал; может, и сатана. Он любит такие ходы, уж этого-то я знаю. И вообще, что это за религиозные мысли такие. Я что, православная, чтобы в их Бога верить? Вроде как православная. А что про Бога писала – так это в охотку, пока меня не касалось и Игорь не спросил, согласна ли. А как спросил, так сразу началось: насилие над личностью. Зачем он так – контекстуально. Насколько помню, у нас теперь всё как в войну открывают, и всё можно и нужно. Когда по городам путешествовала, видела, как открывалось. Пасху встречали в Эстонии, в храме возле старого замка. Холодно и величественно. На мне была чужая кожаная куртка, очень тяжёлая. Чувствовала себя воскресшим мертвецом. Зомбиком. Почему – не знаю. Потом Хельмут подарил фенечку, чёрно-красную. Сказала: это "Алиса", красное на чёрном. Блок ада. Хельмут казался очень светлым. К Богу, сказал, к Богу. Но что я-то имела в виду. Прежде чем вот так спешить "к Богу", пойми сначала, насколько ты в блоке ада. Если не в блоке ада, то и рая не жди. Такая диалектика, такой дискурс. Из ада в рай можно попасть, жертвуя и каясь. Но вот из ниоткуда в рай – не попадают. А в том-то и смысл, что мы – нигде. И отсюда рай – то же, что и ад. Тело, крупные части тела, мелкие части тела и незаметные части тела.

А что Бог? Я вот лежу в Его пригоршни за Его пазухой, но Его не очень моя жизнь интересует. У Него просто массы и массы похожих жизней. Ведь именно в Боге и начинается настоящая дегуманизация, настоящее расчеловечивание. В Боге человек не индивидуален, он просто человек. Стал личностью – слава и тебе, и паки – Богу. Но билбордов у Бога нет. С этого-то всё и начинается. Вот Игорь понял, что он начался со своего крещёного имени, а вовсе не с того, что девчонки мимо него пройти не могли, и от него не убывало.

Впрочем, не мне о том всяком говорить. Честер был несколько недель назад, и хотя я его вспоминаю, тело молчит. Оно как-то очень быстро забыло чувства и движения. Мне даже весело так, мне даже нравится. Как растение, как дитя. Тело тянется к солнцу, расправляет руки-ноги, очень собой довольно и ничего больше не просит. Это что я – цели достигла? Как бы не так. Всё это тоже чувственная жизнь, только более тонкая. Вот сейчас лежу, и от меня пахнет пошлейшей болгарской розой, шампунем. А я довольна, как будто меня принц какой на руках несёт. И по здравом-то размышлении, не нужно мне было это моё разнообразное сексуальное жительство, потому что в сексе я всё равно ничего не понимаю и понимать не хотела. А как-то само собою пришло. И потом нравилось. Ну да я всё о своём – как о своём, о чужом то есть. Когда я спицей рисую, у меня сто рук и сто ног, я становлюсь птицей размером с дом. Хотя и это чувственное, мягкая ловушка. Но всё же возникает импульс. Это мне важно. А тогда – не было.

...Ловлю себя на мысли, что – посели меня в Штаты, я бы там освоилась очень быстро. Мне понятны их широкие ухоженные дороги с прекрасными видами, их еда в коробках, любовь к молоку и страсть к вегетарианству. Когда ставлю старую кассетку с Питом Сигером на одной стороне и Джонни Кэшем с другой, то плачу. Очень понимаю, как и зачем они поют. Люблю, как они празднуют: грубо, сыто. Люблю, что у них так много вещей на человека, так, что это даже беспомощно. Но, возможно, всё это грёзы. У нас теперь тоже есть и еда в коробках, и много вещей на человека. Но там все эти бытовые моменты подчинены единой идее. Натираешь тело новым суперкремом – приближаешь наступление мирового блага, к которому Штаты сейчас ближе всех. И так далее. Здорово! Много! Сытно! Вкусно! Мне очень понятна эта сладость за пару метров до пропасти. Это одеяло, не спасающее при психической травме. Этот вызов смерти, эта мгновенная вечность. И когда те, в шестьдесят седьмом, складывали в гроб красивейшие и грязные лохмотья, сшитые и расшитые под лсд и травкой, они поступали так же, как школяр с упаковкой бигмака. Я чувствую, как там, в этом мировом мусорнике, дышит некое новое сакральное пространство, к благополучию и правам человека никакого отношения не имеющее.

Интересно, какой будет батюшка? И можно ли ему рассказать всё то, что сюда пишу?»

Макс бродил по клетушкам четырнадцатого этажа гостиницы «Севастополь» и высматривал себе одно зарядное устройство, аккумулятор, какой можно было купить на восточном базаре, а в другом месте он бы вряд ли попался. Макс любил это здание, с его плохо работающими лифтами, странными физиономиями, вдруг возникающими из-за гостиничных дверей, с изобилием цветов и форм, уводящих воображение к рассказам Конан Дойля или Стивенсона. Этот корпус гостиницы был целиком отдан восточному базару. Подарки Макс покупал только здесь. Если всё есть, то можно найти необычное. Заряд нужен был для мобилки индийского производства, которую Макс хотел подарить Илье, поскольку сам на Савёловском приобрёл фотокамеру – мобильный телефон, у которой оптика была с цейсовской лицензией.

Крохотная, как игрушка, темноволосая девушка сосредоточенно протирала пол перед лифтом. Вдруг подняла головку, посмотрела на Макса несколько исподлобья: мол, всё равно наследишь, – и, подобрав ведро, почти такое же ярко-синее, как пластиковый фартук, прошествовала в левое крыло этажа. В правом тоже размещались клетушки с товарами, такие же, как и в левом. Такие же – да не такие. Цены, лица, отношения – всё отличалось даже на неопытный взгляд, а Макс был здесь уж в – не помнит какой – раз.

Лифт этот оставался для него загадкой. Вот, например, вызываешь его вверх. Лифт останавливается, а там внутри сидит джинн и говорит: поехали, лифт вниз едет. Иногда лифт просто не останавливался. В пешем метании по этажам было нечто даже спортивное, олимпийский пробег. Глаза у Макса начинали поблёскивать, как только он видел этот лифт.

Узкие двери клацнули, выпустив на только что помытую площадку человека. Высокий, с аккуратным хвостом, в огромной, как все они, куртке, в плотных башмаках наподобие кроссовок. Но видно, что подороже, чем у Макса. Лицо – светлые глаза, смотрящие из чего-то, похожего на развороченную дорогу. Глаза были чрезвычайно знакомыми.

– Алекс?

Алекс даже не удивился. Они обнялись. Почти двадцать лет... Связь барахлила, но иногда выпадали вот такие встречи, и оба знали, что эти встречи неизбежны.

– Ну что, куда?

– Да вот тут, – Макс повёл Алекса прямо на индуса, однако ждавшего покупателей. Назвал серию аккумулятора, спросил, есть ли. Аккумулятор был. Вещь купили.

– Вот ведь. Без тебя не нашёл бы.

– Да ладно. Идём, вон там – хочу Алёне бирюзу купить.

Бирюзу, грубое ожерелье из необработанных камней, положили в какой-то мелкий пакетик.

– Да, тут жить можно, и никто не заметит, – Макс присматривался к Алексу: как тот. Невесёлый. Что-то случилось. Об Алексе он знал сравнительно немного: что так же женат, что ребёнок Алёны умер, едва родившись, что теперь Алекс работает звукооператором отечественного отделения фирмы «Арни».

– Можно. Иногда хочется, – ответил Алекс. – А что. Идём, хотя бы в «Кофе Хауз».

– Не пью, давно, – ответил Макс, – и кофе не пью.

– А я пью, – ответил Алекс.

– Пойдём, – подумав, согласился Макс.

Сидеть у стеклянной стены приятно. Видно всех. А вот тебя под стеклом не особенно разглядишь. Эти стеклянные стены – целая философия. Как спрятаться, как спрятать. Вроде бы всё на виду, всё прозрачно – а ничего не видно. Транспарентность. Максу нравилось это слово. Наконец принесли чай-кофе. Как хороши эти френч-прессы: удобно и приятно. Но дома френч-прессов Макс не держал, а всё так же подолгу колдовал над чайником.

Вопросы не нужны были. Алекс заказал коньяк – выпил, довольно тяжело.

– Макс, ты говорил, что любил...

– Лену? – из располневшего медного лица выглянул Зигфрид. – Любил.

– Счастливчик. То есть ты счастливчик, ну мне так кажется. А вот – счастлив ли я... И да, и нет. Но пока – она со мной. Я даже любимой её назвать не могу. Трогательность куда-то ушла.

Впрочем, это обычный мужской разговор. Если женишься на женщине, которую любишь, через некоторое время начинаются чудеса.

– Всё чудесатей и чудесатей?

– Вот-вот. Не люблю я жену. Уже много лет как не люблю. И, как видишь, не ухожу – а зачем, когда у меня всё есть и она красавица? Это можно назвать – люблю по-своему. Но по-своему не бывает. Это странное счастье, какого я представить не мог. Но если бы знал – не выбрал бы. Как видишь, струсил – и живу. Как они говорят – всё хорошо.

«Они» – значило ровесники. Не то чтобы более удачливые, но менее рефлектирующие. Эти ровесники вполне могли Алексу позавидовать, но в нём самом что-то не контачило.

Макс, выслушав, невольно вспомнил Риту – как он впервые у неё остался. В тот же день, как расписались. Смешно было обоим до слёз, учитывая опыт золушек и ковбоев с обеих сторон. Да, что-то подобное у него, но всё по-другому: без передышки, о люблю-нелюблю особенно-то не подумаешь.

– Я стал горой, Макс, страшной волосатой горой. Смотрю на таких как я – а нас много – и ужасаюсь. Все чего-то в этой жизни достигли. Ну, это как они говорят. Я-то как кур в ощип попал. И все какие-то ущербные, страшненькие. А сейчас почти все занимаются политикой. Я играть хочу по пять часов в день, и порой вроде бы получается. Но едва за гитару и пульт – что-то выносит. И я уже такой же, как они. Не могу сосредоточиться. Вот и хочу – как гора, а внутри кто-то сидит, очень беспокойный.

Максу про беспокойного объяснять не надо было, сам такой. Но пить не будет. Впрочем, бывших алкоголиков не бывает. Вон Алекс пьёт, а у него, у Макса, глаза наливаются.

– Я в тюбик недавно одну вещицу загружал. Сам понимаешь – когда загрузишь, потом начинаются поиски всякого разного, хотя и не всегда. Видел новый ролик Руслана. Неплохо делает, музыка для подростков. Но это не то совсем, не то, на что он претендовал. А он умел многое, не только под заказ, в тему.

– Есть что о дневниках?

– Нет, связи с Русликом ведь нет. Но в одном из этих клипов была грустная девочка-наркоманка, сидящая над тетрадью, а песня была о начале зимы.

– Всего-то?

– Да, красивая песня, красивая девочка.

– Наверно все свои сбережения из магазина на этот клип потратил. И гордится, что там непрофессиональные актёры.

Как известно было обоим, Руслик теперь жил в Осло и работал в магазине музыкальных инструментов продавцом-консультантом. Там же, в магазине, принимал участие в воскресных собраниях, где играл на белом фендере гимны, не особенно религиозные. Одевался, как все небогатые, но приличные люди, в расположенном рядом с музыкальным магазином секонд-хенде. Словом, жизнь Руслика удалась.

– Клип, конечно, красивый, но на коленке замастыренный. Там заявка на большие деньги, а слопачено двумя пальцами и в старых прогах.

Макс кивнул в знак согласия, но всё же заметил:

– Догадался о смысле твоих премудрых слов. Но какой занятный язык!

– Язык весьма зык, – отмахнулся Алекс.

Максу было довольно тяжело понять, что за настроение у Алекса: он явно чем-то недоволен, но чем, и в чём причина? В том, что на гитаре не играет по полдня? Так у него должно быть сейчас в отдельной комнате студия, и пишет, и есть кому конверты с постерами рисовать, и вообще – довольно известен в узком кругу. Но что было точно – группы у Алекса не было, и он сам ни в какую группу не входил. Не хотел входить в отношения – так и сказал когда-то. Одиночке с музыкой легче. Он же звезда, он маленький принц. Но раз в тюбик вещь загрузил – и надо будет послушать. Про Алексов канал Макс знал и даже иногда там бывал.

Коньяк – конечно, так себе; Алекс повторять не стал. Думали оба про водку, но Макс – ради шутки. Хотя в себе был не уверен. Если начнётся, то...

– Если бы не красота, Макс, мне было бы совсем хорошо. Не имею в виду музыку. Там возникает нечто выше красоты... Хотя мне когда-то было трудно представить... Да я и сам себе при случае возражу... Но красота – вот хотя бы Алёнина – беспокоит, тревожит, выбивает из колеи. Она неуместна, не нужна, даже глуповата. А что взамен? Труд – качалка для ног и рук, новые технологии получения эликсира молодости из растительного масла? Это не красота, это эстетическая медицина. А красота – другое. Потому всё самое лучшее сейчас – такое незаметное. Нелепое и дикое. Ну да ладно. Ты там же живёшь?

Было понятно, что как только расстанутся в метро, Алекс пойдёт и возьмёт. И тут над Максовым ухом словно белый соловей пролетел. Он отчего-то понял, что бутылку они выпьют, и домой он, Макс, всё же доедет. А ну как в самом деле так? Надо попробовать, так ли. Завтра на работу. Работу Макс полюбил, хотя сачок был тот ещё – знал, кому и что вовремя поручить, чтобы самому ничего не делать. Итак, оба, не сговариваясь, перед метро завернули в «Пятёрочку».

«Зелёную марку» пили во дворе Алексова дома, на сыром мартовском снегу, приплясывая вокруг новеньких собянинских лавочек: хорошо! Как встарь. От хандры не излечит, но дать заряд водка может. Пили из горла, изредка брали из пакета что-то очень пахучее и рыбное, жевали и снова пили, будто и в самом деле – жажда. Наконец бутылка опустела.

– Хорошо, – подтвердил Алекс. – Жвачку будешь?

Жвачка была – орбит, с кристаллами.

– Нет, ты погоди, – вдруг засуетился Макс и потащил Алекса к метро. Просто – взял за расцвеченный графитовыми линиями рукав модной куртки и потащил к метро. У метро оказалась столовая, в глубине которой обнаружилась закусочная с пятью-шестью столами, за которыми сидели разной степени опьянения субъекты.

– Типажи, – Макс вытер промокший было нос. – Я сюда прихожу кофе пить, потому что вообще-то я алкоголь не пью. Но типажи – хоть пиши. Наблюдаю. Вот один – взял сразу сто грамм и бутерброд. И тихо так, быстро – видно, что работяга, – употребил. И ушёл – тихо. А другой, поляк – он всё говорил, что поляк, – сидел долго и всё болтал.

Остановился:

– Алекс, а почему все пьяные такие болтливые?

– Да уж, – ответил; ему передалась Максова суетливость. – Ну, зачем ты туда?

– Кофе, – ответил Макс. – Ты же – к Алёне сейчас? А здесь долго сидеть нельзя, это такой местный этикет негласный. Выпил – и уходи.

Кофе действительно не помешал бы. Напиток оказался три-в-одном, нескафе, хуже нет, но и на том спасибо. Выпили, встали и вышли в тёмную сырость. Водкой уже не пахло, пахло кафешкой – от обоих.

Обниматься не стали, договорились, что созвонятся. Никто из них не верил, что созвонятся, и разошлись. В метро Макс задремал. И с необыкновенной живостью закрутилось время: бледное лицо Алины, кажется, совершенно забытое, затем – лицо Риты.

Ей было лет двадцать пять, когда познакомились, в больнице. Макс лежал на четвёртом – терапия, она на третьем – онкология. Полноватая в бёдрах, высокая, с удивительно белым, молочно-белым лицом, будто припудренным. Волосы тёмные, от татар, как сама сказала, и глаза тёмные, лермонтовские, почти без блеска, надрывные, но тихие. Макс представить не мог, что умеет ухаживать как приличный человек. А тут – после больницы – и кафе, и кино, и никакой пока постели. Ему, помнит хорошо, тогда всё казалось, что они ужасно долго знакомы. Рита много рассказывала о себе: жизнь бурная, игривая – сама так выразилась. И не хочет, а вокруг что-то происходит. Вспомнилось – стоит в белом халате, прислонившись к кафельной стене, одни волосы и глаза.

– О чём ты? Какая система? Да я и не знала систему. Я уже то время помню, когда ширнуться – не поступок, а развлечение. Из стрёмных, но развлечение.

А потом вдруг – позвал Риту к себе, да ещё и Зину пригласил, велел ужин готовить. И сделал предложение. Она – воспитательница в детском саду (ох как она ругала эти детские сады), он – машинист уборочной машины метро. Облади-облада.

Но что удивительно, девчонки сразу подружились, хотя Зина малость помладше Риты. Это его насторожило. Зина – она же не своей памятью живёт, она же гений чистой красоты. Что в неё дохнёт, тем и живёт. А Рита – ничего чужого не хочет. Это принципиальная разница. Со стороны – тонкая умная Зина и упрямая Рита. По сути – не то чтобы наоборот, но не Зине в плюс. Хотя – кто знает, как ей теперь. Максу было немного неприятно думать о Зине – непонятно как образовавшаяся вина его мучила. И Алекс – тут как тут.

Рита встретила, пронизав глазами, но обняла-поцеловала, велела мыть руки и садиться за стол. Илья уже поужинал, теперь – за компьютером; вышел на новый уровень игры. Но в кухне что-то висело, что-то, чего Макс пока не знал, хотя отчасти догадывался. И ещё этот Зинин звонок вечером. Что за настроение? Вот как – все с настроением.

Вдруг в детской что-то зашуршало, а потом раздалось звонко:

– Илья-пророк! Илья-пророк!

Макс и Рита метнулись одновременно, налетели друг на друга неловким объятием. Вот что увидели в комнате: Илюха стоял на стуле, на обычном стуле, перед небольшим иконостасом, смотрел туда и говорил... с иконой. Так, по крайней мере, выглядело. Когда родители появились – постоял несколько секунд, не глядя на них, а в иконостас, потом слез, подошёл и снова сказал:

– Илья-пророк. На красной колеснице.

Колесница на иконе правда была красная.

– Ну, говори, что нам-то делать, – сказал Макс и пожевал губами. Кончик носа чуть дёрнулся – от волнения.

– Наверно молиться надо, вот как ты или мама.

Рита уже встала на колени и перекрестилась. Илья сначала смотрел с изумлением, а потом и сам встал на коленки. Максу, человеку крупному, было сложнее.

– Ну так что сказал-то, – полушуткой спросил отец.

– Да ничего, – махнул рукой сын, – только проехал. Колесница красная. Я молнии ждал. А он не бросил.

Сказка такая? Поди ж ты, сказка. У Ильи с младенчества были не очень хорошие показатели крови, а с семи лет – так пару раз даже плохие. Диагноза ставить не торопились. Мальчишка рос шкодливым, умным и безбашенным, круче самого Макса в детстве. Но вот храм не любил, а иногда шутил так цинично, что папа почти пугался. И тут – на тебе, Илья-пророк. Помолились рассеянно, изумлённо, толком и не понимая, к чему да зачем. Но одно несомненно: вот такое с Ильёй впервые. Едва встали, Илюха спросил:

– Па, а ты мне новую книжку Гарри Поттера принёс?

– А кто просил ему револьвер изнутри показать? – парировал Макс. Хрен редьки не слаще.

– Ура, ура, – и снова: – Илья-пророк, Илья-пророк!

– Да ты чего?

– А он клёвый.

– Ну-ну.

Зинаида стояла у окна в полусвете длинного светильника и смотрела на окна квартиры брата, где происходила домашняя семейная жизнь. Вот ей уже за сорок, а ещё не может разобрать, почему так последовательно выбирает одиночное плавание. Окружающие называют её сильной, жёсткой, едва не трудоголиком. У неё о себе мнение совсем другое. Ленивая, почти избалованная – потому что ест что хочет и спит – как хочет. Хорошо чувствует себя только погрузившись в домашние дела. Удивительно и обидно, почти унизительно. Может быть, ей на самом деле хочется семью – большую, с родителями, детьми и внуками. Возраст – самый подходящий. Алекс однажды сказал, глядя, как гладила ему рубашку:

– Представляю, какой у тебя будет ухоженный уютный дом. Как будешь одевать своих детей – тщательно, как кукол.

Зине тогда подумалось: красиво одеть детей совсем не сложно. Важно, чтобы они тебя слышали и шли на твой зов. Это так трудно. Дети же – самостоятельные люди.

Любовь к вещам, конечно, никуда не делась; квартира действительно была уютная, но в этом уюте был одинокий, почти холостяцкий сквозняк. Зинаида не удивлялась: а почему так? Даже во время болезни, в слезах, понимая, что сейчас даже брат придти не может, а никого ближе нет, Зинаида не сетовала на то, что одна. Не получалось. Всплакнув, вставала и начинала, например, готовить или стирать. Кашу на сковородке, рубашку в душистом мыле. И потом долго-долго читала или пила чай. Нет, конечно, никакой семьи она не хочет; это ведь одна из иллюзий. С ней – всё по-другому.

Оставалось часа три на проверку тетрадей, затем, даже если не умоется – спать. А сейчас – принять лекарство. Часа через два подействует. Зинаида открыла ящик стола. Какое странное, почти неприятное интимное чувство вещи, с которой взаимодействуешь полдня. Как этот стол... он почти эротичен. Но всё чушь. Словно бы сам собою открылся и нижний ящик, где в целости и сохранности лежали два терракотовых ежедневника в чуть потрескавшейся на корешке жёсткой пластиковой обложке и тёмно-синяя тетрадь для записи кулинарных рецептов. Так она и думала, что сюда полезет. Выбросить их, что ли?

«Хорошо, выброшу. Но это что – изменит мою память? Я и так знаю, что в них написано, я переписывала эти страницы, что-то помню почти наизусть. Но иногда очень хочется устроить такое глупое восстание рабов, очень хочется. Что я там забыла, в этой чужой памяти».

Зинаида почти закрыла ящик. Полностью закрыть помешал телефон. Макс.

– Чего звонила? Я сегодня Алекса видел.

– Да так. Может, всё же дневники я тебе передам?

Пауза. Макс раздражён.

– Они есть просят?

– Да.

– Так ты покорми.

Она хотела было вскинуться, оскорбиться, сверкнуть гневом. Но не смогла. Слишком много жизни было в этом «покорми».

– Покормлю, – согласилась она.

– Некому больше, – вздохнул Макс.

Может быть, ему подумалось: мы все тут при жизни, как при деньгах, а ты – нет. Ты, Зина – носферату. Потому и силы у тебя есть, как у нечисти, выдержать эти дьявольские записки и не сойти с ума. Ты сильная, ты гений чистой красоты. Подумалось о несправедливости: они с Ритой – тоже православные, а лишь Зина причащается часто. И куда не посмотри – Зине всё можно. Свободна. И независима.

Макс любил рассуждать о различии свободы и независимости. Свобода не подразумевает независимости. Потому что можешь делать всё, что хочешь, но в рамках. А независимость – без рамок. И она может остаться даже в условиях жёсткой несвободы. Для себя определял так: в начале восьмидесятых свободы не было, все дохли от внутренней духоты. Но независимость была, и она государством охранялась. А теперь свободы много, как товаров народного потребления. А независимости нет. И снова – душно. Так что выходит, он со своей управляемой водкой (ага, вот намудрил) – свободен. А Зина с её болезнью – независима. Потому и дневники.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Джалтаранг – это любимое, Петровка – последнее. Как тело того, с кем спишь. Есть – любимое, есть – в последний раз.

У меня было так, что трахались оголтело, а он, встав и член отирая, говорил: пахнет половым актом; а ничего и не было. Это не совсем шутка была, а его принцип. Даже два принципа в одном – два счёта. Первый примерно так выразить можно. Есть трах, который за трах не считается, и есть трах как окончательный аргумент. Второй – примерно так. Есть трах, нет траха – всё

равно. Разговариваем или нет, едим или нет, спим или нет – какая разница. Очень смешной был, на пуделя похож. Однажды его задело. Так, не особенно, а потому что... Стал говорить: ей можно (тупой быть, например), потому что я с ней сплю. И поспорь попробуй. Но он эту, что с ним спала, на хер по нескольку раз в день посылал, пусть и мысленно. А иногда – и не мысленно. Хотя это вроде тоже ничего не значило. Я любила его, любила бы и до сих пор – в смысле, трахалась бы. Почему так просто вспоминаю – наверно, перегорело. Именно с ним было – в последний раз. Сладко, отвратительно, больше по-настоящему, чем настоящее, – и так нельзя. Надо же мне свою ничтожность и нелюбимость оправдать.

Так что про Петровку потом расскажу. А сначала – про Джанг, Джалтаранг. Место очень известное. На втором этаже – не весьма дешёвый отличный индийский ресторан. Внизу – кафешка. Чашки – я от них балдела, глубокие, круглые, с золотой каёмочкой. И кофе – с корицей, гвоздикой и белым кардамоном, который мне не нравился. Мне нравилось, если гвоздичка в чашку попадёт. Большая чашка – сорок восемь копеек. Маленькая – двадцать четыре.

Стулья там белые, довольно тяжёлые, хотя на вид ажурные – потому что металлические. Столики летом стоят на террасе, осенью террасу закрывают. Терраса выходит на пруд, и можно смотреть, как утки плавают. Говорят, лебеди там тоже живут. Это Чистые пруды. Джалтаранг значит – водопад.

Я отличницей там впервые оказалась, мальчик один место показал. Только что экзамены сдала, поехала посмотреть объявления, зайти-поговорить: искала работу. А тут – он. В метро. И так хорошо беседовали, и мне хотелось ему адрес оставить и телефон. Но тогда к телефону мама подходила. Сидели в Джанге, в июле. Пух, птицы, гвоздичка в кофе. Он – в синей тенниске, даже щеголеватой. Я – в лёгком платье-халате. Почему так запомнилось? Красиво, тихо, неторопливо. И разошлись. А Джанг остался.

Говорят, богема – это без определённого рода занятий и места жительства. То есть – почти бомж. Но у меня, пока не разболелась, было определённое место работы и до сих пор есть определённое место жительства. Поначалу за мной долго ухаживали, прежде чем трахнуть. И потом трахаться было совсем не просто, я и слово-то это не люблю, не матом же мне писать. А что настроение: хотела ах, а вышло эх – зачем жалеть-то? То есть хотела жить вместе, и чтобы дети, – а переспав, поняла, что их не будет. Я ведь поначалу любила, надеялась; я даже в лицо влюблялась, потому что кроме лица и тела не было ничего. Я не нужна была, а мне нужно... Потом тоже – только лицо и тело.

В Джанге не нужно было думать, будет постель или нет. Там просто. Аська зимой однажды стихи читала, да так хорошо. Приходят люди – улыбаются, знакомишься. И нет ни этого: да что вы, да зачем, да я ещё не готова; ни того – ну ладно, давай трахай, только поскорее. Это ж, как моя зазноба говорил, одно и то же. В Джанге смотрят в глаза – и видят, какое у тебя – хорошее или плохое настроение. Там слова приобретают плотность, из них узоры делают. Украшения. И сидишь – в украшениях. У меня ноги длинные, потому – всегда юбки в пол, чтобы ноги видно было. Если стопы мёрзнут, можно сапоги снять и забраться ими на колени собеседнику или собеседнице. И это тем хорошо, что ломает привычное представление о таком жесте: мол, демонстрация интимных отношений. Не демонстрация, потому что интимных отношений нет и может не быть.

Иногда мне эти столы и стулья столовую напоминали, обычную дороговатую столовую. Но и это хорошо. И хорошо после закрытия кафе сидеть на лавочках – продолжать разговор. Иногда было совсем счастливо: завтра – на дежурство; снова – халат, сквозняк, вестибюль. А потом, к ночи – он приедет, ну, с кем сплю. Только в счастье надрыв иногда был – такой, что лучше Джанг, чем надрыв, даже если всё хорошо. Дурацкое это слово – окей, всё хорошо. А Джанг тем хорош, что это такая была дивизия радости. Тут умирать не больно.

Странно, чем слабее ноги, чем сильнее скованность в шее и горле, тем меньше думается о смерти. А уже пора. Всерьёз. Со стороны – ну что у меня всерьёз?

А того, пуделя, я и сейчас люблю. Иногда с утра вспомнится – так и умыла бы его, улыбалась бы, на него глядя, окутала бы теплом. А он бы что-то проворчал дикое».

2.

Из того февраля кроме двух-трёх деталей у Зинаиды ничего почти не осталось, но эти детали сложились в целую картину. Стылая, вот как сейчас, погода, большими мокрыми хлопьями. По ночам опасно подмораживает, так что деревья в парке поутру становятся из чёрного стекла. Под ноги лучше не смотреть вовсе – то лёд, то земное мясо, просящее хоть мешка прошлогодней листвы. В храме на поздней – не продохнуть, свет едва доходит, совсем откуда-то сверху. Воздух только высоким пить позволено. Ждут, все ждут – слова священника. Какая-то красивая, полная, в новом расписном платке – возмущается. Но это возмущение не кажется противным. Хотя Зинаида вполне могла бы отреагировать. Ну, потому что для нее очень уж громко и неуместно. Может, от однотонности одежды... Хотя вроде нет, масленица, все принаряжены... Может, от перенаселённости... Кажется, что все одеты в тяжёлый серый дым, очень тяжёлый и очень густой дым, и почти тонут. А сверху, бесконечно высоко – лучи. Зинаиде всегда удивительным казалось, как мгновенно вырастают солея и иконостас, если в храме очень много людей.

Священник, отец Владимир, рассказывает об известных событиях (их что-то много в последнее время), разъясняет позицию церкви. Говорит спокойно. По всему, сам ничего из ряда вон выходящего и революционного для церкви не видит. Война – дело человеческое. Она всегда есть. Бесовское, впрочем, тоже – всегда есть. Зинаида особо не слушает – смотрит по сторонам. И ведь есть это общее дыхание, как бы и что бы ни говорили, есть. Да с какой стати ей про общее дыхание думать. Выйдешь за ограду – и сказать, что была в церкви – уже неприлично. Но есть же, есть это сырое чувство начала, мартовского ветра.

Стены, мокрые, серые, уходили во внезапную новую вышину, как крылья тонущего – но в вышине – существа. Храм вблизи вообще немного пугает, а особенно старый, да ещё при кладбище. Купола совсем блеклые, а, кажется, были синими. Но вот звонница, хоть и потемнела от сырости, кажется уютной. И колокола как будто кто тряпкой протёр. Да, тот февраль был особенным, хотя и не сказать, почему.

Звонок от Макса пришёл уже в начале двенадцатого. Зина как раз досматривала «Миссию» с Де Ниро.

– Ты Толика помнишь? Звонил и о тебе спрашивал. Дать твой телефон?

Да, к ним с Ритой теперь так просто не придёшь, как хотелось бы. Появилась политика, появились церемонии.

– Дай.

Какая разница, зачем Толик звонил. Но интересно, как люди – то появляются, то исчезают. И как там его женщина – Мария или Марина? И как там – Аська. Жива ли. Если Толик действительно звонил, то перезвонит в течение десяти минут. Он, когда надо, реактивный. И точно: звонок.

– Зина, привет.

Знакомы они были мало, и вот такой поиск дорогого стоит. Так и хочется спросить: что нужно? Но сначала – за жизнь поговорить. Однако всё получилось иначе.

– Я скажу, зачем. У тебя те дневники лежат?

Вот ведь. Молчали тетрадки, молчали себе. А тут – заговорили. Всем нужны. Ну, не всем.

– Ты кино снимать намереваешься?

– Да, что-то вроде. Проект такой. Я расскажу, покажу. Приезжай к нам на студию, только надо договориться – когда.

– С дневниками?

– Это уж на твоё усмотрение, как решишь.

Чувствуется торчок. Спросить его: а ты торчишь сейчас или нет? Вместо этого вырвалось:

– Как там Аська?

Аське ровно полтинник. Зина не видела её больше десяти лет.

– Почти не изменилась. Новый зелёный свитер купила.

Значит, всё в порядке.

– Мать у неё умерла... Ну да ты знаешь.

Зина не знала, что у Аськи умерла мать. В сети должно было бы появиться сообщение о смерти. Известная была актриса. Или что-то пропустила? Аська плыла по какой-то другой дорожке житейского бассейна, хотя Зина чувствовала её жизнь. Но интересоваться, звонить, разговаривать? Это было не равнодушие, а скорее, уверенность в Аське. Вряд ли Зина забыла бы, если бы вдруг в новостях возникла фамилия Аськиной мамы. Значит, совсем недавно.

– Вчера.

Всё же как странно это их общее: ты знаешь! Знаешь, с кем и что. Будто они все одно, как вода, снег, лёд, огонь. Но это же не так. Даже если и так – явление неоднородное.

Что-то ужасно безобразное и трогательное есть в том, как далёкие люди сблизились и стали похожи друг на друга. Но – стоп – а вдруг она встретится с Алексом, как уже было, сразу после больницы? Дыхание, подобно школьнице, привстало на цыпочки. Невыносимо, невыносимо. Господи, да что ж всё так-то. А вот Максу всё равно – как. Но Зина ошибалась.

А вот так.

– Смешная страна получилась. Всё думаю – какая смешная страна! какое смешное время!

Макс чувствовал себя довольным: новый проект дал первые ростки. Фигуранты в наличии и на местах. Макс ничуть не забывал о дневниках все эти двадцать лет. Наоборот, он выжидал. И вот теперь удачно подобрались время и возможности. Он звонил, люди отвечали согласием, а порой и сами на него выходили, вот как Алекс на восточном базаре.

– Страна что надо. Если бы уехал, было бы скучно. А тут... никакого развлечения, конечно, нет, да и работа тяжёлая. В голове гул постоянный, и это уже не лечится. Но есть в моей работе нечто здоровое. Опять-таки голова свободна, да и гарнитура телефонная – такая удобная штука. Катишь машину и по телефону говоришь. Вон Илюха мне даже песенку сегодня спел. Про красного зайца с большими зубами. И где только его увидел. Но мог ли я представить, скажем, пять лет назад, что всё сойдётся точка к точке. Что именно сейчас можно попробовать сделать нечто более существенное, чем просто передача материалов. И надо успеть, потому что времени на самом-то деле отпущено немного. Очень немного. А потом будут очень и очень большие перемены.

– Максим, – позвала дежурная по станции, – у дальнего выхода надо бы ещё пройтись. Снегопад.

– Пройдёмся, – ответил тот и развернул машину. Ему нравился грузный агрегат. Даже с тем неприятным давлением, которое его звук оказывал на голову. Слушал же он «Эй Си Ди Си». Но сейчас, конечно, «Эй Си Ди Си» это хорошо, но вот после уборки надо будет не забыть выпить капотен от давления. По всей квартире лежат кавинтон и капотен, а он их забывает и забывает.

«Это мне сейчас хорошо думать, что всё хорошо. А хорошо надолго не бывает. Вот последние десять лет... Илюха, поликлиника, поликлиника, Илюха».

3.

У Марины болела голова. Было бы странно, если бы в такую погоду голова не болела. В этой полной женщине с умащенной зрелой кожей можно было узнать прежнюю офисную мадонну – линия носа и разрез глаз не сильно изменились. Большая шикарная дама в шубе дикого цвета (скорее красного). Глядя на неё, трудно было представить, что её что-то может беспокоить. Но она очень долго к этому шла – чтобы сияющее лицо, и всё хорошо вокруг, чтобы хотя бы думали так. Но ведь для неё думали – значит и есть на самом деле. Говорят – значит, так и есть. Хотя такая наивность не исключала чисто женской, воспетой веками, ловкости и догадливости – даже материнской печали. Когда-то она отвечала Толику на его пьяный вопрос: «Рядом с тобой я чувствую себя королевой». Она бы ответила так и сейчас, но это выглядело бы уж слишком ненатурально, а она считала, что никогда не лжёт. Не лжёт, а работает над собою, и совершенно искренне верила, что так и есть. Марина сидела за столом, слушала треск сообщения в смартфоне, а поза у неё была почти та же, в которой застал её когда-то Толик, и влюбился в неё. Пальцы у виска, нос – скобкой – вниз, нижняя губа слегка округлилась.

Дома было всё сложно. Сыну Мите пришлось снять однокомнатную квартиру и её оплачивать. Митя Толика не переносил, и они уже несколько раз подрались, Марины не стесняясь. Но ведь мужчины всегда найдут общий язык. Потом Митя настоял, чтобы мать сняла для него однушку в центральном районе. Заработная плата Марины была приличной для её круга, но съём однушки – это почти подвиг. Однако согласилась. Марина любила свою работу. От неё очень много зависело на этой работе. Сын тоже от неё зависел, но ничего с ним поделать не смогла – неуправляемый. Хотя ни в деньгах, ни в общении сыну не отказывала. Дочь похоронила лет пять назад. Это была, конечно, трагедия, Маринины глаза стали пустыми, как и дом. Наденька была существом – ангелом, феей, – которое сообщало смысл Марининой жизни, да и Митиной тоже, как Марина считала. Именно тогда и начались конфликты с Митей, подточившие Маринино офисное сердце. Именно тогда поняла, что спать с Толиком можно, а жить – нет. Но спать продолжает и сейчас, потому что – королева. Иногда они подолгу бывают вместе, очень по-семейному, нежно и тупиково. Но стареющему Толику только того и надо, а она ещё очень даже ничего, и не развратная. Хотя (про Толика) как сказать. Главное – она смогла справиться с собой, она собой довольна и теперь можно излучать свет и любовь на других. А сегодня – навестить сына.

– Алло, вот, перезваниваю.

– Ну как ты там? – спросил Толик в трубке.

– Привет. Заканчиваю в семь, а потом к Мите хочу.

– Встретимся сегодня?

– Можно. Что ты предлагаешь?

Предлагает всегда Марина. Вот уже много лет эта фраза приводила Толика в ярость. И всегда точно, безошибочно, до черты ярости, за которой звучит только одно: пошла ты куда подальше.

– Ну, как тебе сказать. Я очень хочу тебя видеть.

Неправда, конечно. Но надо же думать, что он влюблён, что с ним – самая красивая женщина его жизни, и в этом он не врёт, и ничего плохого в пафосе нет.

– Тогда там же.

И началась милая трескотня о том, что она сегодня делала утром дома, что ела, что сказала подруга, что на работе, как позвонила Мите и что сказал Митя. Мите было уже за двадцать, смотрел мужиком, вполне красивым, и Толик иногда сильно задумывался над тем, как у него с девчонками. Толик циником не был. В последние лет пять чувство его к Марине было именно состраданием. Приобрели значение, большее, чем раньше, смены её настроения, перепады самочувствия. Вот и теперь его даже растрогал рассказ о том, как у неё болит голова.

Это кафе оставалось – их кафе. Они там встречались уже несколько лет, находилось оно рядом с Марининой работой. Места менять не хотели. Традиционно Толик заказывал ужин на одну персону, а себе – только кофе. Хотя бывало, что водку и закуску; не так редко, как ему самому казалось. За ужин иногда платили пополам, а часто – только Марина. Дни, когда платил Толик, были исключением, но именно они для него были главными, и он был горд собой в эти дни.

Против ожидания, у Мити бардака не было, а было чисто. Гудела стиральная машинка, а сам что-то мыл на кухне, закатав рукава подаренной матерью толстовки с «Игрой Престолов». Сын не вышел в прихожую, когда вошла мать, не помог снять дурацкую красную шубу. Но ей и не нужно было. Шубу сняла сама, по-королевски, уверенно вошла в комнату, не очень большую, но чистую и с хорошей мебелью, села на диван, показав, ногу на ногу, колени в тонких чулках, купленных в подарок Толей. Чулки, конечно, Толик выбирал вместе с Аськой, но Марина об этом не знала, да этого ей и не нужно. Затем достала конверт из большой забавной сумки, которая так не вязалась с её усталой шеей и выгнутой спиной, положила конверт на журнальный столик и стала ждать, поигрывая длинными кистями в браслетах и кольцах.

Долго ждать не пришлось. Митя вошёл, рукава всё так же закатаны, в сгибах рук Марина увидела красные точки.

– Ты был у врача? Что с тобой?

– Общее утомление. Я же теперь работаю. Прописали глюкозу, – ответил Митя. Увидел конверт, поднял его и бросил матери на колени, – Возьми. Теперь я могу оплачивать сам.

Она изумилась, встала, чтобы посмотреть сыну в лицо. Ей всё казалось, что они одного роста, а оказалось – Митя очень высокий, как его отец, и смотрит холодно и страшно. Рот у Марины скривился, углы поползли вниз.

– Да, и если можешь – уходи сейчас.

Она даже и не поняла толком, что сын ей сказал. Он много что ужасного говорил: и до смерти сестрёнки, и после. Но тут что-то случилось с ней самой. Встала, будто решила, что и впрямь пора бы уйти, засиделась. Прошла в прихожую, даже шея немного распрямилась, надела шубу, бросила шарф, который, конечно, лёг нелепым хомутом.

– Я хотел бы плюнуть тебе в лицо или побить. Но мне мерзко. Я желаю тебе только того, чтобы на свете был ещё человек, который так же, как я, – очень сильно хотел бы того же самого, что и я.

Марина не нашлась, что ответить. Она делала какие-то не вполне понятные ей самой движения ртом, лицо поплыло вниз и в сторону, но ужас – Толик бы оценил – в это самое время в нём было бабье выражение тихого изумления и горя. Сыночек, что же ты! Но вдруг:

– Я выпишу тебя, я пойду в прокуратуру, я в суд подам...

Словно кто-то другой, а не она выкрикнул эти слова. С тем же бабьим выражением лица. Митя нисколько не удивился, а сказал только, смотря прямо и почти спокойно:

– Ну да, ты можешь. Ты же гармонически развитая творческая личность.

В авто Марина остервенело набрала Толиков номер, и тот сразу отозвался. А её мучил, и уже давно, сильный цистит. Авто, цистит – писать, писать, писать.

– Я писать хочу, – так и сказала в трубку.

...Нет, так не может быть, не может. Она же – барон Мюнхгаузен, она может вытянуть себя за волосы из этого болота, уже восемнадцать лет как может... Но как же так, Митя, Митенька – сволочь моя родная. И Толик-то, Толик... Что же ты, как же ты – надо подключаться, надо работать над собою, Толик... Что же так...

Сказала, после ласкового Толикова: что ты делаешь?

– Ты помоги мне тёткину квартиру разобрать. Я сейчас к ней, в Подмосковье – а ты подъезжай часам к восьми туда, на Водный. Квартиру надо разобрать.

Тётка находилась в Доме инвалидов. Квартира по наследству принадлежала Марине.

– Мите хочу. Или там вместе жить будем, с тобою.

«Вот ещё не хватало», – подумал Толик. У него жизнь закончилась, он теперь аккуратный старый холостяк, а тут – жить. Не хочет он жить. Но прикасаться к этому словно выпачканному ушной серой телу (а ему нравилось, что жёлтое и блестит), но изгиб носа. И вспомнил, как однажды сказал Аське в одной из ссор:

– Откуда ты знаешь, может, ваш Бог Марине её тупость за её нос простит, и нас всех помилует ради неё, потому что она в Его глазах прекрасна.

Толик не помнил, что ему ответила Аська, а помнил только, что спросил он: а откуда ты-то знаешь? Бог на лицо не смотрит, а Марина – вся лицо, одно сплошное лицо.

А у неё нещадно ныл висок, и хотелось в туалет, одновременно. Однако слёз не было. Слёзы – это для Толиковых прошлых. Теперь с ним и с ней всё по-другому, восемнадцать лет как по-другому. Она сильнее, она сможет преодолеть стресс, она знает себе цену. И не было рядом никого, кто обнял бы в этот момент и сказал бы, не по телефону: родная, всё чушь, я с тобой. Но это была та комната мыслей, в которую Марина не заходила принципиально. А вы хотели бы думать только о том, что вы ничтожество, неудачник, подлец и хам? Ах, как это красиво; и это не нарочно, а я так устроен, что думаю только о том, что я неудачник, подлец и хам. А у Марины сын-красавец и любовник с ней уже почти двадцать лет. И она для него самая желанная женщина на свете.

4.

Алекс так и знал, что встретит Зину до того, как все персонажи соберутся в студии Майкла Глухого. Похудела, но окуклилась, как игрушка. И эта мальчишеская стрижка так хороша. Снег

тёк в Зинины огромные карие глаза, смотревшие слишком строго для нечаянной встречи. Алексу стало неловко своего разрытого временем лица. Да, с годами и у мужиков появляется странная кокетливость. Хочется выглядеть моложе и лучше. Она подошла сама. Первая, узнала. Присматривалась, заглядывала, будто нарисовать хотела. Так не делала раньше, неприятно.

– Ну, здравствуй, – сказал и обнял, – дубль три.

– Да, – согласилась она, – какой ты стал большой.

Алекс ничего не ответил, а поднял её на руки (какая-то подозрительно лёгкая), коснулся губами щеки и, кажется, готов был нести очень долго и очень далеко.

– Что ты, что ты, – забормотала Зина, – ах.

Это «ах» Алексу понравилось.

– Ну, куда пойдём.

Зина подумала, затем сказала довольно мягко:

– Давай не сейчас, а до студии. На следующий четверг договорились?

– Да, на четверг.

– Ну, тогда – до четверга. Я, конечно, ужасно хочу, чтобы ты мне звонил, но и не хочу. Зачем?

И вдруг, совершенно без головы, сказала:

– Я люблю тебя.

И Алекс ответил, как будто ждал этого:

– И я люблю тебя, Зинда.

Она ещё секунду полувисела среди снега, в воздухе и на земле, в неопределённости, а потом, не оборачиваясь, заспешила к метро, именно заспешила. Он знал, как ей трудно было оторваться, попросить не звонить. Удерживать не стал. И вдруг улыбнулся, будто и в самом деле вспомнил июнь, жару, звёзды – «алмазы на трауре». Вот ведь.

А Макс хорош, манипулятор. Чтобы найти Глухого, особенные усилия не нужны. Но чтобы Глухой работать захотел, надо его достать. Впрочем, верил Алекс, рыжий к любому человеку подход найдёт. Манипулятор. Но может быть, и нет, а само всё вышло.

Дело-то, конечно, было в музыке. Микшер у него новый, микрофон японский: и дыхание запишет. Планшет с десятком разных хитрых прог тоже есть. Но главное – белый фендер, который уж точно ему сейчас не нужен. То есть будет нужен на студии. Но вот уж года три это белое сокровище, прямо из Японии, стояло в Алексовой комнате и выходило из чехла крайне редко, на выходные. И плакало – потому что хозяин плакать не мог. Слёз не было, чтобы оплакать свою судьбу – судьбу несостоявшегося музыканта. А ведь он маленький принц, и всегда об этом помнит. Но изнутри шло какое-то приятное свербение, оно передавалось рукам, а пальцы сами царапали изнутри карман куртки. Нет, сегодня ты у меня поплачешь, фендер, надо будет прогнать пару тем, ох как надо. А в мозгу уже подобрался ритм, и драм, и перкуссия, и ритм-гитара, и в тревожной грёзе вздохнул бас.

Но сначала по порядку. Алекс не думал, что встреча с Максом на восточном базаре будет иметь последствия, и ошибся. Макс позвонил на следующий день, ужасно серьёзный и деловой. Эта его деловитость Алекса иногда сильно раздражала, а тут и погода, и возраст.

– И что тебе надо от старого вредного бывшего рокера? Стыдно нам, рокерам, жить после сорока. Была бы команда – я бы её после сорока распустил, а мне за пятый десяток.

Но Макс довольно гоготал в трубку и всё же объяснил, что надо встретиться, что надо куда-то пойти и что-то обговорить.

– Хрен с тобою. Сейчас иду.

Встретились в районе Электрозаводской, прошли пару кварталов и оказались в довольно хорошо обустроенном под студию подвале. Аппаратура была почти новая, последних моделей. Алекс оценил, особо не присматриваясь: профессиональное. Стойки и пара микрофонов, правда, были старые, едва не советские. За маленьким, с потускневшей полировкой, журнальным столиком сидел сухопарый человек лет семидесяти с забранными в хвост волосами и не особенно ухоженной бородой. На столике стояло несколько кое-как вымытых чашек, чайничек на пол-литра – «Микма», банка «Нескафе», и лежал томик Чехова.

– Ну что ж, заходите, рассказывайте, что у вас.

Если бы Макс заранее сказал, что ведёт Алекса в студию Майкла Глухого, тот бы не согласился. Не с чем, да и кто он такой. А Майкл записывал... кого из отечественных он только ни записывал. И все считали, что лучшего звукорежиссёра нет. Майкл называл себя саунд-продюсером. Нет, это только рыжий с его детской наглостью мог вот так просто взять Алекса и притащить его к Глухому. Впрочем, они были знакомы. Когда-то.

– Здравствуй, здравствуй. Слушал, ну то, в твоём канале, – хорошо.

Речь была о недавно выложенной в сеть композиции Алекса «Романтический дневник позднего Мюллера». Видеоряд Алекс смастерил тоже сам, из одной старой видеозаписи, сделанной во время бессонницы в парке рядом с домом. Там же было спящее тело Алёны, безмятежное и почти ненастоящее, но Алексу нравилось, что ненастоящее. Похвала Глухого была приятна.

– Вы кофе делайте. Чего покрепче нет, я на диете.

Максу всегда хотелось что-то создать. Не журнал, так группу. Не группу, так альбом. В этот раз речь шла об альбоме. Макс словно вылупился из возраста, как вылупляются из яйца. Объяснял шумно, с руками, иногда вытирая рот.

– Чтобы просто было. Текст важен, конечно, его должно быть очень хорошо слышно, но важнее целое.

– Ну, это ты мне «Лигу джентльменов» Фриппа рассказываешь, – вздохнул Глухой, – Это было даже модно одно время. Или там Лори Андерсон какая. Много всего. Тут надо понять, в чём отличие, а не что именно.

– Нет, Майкл, в том-то и отличие, что это будет скорее как аудиокнига, а не как музыкальный альбом.

Глухому явно было немного лениво.

– Надо подумать. А что, и в самом деле? Она хорошо писала.

Вот ведь шкода этот Макс, подумалось Алексу. Значит, дневники Алины Глухому уже известны. Какое, однако, время хорошее. В девяносто пятом Зина переписывала от руки, а теперь, должно быть, всё в электронном виде есть. И ведь наверняка снова Зина перепечатывала.

– Зина в электронный вид переводила? – так и спросил.

Макс ответил мирно, будто ждал вопроса.

– Да. Сначала отсканировала.

– Хорошо пишет, – снова сказал Глухой и принялся за кофе. Затем, снова с неохотой: – А кто читать будет?

Макс даже подскочил на месте, хотя габариты движению несколько не соответствовали:

– Есть одна. Сумасшедшая девчонка. Поэтесса.

«Хорошо, что не Зина», – подумал Алекс.

– Но может быть, и сеструха моя прочитает...

Алекс так и знал.

– Я пока вам ничего не обещаю, что, мол, буду работать, – покопался в бороде Глухой. – Но что-то в этой затее есть. Деньги возьму: скажу, сколько. Ну, если буду работать. А что, музыку уже придумали?

– Да есть тут, – вырвалось у Алекса.

– С тобой разговор отдельный. Ты ведь у нас уже мастер.

Непонятно, что значил этот отзыв: приязнь или неприязнь. Может быть, Глухой хотел сказать, что в своём «Арни» Алекс потерял чувствительность музыканта и стал просто мастырить звуки, не переживая их. Хотя сейчас вся музыка такая.

– Когда ты транс делаешь, хорошо. И когда этно-транс, тоже хорошо. А ближе к ритм-н-блюзу или арту, ну, то есть к прошлому – уже нет.

Вот ведь горе. И чтобы он, Алекс, рок-н-ролл сыграть не мог? А Глухой всё в бороде копается:

– Хороший у тебя Мюллер, хороший.

Затем стал прощаться:

– В понедельник позвони мне, Макс. Если соглашусь, в четверг жду здесь.

Всё же в этом подвале был достаточно тяжёлый воздух. Когда вышли, Алекса повело. Перед глазами вдруг открылся кусочек прошлого, но явно очень счастливого лета, какие-то люди, человек семь, идут вниз по Арбату. Он сам с кремоной, ведёт за руку девчонку. Он помнит: Инга. Он рассказывает что-то о Егоре, а она слушает, распахнув свои прибалтийские глаза. Впереди – Кеша, Дженни Лайт и Дуглас. За ними идёт – высокая, в пёстрой длинной юбке с разрезом, темноволосая герла. Она всё оборачивается, смотрит на него, улыбается. Сейчас он понял: она улыбалась почти беспомощно, даже просто беспомощно. И такое чувство, что разговаривает он именно с этой, длинноногой, а не с Ингой. Теперь, через время, он разглядел (или сознание дорисовало?), насколько печальным и спокойным было её лицо. Так нельзя было: как нищенка. Без понта, без прикола, просто. И, кажется, она была босиком. Нет, в руках несла босоножки. Какие там босоножки – подошва одна. А верх, должно быть, сама соорудила, ремешки с бусинами. Да, именно она и есть – Алина. Лучше бы не было этой встречи, лучше бы не было этих дневников. И стало так плохо, как не было давно. А дальше – хуже.

Этот флэт на Полежаевской был похож на водоём: там скорее плавали, чем жили. Кто только не жил, и чего только там не случалось. Уксусный запах необходимого для черняшки реактива в пакет не положишь, так что приходилось держать какую-то медь, чеканку: мол, работа с металлом, травим медь ангидридом, делаем фактуру. На столе торопливо разложены бинты, в ковшике от соломы зелено, хозяева торопят: скорее, всем надо, а им в первую очередь. Да, он ещё помнил кастрюли черняшки. И Алина – в комнате, на матрасе, смотрит в потолок. Но когда подошёл, перевела взгляд на него. Почти ласковый взгляд. Будто и не ломает её. Будто так и надо – чтобы ломало. Он тогда впервые стал задумываться над тем, что всё, что происходит – необходимо, и происходит именно так, как должно быть.

– Сможешь меня поставить?

Рука у неё худая, но крепкая. Он любил такие руки. Вены вроде бы в порядке.

– Смогу.

А когда ставил, она вдруг побледнела, страшно побледнела и выдавила такую просьбу:

– Больше не надо... Бери себе.

Алекс вскинулся: так нельзя! Это же кайф! Ну, зачем ты тогда... И что теперь мне – твоей кровью трескаться?

– Пожалуйста, – попросила Алина.

В машине, плохой пластиковой луеровской машине, было три куба. Она вынесла только один. Когда вынул иглу, стекла на матрас и заснула. Бледная-бледная. А он поставил себе оставшиеся два, в придачу к двум ранее принятым и... сел играть. Он засыпал и снова начинал играть. Засыпал в обнимку с кремоной, просыпался и снова играл. Вот сейчас бы он так же поиграл, на своём фендере. Но нет, уже не поиграешь. Когда игра закончилась, Алины на флэту не было. Кто-то ответил на вопрос:

– Алина? Да она с Честером поехала, к ней. Вот номер, может вписать. Она иногда вписывает.

Кто такой Честер, Алекс не знал, хотя имя слышал не впервые.

5.

Толик не мог дозвониться до Аськи. Мало ли что. На плохое самочувствие она стала жаловаться чаще, но Толик имел в виду, что, может, она и потарчивает. А тут – он особенно суеверным не был – в «Макдоналдсе» на Новослободской увидел двух разодетых как хиппи стариков примерно его возраста. Как он не любил эти счастливые опивки первой системы, как не любил! Хотя если вдуматься – за что их не любить? За то, что давно и вдруг захотели быть не такими, как все, и ничего из этого не вышло? Эти двое были очень колоритной парой. Он – в радужной тибетской куртке, невысокий, сухой, со следом ожога на правой щеке, полуседой, с надменным взглядом. Она – в лосинах под пёстрой богатой юбкой, в светлой дубленке, белая, крашенная, с резким каким-то картонным лицом и алым цветочком на левой щеке. Наверно, татуировка. Робкая за-

носчивость обоих показалась Толику более человечной (слово-то нашел!), чем открытые пьяные лица Феи и Моргана, сидевших теплое время года на чужой даче, а зимой уходивших в творчески-алкогольный запой. Более скверных характеров, чем в системе, Толик не знал, но это его стороннее наблюдение. Они же наверняка всех любят. И всех учат жить. Внезапно в кафе вошел Азазелло, совершенно не изменившийся за двадцать (а то и тридцать) лет, подошёл к парочке, что-то сказал мужичку. Оба, она и он, встали и пошли за Азазелло. Вот ведь. И так прозрачно, за чем пошли, и что будут делать. Что, может быть, не один Толик понимает, куда и зачем идут эти артистичные люди.

Предчувствие было верным. Почти возле метро, при входе на Селезневку, Толик увидел Митю, сына Марины, с чехлом бас-гитары эштон. Рядом с ним шла Аська. Толику почудилось, что она услышала его взгляд. Повернула голову и, кажется, посмотрела на него. Или не посмотрела? Митя и Аська. Вот те раз. Однако Марине говорить не нужно. И квартиру ее он разбирать не станет. Через час, может, и позвонит. Договорились же в кафе в восемь встретиться.

Митю подламывало, но несильно. Присутствие Аськи неприятные ощущения почти снимало. Прикольная тётка. Нежная, заботливая. Если бы не она, Митя бы точно подсел и связался бы не с рефлексирующими тонкими психами, а с конкретными братками, и было бы ему плохо. Он уже понимал, что однажды чудом остался жив. Не Аська тому причиной, но она как-то уместно и вовремя возникла рядом. С ней есть о чём поговорить, даже о своей девчонке. Девчонка у Мити заводная, а кроме того – петь умеет, и на таких понтах, что хоть сейчас на Евровидение. Кошачья порода. Катей зовут. Кошка и есть. Именно в студию, на репетицию с Катей, Митя и шёл, и нёс свой любимый огромный эштон.

Но всё это была приятная, ночная сторона жизни Мити. О дневной не знала даже Кэт, а вот Аська знала. Именно она и свела его со стариком Майклом, а Майкл, кому-то позвонив, определил Митю в дорогущий закрытый клуб – лабать. Это была дневная сторона, рациональная и довольно любопытная. Так как надо было считать деньги. Не только зарплату, весьма приличную, но и чаевые. Надо было показать товар лицом начальству, и не халтурить. При клубе был великолепный спортзал, а Мите нравились тренажёры. И потом, аппаратура, о которой молодой музыкант мог только мечтать. А на аппаратуре новые модные проги. И вот, он бесплатно ими овладевает. Про Майкла Митя забыл тут же, но вот Аська как-то прижилась. Иногда ночевала у него, даже когда Кэт приезжала: на кухне есть удобный диванчик.

Митя не мог сказать, что Аська нравится ему как женщина, хотя с ней было приятно, скажем, пойти в кафе. Худая такая, стильная, на каблуках, и бёдрами виляет. Невысокая, потому и на каблуках. А все думают: мол, каков. Он интересен стильной тётке. В этом было утончённое наслаждение. Но та же Аська как-то (конечно, в кафе) сказала ему:

– Митя, не спи с женщинами старше тридцати лет. У них уже не очень приятное тело. И претензии на то, что им двадцать. Кроме того, они глупо ревнивы, ты это ещё узнаешь. И про то, что не очень приятное тело – тоже узнаешь. Женщины после тридцати – только для стариков, за полтинник. Требуют постоянного ухода.

Митя про тридцать лет и женщин запомнил. Решил проверить: как-то обнял Аську и стал целовать. Она не отстранила его. Но про тело понял. Она всё же очень умная, эта тётка. Больше они не целовались. А Кэт любила ходить с Аськой по магазинам. Однако была в Аське какая-то не очень понятная Мите мягкость, будто она чувствовала себя виноватой и хотела тут же раствориться в пространстве. Это был признак слабости, с точки зрения Мити, но Аську слабой не считал. Именно эта мягкость и влекла его. Мог сказать, что играет на своём эштоне не Кэт, а именно этот мягкий виноватый взгляд, возникавший вдруг, ненадолго и совершенно неожиданно. Она чем-то напоминала ему мать. При воспоминании о матери во всём Митином существе поднималась, как земля на кладбище, фраза: у меня было самое счастливое в мире детство. Если бы Митя не считал себя немного носферату, он не вынес бы этой мысли. У него было всё, даже заботливый папа в виде Толика, не пренебрегавший наказанием. А теперь они вообще говорили как мужчина с мужчиной, и Мите это льстило.

Толик относился к категории мужчин-котов, как бывают женщины-кошки. Митя считал, что у таких людей самая близкая ему энергетика. Но мать оставалась незаживающей, а всё более тяжёлой раной. Хотя Митя, несомненно, её любил и хотел любить счастливо, вот как Аську. Но мать была во всём непозволительно права, слишком хороша для своих лет, слишком любила показать, что у неё получается всё, за что ни возьмётся. И самое неприятное – это когда Митя видел их с Толиком. Не в постели; это, кстати, был не шок: Митя к тому времени уже много знал про девушек. А когда они на кухне. Особенно когда Толик достаёт из супердуховки тонкий диетический куриный пирог. И перед тем как поставить его на стол, целует Марину в губы, обязательно при этом сказав:

– Горячо!

Всё это происходило едва не с первого класса. И каждый раз лицо у Толика было такое, что ему засунули в рот одновременно луковицу и лимон. Пару недель назад Митя так и спросил:

– Тебе не надоело над пирогом кривляться?

Толик, ещё слова не отзвучали, хлопнул Митю по уху.

– Ты не понимаешь пока. А вот будет тебе как мне – под шестьдесят... И потом – что ты думаешь? Я только за её деньги с ней сплю? Я ведь и свои трачу, все, на неё...

Митя мгновенно представил себя шестидесятилетним. Таким как Толик. И свою мать. И заорал, именно заорал, совсем себя не помня, из живота:

– Да я видел, как ты её целуешь. Ты её терпеть не можешь, она тебе отвратительна, только ты себе в этом не признаёшься. Ты презираешь её, ты её презираешь!

– Сам-то, – как-то подавленно ответил Толик и пошёл доставать пирог с курицей.

Митя переждал роковой момент поцелуя в гостиной, а потом вошёл в кухню: пирог Толик готовил вкусный, мать на пирог тени не бросала.

Марина, в чём-то нежном домашнем, чрезвычайно женственном и скромном, сидела у стола и вытирала с губ (чрезвычайно нежных, по словам Толика, не оторваться) следы томатного соуса к пирогу. Митя, подавив внезапный смех, сказал:

– Ей трахаться сейчас, а она в томатной пасте извозилась.

Во фразе и в голосе Мити была какая-то последняя тонкая жалость, а вовсе не грубость. Он жалел Марину, то есть – бездельник сын жалел свою прекрасную успешную мать. И всё-таки жалел. Даже не как собаку, уличную собаку, сломавшую лапу. А как странную нищенку возле храма. Он мог бы ей подать милостыню.

Марина побледнела, вдруг нелепо дёрнулась, раскрыв рот, глаза потекли на скулы, большие глаза, совсем без выражения, а соус капнул на это самое нежное и дорогое, в чём была. Так и сидела некоторое время – с открытым ртом и большими глазами. Марина ты Марина, офисная мадонна. Большое сплошное лицо.

– Дурак, – меланхолично ответил Толик, – да я эту пасту языком слижу у неё с губ, а потом умру за этот вкус.

– Нет, – ответил Митя. Подошёл к столу, взял большой кусок пирога и тарелку. Затем вышел, бросив тихо, так что Толик не слышал: – Да ты Аське «нет» сказать не можешь, какая любовь.

Утром он заявил Толику. Именно ему, а не матери:

– Мне нужно пятьсот долларов. Я снимать квартиру хочу.

В студии Роста были все: Кэт, вытянув узкие золотые каблуки, полоскала горло чем-то тёплым. Рост, в тёмных очках, ходил из угла в угол и что-то повелительно басил. Барабанщик Паша поигрывал мускулами (он очень любит свои фотографии за установкой), и всё остальное, в том же духе.

– Время! Время! – налетел на Митю Рост и постучал по крупному циферблату наручных часов. – Мои деньги!

– Сначала кальян, – почти кокетливо ответил Митя и помог Аське снять пальто.

Кальян был готов; смесь из полузапрещённых – с травкой.

Однако тут возник совсем новый персонаж, показавшийся Мите знакомым. И то, что показался знакомым, и то, что показался, – было глупо. Но персонаж возник непонятно как, непонятно

откуда, но вот он – стоит перед Митей, почти одного с ним роста, полный, рыжий до кончиков ногтей, с внезапно яркими голубыми глазами из-под бейсболки.

– Ага.

– Зигги! Время, время, – Рост взял было за локоть рыжего, но рыжий и сам вроде как собрался отчалить. В знак встречи-прощания добродушно протянул Мите руку и сказал:

– Макс. Макс Зигфрид.

– Дмитрий Хомутов, – ответил Митя как можно более официально и руку пожал.

Аська правда чувствовала себя неважно. Но не в первый раз. Торчать она никогда не торчала. То есть на дозе не была. Но вмазывалась, как и много лет назад, – «полечить спину». Сейчас чувствовала нечто вроде жара, потому картинка душноватой студии перед глазами словно плавала. Ей нравилось, как поёт Катя. Можно было уйти в свои и совсем не весёлые мысли.

«Когда я видела эту рулетку? Вот так же. В холоде, в недостатке денег, в ожидании, что будет плохо... И потом уже ничего не вернется. Но тогда была зима. Обувь была совсем плохая. Кажется, чуть только утеплённые старые югославские сапоги. А теперь весна, но тоже снег. Не важно. Рулетка. Да, ходит планка, а лампочки загораются, красный и зелёный. Почему зелёный? Тогда зелёного не было, а только красный... И думала, что умру я. С этим шприцом, найденным в складках одеяла. С тем, что в принципе не могу сделать укол в вену. Я ждала, что умру. А умерла – Алина. То есть она умерла летом, в августе. Но тогда у Толика с Мариной было всё так хорошо, что я себя не помнила... И что-то такое делала, как-то жила... Без неё. А она. Хотя нет, почему – умерла. Не надо так со мной, Аська, не надо вспоминать, что Алина умерла. Она говорила, что у Бога нет мёртвых. И зачем ей этот Бог?

Она думала, что выглядит волевой, упрямой женщиной. А все видели в ней текучее нежное существо, которое не то что постоять за себя не сумеет, а нуждается в постоянной поддержке. И эта её улыбка, которая теперь у меня. Почти виноватая улыбка. И вся она была – о, не смотрите на меня, мне стыдно. Она была целомудренной. И очень влюбчивой, вот как сейчас Кэт голосом изобразила. И очень красивой. Когда она материлась или говорила резкие фразы, было неестественно. И когда нарочно улыбалась, было противно. Ей очень шло грустное, лёгкое выражение лица, будто ни о чём не думает. Но оно возникало очень редко, только иногда, когда уже лежала. А так – только этот сморщенный лоб, поджатые губы, глаза от усталости навыкате. Да нет, она красавицей не была, если судить по тому, как держалась. Всегда ведь выигрывают люди, которые лучше на фото, чем в жизни, а она была лучше в жизни. Когда я приезжала к ней и привозила кофе, у неё изо рта шёл запах очень долго не евшего человека. Я помню это по своей матери. Невыносимый запах. Трупный запах. Теперь я слышу его от себя. Удивительно слышу. Будто он у меня уже есть.

Да ладно, что вспоминать. Алина не любит таких панихид. Вот Макс тут, он весёлый и умный. Он всё наладит. А где же Зина?»

Аська даже оглянулась по сторонам несколько раз: где Зина? Но Зины не было, а Митя улыбался ей довольно игривой улыбкой. Митя её любит, она это знает. Сынок.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июль 1989. Честеру всегда везло. Он и выглядит моложе своих лет, и хаер у него красивый, без седины, а ему под сорок. И баб вокруг всегда было много, так что пища и вписка – обеспечены. Стоп, а что это я снова о Честере вспомнила? Что под черняшкой на руках от метро до квартиры нёс, а я как русалка из канализации его обнимала? То-то, что русалка из канализации. Была бы не из канализации – Честер не ушёл бы. Ему, поди, плохо: квартира, место для деятельности и жизни. А меня как-нибудь обработал бы. Мне что, много надо: посмотри ласково, погладь руку, я и не откушу. А вот если бить – откушу.

Что-то сильно не по себе сегодня. И зачем вспоминается Честер, которого сама и выгнала, с визгом и слезами? Зачем теперь всё это гонево, тяга к рукам, к теплу тела, и губы сами дёргаются. Это начало агонии. Тогда будет так же. Надо готовиться, а я на его, Честера, баб дуюсь. Сколько их ещё будет. Сколько было. Или это я на сатану дуюсь? Ох и сравнение: Честер и сатана. Да сатане Честер и не интересен, его даже звать не надо. Он сам за сатаной бегает, а тот его, смеясь, отпинывает. Зачем сатане сдался Честер? За его пуделиную гриву и большой член в форме банана? Сатане бабы Честеровы нужны, а он сам так, пусть бегает. А вот из баб можно кровь попить. Бабы готовы душой торговать. Думают – мужику, ан нет – сатане. И сатана прекрасно себе новых невест приобретёт через Честера. Это на тему жизни и смерти. Честер – витальность как она есть, флюид жизни. И это хорошо, а то бы совсем невыносимо было в этом нашем лебедином озере. Хоть бы Макс пришёл, что ли. Он из истории средневековья много знает и очень интересно рассказывает. Надо его мысленно позвать. Позову. Но в дневнике этого писать не надо, глупо.

А я ведь ещё очень в своём уме, даже удивительно. Я сейчас всё что надо пишу, я умная. А когда была живая, не была умная. Но где-то всё это, кажется, было. И скучно. Нет, не скучно. Что-то другое. Это агония начинается. Это Христос обучает тому, что будет, чтобы не очень боялась. Когда сводить будет всё тело, и когда уже не добежишь. Когда я выходила из дома в последний раз? Тогда же, когда трахалась с Честером и когда начала дневник. Несколько месяцев назад. В июне. Счастливое было время».

– Митя, а ты меня примешь сегодня? – голос у Кэт севший, почти свистящий. Так всегда бывает после того, как она попоёт без страха за голос. После душевного пения – получается голос с трением. Или, как кто-то Мите сказал, с расщеплением. Кэт вообще напрягаться не любит, даже в пении. Но иногда заводится, и тогда самый кайф. Но потом у неё голос садится. Ненадолго, несильно, но садится, и она не любит, когда садится. Но петь предохраняясь не может. Вот и сейчас – невесть какая композиция, а Кэт расчувствовалась, и потому теперь голос севший.

– Поехали, – Митя будто и не придал значения просьбе Кэт, будто так всегда. Ну здорово же, когда нравишься девчонке, да ещё такой, как Кэт.

Она точно – кошка. Невысокая, с белой кожей и чёрными волосами. Глаза, как и положено, цвет меняют. Но на самом деле – серо-синие, а от волос кажутся зелёными. Волосы она не красит, у неё свои такие тёмные, что кажутся чёрными. Кожа, наоборот, белая, бледная. Тело скорее приземистое, но Мите нравится: очень нежное. Порой Кэт переживает, что небольшого роста, но недолго. Она любит, что за рост её считают маленькой девочкой. И каблуки любит, тонкие: вот как сейчас. Но Митя знает, что в сумке у Кэт лежат розовые кеды. Сейчас снимет свои туфли и наденет кеды. Тогда её догони, попробуй, да ещё с чехлом, с гитарой. Надо же было так имя выбрать! Будто знали родители, кого на свет произвели.

– Аська, что тебе надо от Мити? Неужели не знаешь, что у них с Мариной за отношения?

Толик на себя не походил: встрёпанный, бледный, глаза бегают. Ведьма она, всегда была ведьмой. И держит его на одном гвозде, на этой иголке, и на том, что слушает его молча. Ведьма, то есть Аська, сидела у торшера в кресле. Толик присмотрелся: лицо у неё такое же картонное, как было у той олдовой герлы. Но Аська не очень красится. Вон тушь наверняка коричневая, почти незаметно. Внезапно подняла голову – и вдруг возник ракурс картины Боттичелли. Толик расшифровывал этот взгляд так: не иначе задумала чего. Нет, надо решить, надо решить этот вопрос. Хотя зачем? Аська, что называется, есть не просит. Трахаться они никогда особенно не трахались. А общего много – ну и что, общее никуда не денется. Марина обещала до конца месяца вселиться в новое жильё, чтобы вместе с ним... Отчего-то вдруг Толику стало не по себе. Марина ищет уютное гнездо, чтобы без родителей и Мити (который хорошую квартиру снял), и надеется принимать Толиных приятелей как хозяйка, жить Толиной жизнью и покупать ему кремы для бритья ручной работы. Неужели не понимает, что у неё не получится? Или просто ревнует и хочет его изолировать от той жизни, которой он вскормлен, которой он есть то, что есть? Дура она, что ли?

Или это последний ужасный выплеск одинокого женского отчаяния? Неужели не понимает, что он без Аськи не может ничего, даже Марину не может?

– Может быть, тебе и надо, чтобы они ссорились, чтобы Марине отомстить.

И тут Аська сказала, как только она умеет. Вроде бы не думая произвести впечатление, а насмерть:

– Так разве не отомстила?

Отомстила. Но признавать поражение нельзя. Толик гордился своей последовательностью. Если признать, что Аська отомстила, значит, надо признать и то, что Марине причинён вред, а это было невозможно. Просто невозможно, потому что – его, Толика, делало слабым и ущербным, каким он и был. Но так невозможно, невозможно.

– Ты завидуешь. Потому что у Марины есть простое женское счастье, а у тебя его не было никогда.

– Ты, что ли, ей даёшь это счастье? Я бы не хотела, чтобы так ко мне относились, как ты к Марине.

– Врёшь, врёшь, – зашёлся Толик, – мелкая дрянь.

Но зря он это сказал. Аська не злилась. Вообще не умела злиться. А Толик не любил людей, которые не злятся. Даже если она называла его сучьим потрохом, он не верил. Это она ему подыгрывала. Люди, которые не злятся, действуют. Нет, она бы не стала в него стрелять, даже если умела бы стрелять и у неё было бы оружие. Она просто возьмёт и сделает гадость. Или скажет гадость. И такую, что...

– Ты хочешь, чтобы я поговорила с Мариной? Я поговорю.

Толик замер, не от страха. Ему стало жалко Марину. Как было жалко Мите. И это-то было хуже всего; и он понял, что хуже всего.

– Она же ничего не знает, она же совсем обычная, она не... Она же ничего не знает!

Но Аська знала, что Марина если и не знает, то догадывается. О многом.

– Вик, – Марина вытерла слёзы, – как мне тяжело.

Солидный господин, сидевший на соседнем с водительским месте, покровительственно обнял Марину. В этом полуседом человеке, не полном, но с характерным животиком, не всякий бы узнал бывшего двадцатипятилетнего психа. Их любовная связь длилась недолго. Толик, разумеется, о том ничего не знал, а связь быстро перешла в деловую. Если когда что и возникало, обставлялось крайне прилично и скромно.

– Митя, – начала успокаиваться Марина, – Митя же, сын.

– Да, дети, – сочувственно вздохнул Виктор Викторович. – Вот, Манюня, договор с «Дейли Аджент». Все печати есть.

– Ах, Вик, – Марина пожала его прохладную руку.

– На Марину, может быть, развратное антихристианское общество давит. Вот она и взялась за Митю, чтобы поближе к корням. Но он же не из пластилина.

Толик замер от такой Аськиной наглости. И ведь точно: Марина в последний месяц стала часто ходить в храм, каждое воскресенье. Только и слышно: литургия!

Митя с Кэт ждали Аську, но всё же решили лечь спать пораньше. Сама приготовит и поест. А ей приятно было войти в тихую-тихую квартиру и, крадучись, включить свет на кухне. И почему люди так много уделяют внимания интерьеру, когда важнее всего два сопящих дракончика, которые ещё толком и не понимают, что между ними...

– Человек удивительно умеет связывать концы с концами, особенно женщины.

6.

– Матушка Богородица, покрой отроковицу Марию честным Твоим омофором...

Отроковица Мария взглянула поверх очков, лихо вильнула бёдрами и ответила на мамину молитву:

– Гыгымц.

Мама, тонкий выгнутый казачий нос под платком, мягкие сапожки, спросила довольно весело:

– Ну, Маша, это что такое?

– Покроет, – не сомневаясь, ответила Маша. И зашагала к храму, виляя бёдрами.

– Маша, а ведь придётся в этой походке каяться как в неблагочестивой.

– Да ну. Я ж не в короткой юбке!

Зина уже несколько лет наблюдала эту парочку. Ей нравилось смотреть, как развивается отпущенной спиралью эта небольшая совместная жизнь. Как у Риты с Илюхой. Всё же она очень правильно сделала, что перешла в другой храм. В Алексеевском было хорошо ждать, выдавливать из себя, как из тюбика, ожидание, обучаться науке невоздаяния. Чтобы, как только выйдешь за ворота подворья, это самое воздаяние взошло солнцем. И увидеть его даже в идущем рядом ленивом голубе. А здесь, на окраине, в тишине и заброшенности аккуратных газонов, шёл единый поток, от которого не спрятаться, и – светися, новый Иерусалиме.

Если бы кто-то из тех, кто пережил то же, что и она: торопливое и почти коммерческое возрождение – сказал бы, что сохранил трезвомыслие, она бы посмеялась. Зина хорошо помнила и перепады состояния, связанные с началом серьёзного расстройства, и сильные тяжёлые, до боли в груди, слёзы после причащения, в одинокой квартире, и угнетающие слухи, которые поддерживал священник. И своё беспомощное: что же он так, что же он так... И его грозное: вы неверно поняли, что такое храм и церковь, вы играете, в вас много лукавства, а таким труднее всего стяжать простую веру и приобщиться благодати. И как потом руки и ноги не хотели двигаться, и как покойная уже знакомая, прошедшая лагерь за библию, кричала в трубку на её неофитскую жалобу: это нейролингвистическое программирование, это программирование. Но благодать была. И она была утешающим вином в этом безумном труде по приведению себя ко Христу, в данное время и в данном месте. Благодать отзывалась на домашние молитвы, и на церковные, сопутствовала в поездках, сводила с людьми, нужными именно теперь и именно так. Но говорить о благодати ввиду дисков «Гражданской Обороны» и «Ролинг Стоунз» было бы почти смешно, хотя на самом деле ничего смешного в том нет и не было. Зина очень чувствовала, что противоречие надуманное, но объяснения её не устраивали. А объяснений было много. И много было (Зина чуть не подумала «нас») тех, кто так же не чувствовал противоречий в культуре. А люди напирали в две очереди. Как изнутри прихода: не такая она как мы, в ней нет простоты. И извне: во всём виновато христианство, оно забрало женщин и деньги. С тем, что нет простоты, Зина смирилась, хотя и очень трудно. И вовсе не считала, что простоты в ней нет. Так и жила: молча. С женщинами и деньгами было сложнее, потому что их у Зины практически не было. Были знакомые женщины, по большей части нецерковные и очень настороженно к православию относящиеся. И была зарплата, которой по-хорошему на лекарства не хватало.

Она очень охладела к людям, но, возможно, это было новое качество любви. Это странное «люди» оформилось в стихию: небо, стены, облака, поток. Нечто бесконечно разнообразное и вместе с тем общее, единое, но неоднородное. Она любила водить Илюху к ранней обедне в ближайший храм. Илюха был сонный, тёплый, порой больно сжимал руку, висел, но шёл и смотрел большими глазами в лицо, как будто что там читал. А она чувствовала, когда он посмотрит, останавливалась и тоже смотрела. Иногда гладила его щёки, отводя отросшие вихры от глаз. Мать, Рита, приходила в храм чуть позже: дочитывала правило или умывалась.

Зина любила стены, особенно старые, в центре города. Сырой, немного даже уксусом, запах извёстки. Тополиный пух, способный кого угодно вывести из себя. И дождь в глаза по крышам, и снег. Порой переживания погоды и ландшафта становились настолько глубокими и нежными, что садилась на ближайшую скамейку и просто смотрела. Заговаривала на улице со случайными прохожими, заговаривали и с ней.

Но иногда последним промыслом приходило... От своих, например, от Макса. Или просто со стороны: злая, свирепая, не любишь людей. Но я же только твой зеркальный щит, хотелось ответить... Я только отражаю то, что ты сейчас делаешь и говоришь... Она ощущала, что как инород-

ная людям стихия разлита вокруг – так же, как они. Ходит, говорит, чувствует, возмущается. Зина была везде – и нигде, всем – и ничем. Казалась очень красивой – и в то же время не обращала на себя внимания.

– Иногда я понимаю Алину, как с ней было...

Но об Алине лучше лишний раз не вспоминать. Это бы нерв, тревога, почти страх. Это была совершенно другая жизнь.

Храм возле кладбища назывался домовым, выстроен был для одного из царей Романовых: небольшой, уютный, тёплый. Расположение помещений внутри сохранилось, хоры обновили, сохранив прежнюю их форму. Роспись, наоборот, после реставрации оказалась совсем смешная. На иконостасе соседствовали фигуры новописи и оригинальные, ученика Симона Ушакова, приобретшие вид совсем мультяшный. Прихожан такое разнообразие не смущало. Святитель Николай смотрел исподлобья строго и приветливо, пророки жестами придворных приветствовали Спасителя, облачённого в какое-то почти бразильское золото. Огромная Одигитрия замерла за новой голубой лампадой. В этой аляповатости было много тепла. Зине казалось, что подновлялась роспись по старинке, бабками и певчими, хотя это было совсем не так.

Приход был большой, но довольно тихий. Ни эмоциональных бесед, ни слёз, так часто виденных Зиной на Алексеевском подворье, не было. Были тихие, несколько чопорные приветствия, мушиная вежливость церковниц и очень много молодых красивых лиц. На ранней особенно жалела, что нет сил помочь поднять и потом спустить по ступням инвалидную коляску со взрослой уже девочкой – девушкой, видимо, больной от рождения, и оставленной родителями на бабку, которая о ней и заботилась. Девушка почти всегда спала. И не замечала, как ей клали на покрывало, что окутывало колени, конфеты, деньги, другие подарки. Подарков всегда было много. Девушка выражала радость тем, что кивала – часто, с блестящими глазами. Если не спала. Кладбище – одно из так называемых чумных, в зелени разрезанного на части огромного парка, от которого возможно в будущем ничего не останется. Зина так и думала, что ничего не останется. И потому ещё спокойнее и слаще были короткие часы богослужений. Летом почти не хотелось заходить в храм, а хотелось целоваться с цветами и деревьями в саду и слушать из динамиков, что читают и поют там, у солеи. В нескольких десятках шагов от выхода с церковного подворья росла старая, приземистая и очень ветвистая яблоня, которую Зина прозвала священным сикомором и плодами которой иногда лакомилась: кислющие, так что челюсть сводит. Цвела эта яблоня так плотно и густо, что казалась ненастоящей. Пасхальное дерево.

«Религия, Христос. Зачем они в нашей небольшой жизни, скорее похожей на уличный роман нового образца? И зачем поэты и писатели касаются таких страшных тем, так или иначе? Не взирая, знают что-то о том, что пишут или нет. Надеются или уверены, что у каждого есть свой личный опыт богообщения. Возможно, и скорее всего что есть. Но дело-то в пасхальном сикоморе, который кто-то посадил, и он теперь живёт независимой от своего автора жизнью, и можно уже с точностью сказать, что автор этого дерева Бог. Должно быть такое дерево. Оно прекрасно».

Однако приходская жизнь Зину отпугивала: вспоминался Алексеевский и шуточки отца Игнатия, которые забыть пока не получалось. Но возвышенное, какое-то пчелиное или муравьиное движение людей привлекало. Да и всё на подворье казалось отражением пасхального крестного хода. Зина очень ждала пасху.

Но тот февраль даром не прошёл. Он был как мелкая, частая, мокрым снегом, простуда. Он ныл, и ничего было не поделать с тем, что теперь всё изменилось, и люди другие. А как не хотелось, чтобы люди другие! В Даниловом, у ящика, подошла монетку положить и взять свечу, а тут... Церковница за ящиком сказала:

– Вы осторожнее. Видите, как теперь всё по-другому стало.

Да уж. На самом деле – страшно стало.

...И снова перед глазами отец Игнатий, вращающий страшными глазами над Чашей. Шутит он так. Зина тогда, на ранней, в обычном своём недосыпе. Ну не спит она перед литургией, не спит почти вовсе, и едет через пол-Москвы, читая правило. Выглядела перед Чашей всегда плохо,

помятая очередью, с диким отчаянным выражением лица. А отцу Игнатию, понятно, не хотелось, чтобы – в недосыпе, и плохо выглядели. Не хотелось отчаянного лица. Бог знает, но потом к Чаше, которую он держал, Зина уже не подходила. В Алексеевском обычно бывало две, а постом – и все три. Пробовала было ходить на позднюю литургию, надеясь выспаться, но получилось ещё хуже. Два часа дня, а засыпает как в полночь. Однажды проснулась – десять вечера. И где спрятался день, куда делся? Но не ходить, и именно на раннюю, не могла. Пока шла к храму, да и после – была в мире с собой и ничем не возмущаема. Елену писала аккуратно, в каждой записке. Но Елена-Алина Зине никогда не снилась.

7.

Отец Ефрем испытывал к медикам особенную нежность, но сам обращаться к ним не хотел, разве что для ничего не значащей проверки и последующего вывода: всё хорошо. Глубокие они очень люди, эти медики, насквозь человека видят. Как в нём, например, желчь ходит. А тут какой-то снимок дурацкий вышел плохо, и из-за него пришлось к гастроэнтерологу идти. Сидит отец Ефрем у двери в кабинет, ждёт, смотрит на людей. Как всё же это место много смиряет.

От освещения, наверно, у всех какая-то серая тень на лицах. Люди покорны и чуть напуганы. Стадо – оно стадо и есть. Не потому что люди – скоты, а потому что трогательные очень. Жмутся друг к другу. Вот две, за руки держась, прошли. Только здесь и смогли найти друг друга. Андрей Пятницкий воспитан был в уважении к медицине, но тогда (нынешний отец Ефрем надеялся, что и сейчас) медицина к нему отношения не имела. Он знал, что есть люди, которым во что бы то ни стало надо появляться в подобного рода учреждениях, для проверки состояния и выписывания бесплатных медикаментов. И сам порой молился, чтобы родственнику прихожанина или прихожанки, да и самому просящему, выписали бы нечто необходимое бесплатное. Медики казались немного священниками. Надо и поговорить, и разъяснить, и подобрать. Но медицина оставалась до недавнего времени другой вселенной, и, честно сказать, отца Ефрема не очень трогала. По себе знал: если вовремя пособороваться, недуг обойдёт стороной. Или же, если есть, уйдёт.

А тут как раз после соборования всё и началось. Иначе как бунт, какую-то последнюю тоску тела это самое не опишешь. Оказалось, что есть он может один-два продукта. Больше, конечно, но всё – как постом. Рис-гречка-овсянка да немного молочнокислого. Всё остальное вызывало приступы небольшой нудной боли и дурноты. Думал – пройдёт, стал налегать на кефир и молоко. Не помогло. И всё время хотелось пить. Что угодно. Пил в основном воду с лимоном. На короткое время снимало ужасную жажду и дурноту. К дурноте добавились странные сны. В основном видел здание-город, нечто единое, целое, с наземными и подземными переходами, с подземными улицами. Огромное, грязноватое строение, вот как иногда в кино показывают. Множество раскрытых крыш над улицами. Крыши в основном плоские, на них порой какие-то скверы и торговые точки стоят. Иногда – кафешки со столиками. Вниз с крыши к улице ведёт лестница. С улицы на улицу можно перейти по узкому, с низкими окнами, переходу-трубе. Тесный, душный, и окна закрыты. На улице – дикое солнце и жарко. Странное место. Там порой возникают люди, которых когда-то знал и не уверен, живы ли сейчас. Один раз увидел даже Матушку. Он так считал, что это Матушка. Высокая, в широкой одежде, как та ходила: платье и штаны с вышивкой. Вчера вообще котят видел. Спят в его комнатёнке, там, в этом здании-городе. Уже глаза открыли. Ползают по лохматой подстилке. А он там, во сне, думает: нет ли в этой подстилке моли, ибо это нехорошо для маленьких, чтобы моль в подстилке. А котята обычной тройной дворовой расцветки, и даже кот один есть, тройственный. Кто-то из своих, кажется, Лиза, дочка, говорит, радостно так:

– Смотри, смотри, трёхцветка. Говорят, что только кошки трёхцветными бывают, а коты – нет. А у нас – котик трёхцветный!

А дальше – интересно. Котят пока нечем прикармливать. То есть всякого вискаса для котят ещё не купили. Едят они гречку с чем-то, кажется, с луком и грибами. Один, как раз, кажется, кот, с большими белыми лапками, уплетает так, что иначе не скажешь – за ушами трещит. Бодрые толстые котята. Кутята настоящие.

– Пятницкий! – позвала медсестра.

Доктор оказался красивым и довольно молодым человеком. Отец Ефрем знал, что теперь таких много – молодых, красивых, не очень пока знающих, но уверенных в себе медиков. У этого было что-то такое в лице, что отец Ефрем тут же ему поверил и, поверив, испугался. Будто ему уже сообщили страшный диагноз. А тот внимательно прочитал карту, потом довольно долго рассматривал рентгеновский снимок, а потом ещё дольше писал, словно отца Ефрема не было в кабинете. Затем спросил вдруг:

– Как мне сказать: батюшка, благословите?

– Бог благословит, – ответил жестом отец Ефрем.

– Аминь? – спросил доктор.

– Аминь, – кивнул отец Ефрем.

– Ну как мне после вашего аминя говорить. Но тут – самое дело. Я не уверен, так что через пару месяцев исследование повторим. Вот тут у вас так и так. Это вот почему...

Дома встретила та самая, из сна, гречка с небольшим количеством жареных шампиньонов и лучком, а также любимый мацони. Матушка Вера заглядывала в глаза, молчала, ждала. Отец Ефрем не любил, когда у неё, в общем, малоподвижной, так начинает ходить тело. Очень волнуется. А ему что? Доктор всё очень детально объяснил.

– Анна приехать хочет из деревни. Звонила.

– Пусть, пусть, – оживился отец Ефрем.

Матушка облегчённо вздохнула. А он сказал:

– Я о чём думал дорогой. Что всё правильно на самом-то деле. Вот я причащаюсь раза три, а то и четыре в неделю, потому что служу. А готовность как у школьника, нулевая. То есть кому и не нулевая, но всё равно в чёрном теле причащаюсь. Тут и книги, и компьютер, и на требах разные беседы. Вот это так и образовалось. Помнишь ведь, что Апостол говорил: многие из вас недужливы, и спят довольными. Так это про меня. Восприимчивый очень. И доктор тоже сказал. Мол, с привратника всё и началось. Это у нас во чреве есть такое: привратник. Может, я и знал в школе, но забыл. Напомнили.

После литургии пришлось ехать на требу. После требы, как водится, позвали на чай. К чаю была тонкая, домашнего приготовления, сырная пицца. Без колбасы, без мяса, а с зеленью и травами. Небольшой круг, четыре сыра. Хозяйка, молодая мать, собрала на стол и отделила кусок от пиццы:

– Это ей.

Она – болящая, её бабушка, к которой отец Ефрем и приезжал.

– А вы ешьте, ешьте. Выходить скоро.

Отец Ефрем и стал есть. Удивительно, что дурноты не было, и в горле не было обычных спазмов с царапаньем. Тонкий довольно мягкий пирог с нежирным сыром, зеленью и кусочками томатов. Казалось, невозможно было бы отцу Ефрему его есть, а он ест. Прибежала хозяйка, налила себе кофе из турки, а отцу Ефрему – некрепкий чай. Ему отчего-то стало уютно и хорошо. Было и то хорошо, что эта мать помогала ему на требе – пела, читала молитвы. И то, что не церемонится с ним: мол, священник. Что... почти как дома. И что пиццу может есть, как раньше, и боли нет. Только потом, уже в метро, когда дурнота накатила густой волной, подумалось:

– Вот это и есть утешение. Подготовка.

Анна приехала к ночи. Отец Ефрем видел её сравнительно редко. Показалось, что не изменилась совсем: та же складочка на веках, та же воркующая малопонятная речь. И так же повисла на ней матушка, стала расспрашивать и долго-долго поить чаем:

– Тётьань, а я воду так и так наливаю. Так можно? И ещё – семян в «Пятёрке» много, только покупай. Можно ли?

– Можно. Всё равно – земля главное.

«Меня-то про святую воду никогда не спросит. Однажды так и сказала: ты, мол, священник. А с Анной говорит», – вздохнул отец Ефрем и принялся разбирать Аннины сумки с банками. В одной было до десятка патиссонов, уже обветренных подполом.

«Удивительно как Господь открывает это, будущую жизнь. Я у отцов много читал, лучше всего – рассказы оптинцев, записанные Нилусом, разъяснение старца Варсонофия. Мол, рай – это вкус. Да, со вкуса всё и начинается. Но есть у него и временно-пространственное выражение. Вот, скажем, полчаса мы с Матушкой в Печорах, идём к отцу Иоанну Крестьянкину и ещё не знаем, что он нам прямо с канона пачку «Мишки» даст. Делите, говорит, как хотите. Всего полчаса. А в эти полчаса все наши многочасовые разговоры помещены, да так ясно. И что тогда не проговорили, замяли, заболтали по человеческой тупости, теперь проговорено, и нет уже ни зависти, ни ревности. И моя матушка с детьми тут же, и к той Матушке не ревнует, и все сейчас чай с конфетами отца Иоанна будем пить. Всего полчаса. А и свет солнца, и даже облака на небе, и запахи – всё то же. Рай! И всё вместе: что ещё не знаем про конфеты, но они уже есть в чувствах, они растворены как единый поток. И то время, и тот возраст, и матушка с детьми сейчас. А ещё она – как тогда в хипповой юбке, как её встретил, и это ещё уверяет в том, что именно то время вернулось. Но что вернулось – не важно. Важно то, что оно восполняется до целого рая, пока что доступного мне вот так, скажем, в ощущениях. Бывает ещё – на басу играю. Но это уже другие воспоминания».

И тут по спине слегка прошёлся холодок.

Когда встал, чтобы выйти на своей остановке, ясно-ясно увидел покойного Егора. Егор шёл прямо на заходящее солнце, в этих своих дурацких кедах, на которые тогдашний Андрей Пятница умудрился поставить усилок. Вдруг Егор остановился, обернулся, снял очки, протёр и весело посмотрел. Не позвал, ничего. А так... И пошёл дальше.

Анна с матушкой решили отдохнуть и потом заняться кухней. Из приоткрытого окна – отец Ефрем даже нарочно прислушался – потянуло дождём, тополем и сиренью. В марте?

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июль 1989 г. Игорь начал подозревать, что я нарочно не ем. А мне что теперь – рвотное пить? Он тоже очень тонкий, как я. Начал подозревать – стал ныть, что ноги отнимаются, что умрёт скоро. Он это умеет, ему в нытье равных нет. Вот бы его (я злая) на Честера напустить. Вогнал бы в смуток – только так. Честер бы позабыл свою весёлость. Но так думать нехорошо. Что же, и поем этих его шпрот с лимоном вприкусу. А потом выпью всю воду в кране.

Приходил священник, молодой, но очень трогательный. Руки у него – музыканта: ровные длинные пальцы с чуть увеличенными суставами и припухшим запястьем. Как подцепит, так и заиграет. Игорь сказал: вы друг друга поймёте, он раньше рокером был. Вообще, похож на принца. Тоже мне – батюшка. Сначала я хотела рассказать всё подробно. Потом как-то сами собой возникли слова, так скажем, из его языка. Их оказалось – много не надо. Я всё что нужно прочитала накануне, красивые песни. Вот бы мне гитару, я бы на этот богородичный канон сама бы музыку написала. Но это почти шутка. Жду, когда будет роковой вопрос. Он и спросил, принц:

– Вы кушали?

– Нет, – говорю. Это-то правда. Но я ж ему не сказала, что нарочно не ем, чтобы умереть. А тут Игорь чортиком возник:

– Да она чудит. Нарочно не ест. Умереть хочет, что ли.

Священник кивнул и попросил встать. Что он там себе подумал, не знаю, но по виду милый очень. А как мне встать? Меня шатает. Вот сейчас, перед жарой, так плохо, что даже лёжа голова кружится. И куда мне падать – им на руки? А всё-таки летом хорошо. Легче живётся, даже если иметь в виду, что легче только одежда.

У священника – жёлтый маленький металлический сосуд.

– Сложите, – говорит, – руки крестом.

Сложила, как он сказал. Просто больница какая-то. Правую на левую, ладонями на плечи. Такое получается объятие.

– Шире рот откройте.

А вот с этим сложно. Он как-то засох, рот. Отдельная у него с некоторых пор жизнь. Но ничего, открыла. Причастил. Потом дал вина глотнуть. Я тут засмеялась и стала засыпать. А Игорь уже чай сделал. Пьём чай с тортиком, беседуем. Принц мой не расспрашивает, только поддакивает. Вы иначе не могли, да не такое бывает. Будто равнодушный. Это заводит, раздражает. Но он всё верно делает. Я щас его сама спрашивать начну. Нет, конечно, спрашивать не стану. А он:

– Вы кашу кушайте, молочную. Вам теперь твёрдое не очень полезно будет. А, знаете, я читал у Петра Дамаскина, такой замечательный древний подвижник, что мясо в слабости скорее вредно, чем полезно. Особенно отвар, который мы так любим за аромат.

Тут и представила себе бульон с яичком, пахнущий лавровым листом и укропом. И посмотрела на Игоря голодными глазами. Как он тут же банку шпрот не открыл, не знаю.

– И преподобный Исаак Сирин тоже подтверждает: мясо больным не полезно. А каша вам сейчас в самый раз будет. И пейте больше, несмотря на жару, больше пейте. Желательно тёплого, а не холодного. Литра три, и не смотрите на меня так. Литра три в день выпивайте.

Вот так рокер. Врач он, а не рокер. Принц этот наверно мысли читает:

– Я в первом меде учился. Можно яйцо всмятку добавить, это очень хорошо. Не любите яиц всмятку?

Всё-таки я самая счастливая женщина на свете. Ну вокруг кого ещё такие красавцы на цыпочках ходят? И мне платить им нечем. Вот и сижу, сияю на них глазами, бесстыдно счастливая и красивая. А он своё, уже ближе к теме:

– Евангелие читайте. Молитвы пока вам освоить трудновато будет, привыкайте сначала к Писанию. А потом уже надо будет сполна утренние и вечерние читать.

Тут я не выдержала:

– И месячные тоже.

Этот, рокер из первого меда, а ныне принц и священник, даже ухом не повёл:

– Да, и месячные тоже. В идеале вам причащаться хорошо бы раз в месяц.

Что ты с ним делать будешь. Но я счастлива».

Двадцать минут первого. Алекс проверил загрузку: вроде пока всё прилично. Но мысль перейти на вражеский интернет не оставляла. В графе «ваш город» указать Сан-Франциско. При воспоминании об этом названии сразу же, отскочив от невидимой клавиши, возникла сценка. Какой-то лохматый 91-й, Кенигсберг, выпивший Олди в «Дарах Моря». И спрашивает: ну как, завтра на басе. И повторяет: на басе... Концерт, понимаешь, у Комитета. И нужен бас. Ну, будет Алекс играть на басе. Договорились. А потом, когда уже вышел из «Даров» и пошёл через магазин, ему подмигнул мужик лет пятидесяти, несший что-то за пазухой. Алекс на этого мужика и внимания бы не обратил. Но тот уж как-то особенно подмигнул и сказал, показав большой разноцветный рыбий хвост из-за пазухи:

– Корюшка. Из Сан-Франциско. Город цветов.

Город цветов. А у нас... Что же это – мысли за восемнадцать лет не переменились? И снова вспомнился майор, в новых погонах, с ужасно светлыми глазами. И холод. Собачий холод.

Вдруг – звонок на мобилу. Мобила-то на тихой вибрации, но всё равно: как это, кто? Алёнушка спит. Ей теперь много спать надо, для красоты, а это главное. Это её творчество.

Отец Ефрем.

– Я щас приеду. Спать ложишься?

Все знают, что Алекс пишет до трёх и встаёт в девять. Потому и старый.

– Нет. Приезжай.

Что случилось – потом спросит. Но ясно, что что-то случилось.

– Взять чего?

Не пьёт батюшка, конечно. А вдруг?

– Нет. Аппаратура готова? Я бас везу.

Бас! Вот так вот: и тут бас. Пятница играть собрался. Пятницкий, потому и Пятница. Один

Алекс знает, что за басист Пятница. Знает, потому что сам на басе умеет. И с Пятницей играл. Было это в Череповце. Отравившийся водкой Питон валялся где-то на вписке, да ещё и температура под сорок. И тогда Дух наехал на Руслана: мол, вынь да положь мне бас. Руслан искал недолго, притащил из тусовки симпатичного молодого пипла с «Уралом». Когда репетнули и Дух услышал бас – расплакался, не стесняясь. Вот ради чего Питон заболел, все оплачено. Симпатичным молодым пиплом был Пятница. Но потом он как-то быстро исчез. Ушел автостопом в Москву. Только вот что теперь играть будут?

– Привози, запишем.

Отец Ефрем действительно приехал с басом, старой советской гитарой, в старом же, брезентовом, самосшитом чехле непонятного цвета и узора. Узор был из надписей шариковой ручкой – поклонники автографы оставляли. Ну, инструмент в порядке?

– Я проверял. Он может.

Начали тыкать и подключаться. Гнёзда в старом басу оказались новые. Алекс не сказал, но видно было, что заметил.

– Да я тут его реанимировал.

Настроились, проверились.

– Кофе?

– Кофе.

В комнатке Алекса были и чайник, и маленькая тумбочка с банками и чашками. Это чтобы по кухне не ходить и Алёну не беспокоить.

– Ты что, Пятница, из священников ушёл? Моральный кризис?

Вот они, православные. Он так и знал, что церковь душу не кормит. Хотя как сказать.

– Дурак ты, Алекс. Оттуда не уходят. Да и мне – зачем. Но тут такое... В общем, «Собак» флойдовских щас играть будем. Фендер-то у тебя – как у них.

За фендер Алексу было немного стыдно. Ну очень хорошая гитара. Профи.

Вдруг как в открытую форточку потянуло тем деревенским закатом, и козами, и Савкиным, идущим по небу. Его и сыграем.

– Минусовки делать? Там ведь много всего: колокольчики, клавиши, эффекты.

Отец Ефрем улыбнулся, широко, даже немного рот открыл. Колокольчики!

– Да нет. Давай по-серьёзному, вдвоём. Это задача – вдвоём сыграть.

Задача. Вдвоём – и психоделическую композицию на восемнадцать минут. Пятница толк в музыке знает. Проверили каналы записи и воспроизведения. Всё в норме, всё слышно.

Слышно. Алекс любил эти мгновения. Когда записываешь. Тогда слышит весь космос, а не только земля и Сан-Франциско шестьдесят седьмого года. Ну и дался ему этот Сан-Франциско. Тем более что собачки – английские. Глухие, как путешествия Гулливера.

Алекс начал, не дожидаясь отца Ефрема. Понемногу, мягкой ночной рукой, чуть плавающей, как первый сон Алёны. Не слишком высоко, превратив колокольчики в потрескивающие радиосигналы. И дальше пошёл-пошёл, и не заметил бы, как вступил бас. Бас начал говорком, жалобой старика, так внятной Алексу, каким-то жабьим и совиным призвуком, так что захотелось повращать ручки, чтобы звук почистить. Но Алекс не стал: бас был отличный, а партию отец Ефрем знал прекрасно. Этот бас умудрялся ухать там, где должны быть ударные, а это требовало, чтобы фендер Алекса изображал и клавишные, так что на лбу Алекса выступила предутренняя роса.

Вокала не подразумевалось. Но оба чувствовали, где он может быть, и пробовали играть выколотыми звуками – как можно рисовать выколотыми точками. Они играли пустоту вокала, а не замещали вокал звуками гитар. Как это получилось, они не смогли бы объяснить, но это происходило. Вряд ли кто-то из них смог бы повторить потом такую игру.

Композиция сложена из нескольких частей. Напоминала маршрут поезда, который удачно летит под откос в конце. Самое сложное – сыграть перед поворотом, сам поворот и финишную прямую, на которой второй вагон наезжает на первый, а вторая линия вокала выходит в первую. Алекс не очень любил флойдовских «Собак», но этот ход в конце уважал. И побаивался его.

«Вместо нас? Кто вместо нас? Нет, это мы вместо – кого? Живые и мёртвые, мёртвые и живые... Но ведь мёртвых нет? Или есть, потому что я не вижу их как живых?»

Отец Ефрем шёл довольно скорым ритмом, может быть, чуть быстрее, чем в оригинале, слишком точно, почти нечеловечески. Но Алекс за то и любил басиста Пятницу: играет как робот. Он вытаскивал на поверхность проклятые вопросы, от которых Алекса уже двадцать лет тошнило: почему не уехал? Почему Алёна? Счастлив ли он на самом деле? Не есть ли вся его музыка – заместительная терапия одиночества, несмотря на Алёну и это: навсегда вместе? Ответов не было, быть дрянью очень не хотелось. А отец Ефрем спрашивал и спрашивал, и уже шёл несколько впереди. Этого композиция позволить не могла.

Алекс рванулся вперёд. Поворот начинался с хрестоматийных аккордов, которые любая урла в конце восьмидесятых могла сыграть в подворотне и которые Алекс по пьяни неоднократно брал как молитву от нечестного мордобоя. И в этот раз он не вынес их, уже не вынес. А надо было играть, а руки чуть подрагивали. Фендер страдал, дёргался в Алексовом теле и, наконец, издал тот самый очень высокий звук, с которого начинается собачий вой.

А дальше, проваливаясь по колено в деревенском снегу, пошёл отец Ефрем с ведром, неся Анне воду, а за ним бежала чёрная дворняга Пальма. Но это было уже в каком-то совершенно другом пространстве, потому что Пальма была в детстве Алекса. Она падала на лапы, что-то объясняла, предупреждала, почти ругалась, показывала, куда идти, звала. А за столом домика сидела больная воспалением лёгких Анна. Она что-то говорила и говорила про то, как разбирают крышу её дома, про дохнущих индюшат и про то, как пять из них выжили, и один превратился в красавца Орла, Орлушу.

Еда, храм, потолок. Вот и всё, что видел за последние двадцать лет отец Ефрем. Почти аскеза. Дети – да, дети. Матушка – да, матушка. Но – вот такая крамольная мысль – это самостоятельные и не зависящие от него жизни. А вот Анна была связана с ним и, можно сказать, была человеческим воплощением его жизни. Ну что он знает о христианстве после двадцати лет священства? Да ничего. Он новичок в христианстве, мать сирофиникийской девочки. Он ожидает исцеления всем и сразу. И он бесконечно чужой этой церковной жизни, которой когда-то так хотел. Он такой же неофит, как и его прихожане, и ему не стыдно это признать. Не унизительно – признать свою неспособность быть. В признании собственного недостоинства – признания не дежурного, а не дающего спать по ночам – и есть нечто христианское. Если верить святым отцам. И потому у отца Ефрема есть эта самая надежда спастись. Потому он здесь, и играет сатанинскую с чьей-то точки зрения музыку, ибо понимает про царя Давида не от ума, а от баса, гудящего ему в живот, как ракетная установка.

Затем бас и ритм разошлись, каждый ушёл в своё житейское путешествие. Но скорость дороги уже выросла, и сойти с трассы невозможно. Нет, эта композиция не для балдежа, не потому что просто хорошо и классные аккорды. Это какое-то движение в поле очень высокого сопротивления, где даже сгореть не получится, хотя и возможно. Просто выбросит на обочину. И останется – немного быта и пива. Алекс видел, как это происходит. Так отчасти и с ним самим. А отец Ефрем брал басовые аккорды, как складывают дрова в поленницу, и всё слушал, слушал, что лопочет Анна о том, как у неё вдруг весной случился сердечный приступ. Как пришли двое светлых юношей и стали её поднимать к воротам, которые ей показались чёрными. И Алекс тоже слушал этот бред, это странное напевное повествование, поднимающееся до молитвы, и шёл уже выше в тональности, уже к финальному повороту. Там было всё вместе: и бледное лицо Алины с бесцветными от передоза губами, и узкий рот Аськи, смотрящей на Толика, и руки Макса, сжимающие Алинины тетрадки. Там была вся их совместная история. И было бы глупо замыкаться в ней, и было бы глупо её не закончить.

Отец Ефрем вдруг, согласно ходу композиции, тормознул, пару раз стукнул по деке крепкой фалангой и полетел под откос, увлекая Алекса с его фендером, сдирая кожу с ещё живой пьесы. Катастрофа наложилась на катастрофу, война на войну и смерть на смерть. Всё мироздание летело вниз по насыпи, и самое лучшее, что можно было сделать – пережидать шок и забыть о жалости. Может быть, получится выжить.

Вспомнилось, как Алина рассказала про первый и последний в её жизни перелом кости. Летом, в сильнейший июльский дождь, ехала с работы. Вышла из метро, зашла в магазин, купила красивую майку, индийскую. В окно магазина увидела, как подошёл автобус. Побежала, наступила в лужу и... сломала ногу. Присела, но не упала. Ещё не понимала, что произошло. И всё же дошла до остановки. Со сломанной ногой влезла в следующий автобус, поддерживаемая людьми. А потом молодой человек с обручальным кольцом нёс её на руках до квартиры. Идущий изнутри гул шока – он, кажется, всегда один и тот же.

Отец Ефрем уже выделывал с партией что-то такое, отчего стало почти страшно, но уж точно восхитительно. Алекс, полностью положившись на монотонную мощную силу баса, начал выписывать второй эшелон, выходящий на место первого, этот нестройный хор, сменивший пронзительное вытьё. Всё это они: недопёски, отребье системы.

Шестьдесят седьмой – точка смерти. Хотя после шестьдесят седьмого написано было много прекрасной музыки. Но то были похороны. Странные похороны, из которых потом развился росток. И вот эти «Собаки», написанные в семьдесят седьмом – панихида к той панихиде.

– Да, панихида, – согласился отец Ефрем. «Собаки» и ему напоминали панихиду.

«Кто подох, сжав телефон».

Бас отца Ефрема шел всё так же ровно, только чуть устало, и от этой небольшой усталости звук слипся. Превратился в единый голос в единой точной команде. Или даже – не команде, а фразе. В короткой емкой фразе, неожиданной, и все же ожидаемой. «Собаки»! Тоталитаризм! Это часто приходилось слышать. Но тут было совсем о другом, и это скажет каждый, кто хоть раз играл «Собак». Все, по ком была панихида, возвращались на свои места – новые текучие сгустки силы. Сквозь эту стену ничто не могло бы пробиться.

Отец Ефрем вёл на ледяной подъём. Успеть за ним было почти невозможно. И Алекс сделал второй рывок. Приходилось скидывать вещи, приходилось забывать и отказываться, а это противоречило принципам. Ну не любит он собак, не любит он терять. Но иначе за этим басом не успеть. Алекс снова, как когда-то, играя это же место, увидел собаку. Она отчасти напоминала ему Алену. Почти волчьи глаза, которые иногда становятся глазами Богородицы. Ну так ему виделось. Собака то припадала на лапы, то рвалась сухой яростной грудью вперёд с поводка. Он ждал, когда цепь, наконец, оборвётся, а собака прыгнет на дуло оружия... Цепь оборвалась. Фендер поднялся так высоко, как ещё не поднимался, и повёл-повёл, превращая всю композицию в один яркий всплеск пламени...

«Кто сгинул в улицы города,

Кто замер в каменной стойке».

Посидели, смотря друг на друга. Алекс закурил, забыв открыть форточку. Отец Ефрем не напомнил, да и сам посмотрел на Алексов «Честерфилд». Но курить не стал. Потом Алекс проверил, как записалось.

– Шибает, конечно. Но это ж сразу не ясно, что наваяли. Будешь ещё кофе?

– Нет, – сказал отец Ефрем и посмотрел на плакат с Ленноном: вдруг и удивительно счастливыми глазами, – а полежать можно?

– Конечно!

Алекс вспомнил, что на столе в кухне осталось немного нарезанной горбуши.

– Я сейчас. Поесть... Горбушу будешь?

– Буду.

Алена, должно быть, видит чудесный сон. Да и запись должна быть удачной. Как хорошо, как же хорошо, и этот снег, и Зинины глаза... Когда Алекс вернулся, отец Ефрем лежал как будто в глубоком сне. Рука, только что ведшая Алекса по ледяным горам гениальной музыки, касалась пола и была почти синей.

– Пятница, ну-ка ты, Пятница...

Вызвал скорую, позвонил Максу. Всё происходило так тихо, будто кроме студии, в обычной жизни можно выключить звук. Машина приехала довольно быстро. Открыла Алёна. Как услышала? Или не спала?

– Иди спать, Алекс, тебе на работу. Я сама в Склиф поеду.

Макс помог санитарам, упаковал бас, но забирать не стал:

– Это теперь реликвия. Мощи. Береги.

В рыло ему дать бы... Да всё никак не получается.

Уехали. Алекс походил, без мысли в голове. Лег на то место, где только что лежал Пятница. И заснул. Так сразу и заснул. А во сне бэк-вокал рос и выходил в первую линию, нестройный хор, странное собрание. И уже не разобрать, где кончается один человек, а начинается другой. Откуда-то из верхней глубины возник рассказ Алины, с того же флэта на Полежаевской. Алина рассказала свой сон. Про то, как пришли солдаты. Такие же, как и те, в кого надо было стрелять. Две шеренги, одна против другой. Нестройная и чёткая. А она, подставившись под пули, бежит вдоль своей шеренги и кричит: становитесь, становитесь, сейчас в нас будут стрелять. Вот детство-то. Сколько ей было? Двадцать пять?

Кто сказал – больше никакого рок-н-ролла? Кто-то сказал. Так его и не будет, рока. И не было. А музыка – как назови, всё музыка. Хотя нет. Не просто музыка. В этих звуках возникало давно забытое пространство, назвать которое отчего-то было стыдно.

8.

– Похоже на гепатит це. Полимеразно-цепная реакция подтверждает, но у меня сомнения.

Именно сомнения и не дают человека спокойно похоронить. В сомнениях Алёна была уверена. Хотелось сказать: да не торчал он, вообще никогда и никак не торчал, и с проститутками не был никогда. А кто поверит, даже если всем ясно – священник. Никто не поверит, потому что – анализ крови.

– Очень странное дело. Мгновенный отёк лёгких. Хотя были предпосылки; он явно болел пневмонией несколько раз.

– Да, – подтвердила матушка Вера, – в марте. С температурой по требам ходил. Два раза болел, и потом, врач сказал, что было осложнение.

– И это странное небольшое внутреннее кровотечение, в правой части. Один из печеночных сосудов лопнул.

– Кровь и вода? – переспросила матушка Вера. И повторила, обернувшись к Анне и Алёне: – Кровь и вода.

Вот ведь жёны-мироносицы.

Приехал заспанный флегматичный священник, прошёл в палату. Никого более не допустили, так и ютились на стульях. Вскоре священник вышел.

– Удалось причастить батюшку? – Вера не то что постарела за пару часов, но как-то особенно оформилась, будто все лишние крылья отпали.

Священник посмотрел немного свысока, но ласково.

– Удалось, глотать мог. Храни вас Господь, благословите.

Попросил у матушки благословения. Все поняли, что и им надо – к батюшке под благословение. И все подошли под благословение. Макс тоже. Но всё время ожидал, что вдруг запоёт или засвищет. Свистеть он умел. Очень живо представил себе, как целует благословляющую десницу и вместо «аминь» выдаёт странную звонкую трель. Батюшка был молодой и, видимо, очень неглупый. Понимал, что его отеческая рука не одно восхищение вызывает. Несмотря на рост, двигался степенно и почти с опаской. Макс свистеть не стал. Но о несправедливости подумал.

«Это тогда была несправедливость. А теперь происходит так, как должно быть. Всё так, как должно быть. Возможно, и война будет. А как скажу – не дай Господи войны, когда я её вижу, вот так и вижу. Небольшая такая война, гнусненькая, вот как в Грузии была. Где-то я это читал. Теория пятен Роршаха, проекция в социологию. Техники всякие, английская школа. Всё так, как и должно быть. Пятница понимал, что молчать о добре и зле – не значит отрицать добро и зло. И много ещё чего понимал, про молчание. Он вот счастливым ушёл. Больную причастил, сам

причастник, а вечером любимую музыку играл. Но в том дело – как играл. Эта музыка в его руках была наполнена смыслом погребальной песни. Потому и счастливый. Ушёл в мире, с песней, без противоречия. Хотя противоречие, конечно, нашли бы – у кого противоречие внутри. А тут только кровь и вода».

Скончался отец Ефрем ближе к рассвету, уже автобусы бегали. Женщины всё время, пока была надежда, то сидели, то вставали со стульев. Как на всенощной. А когда исход наконец определился, вроде бы даже повеселели. Впереди были волны документов и хлопот. Поиск места для захоронения, необходимые вещи. И деньги нужны.

Зина с Ритой и Илюхой шли вдоль стены искусственных ярких цветов. Часть – матерчатые, даже красивые. Часть – пластиковые, пахнущие валерьянкой, как казалось Илье.

– А что теперь будем делать? Нужно духовника искать. И рассказывать...

– Не надо рассказывать, – Рита порезче, мыслит проще, – всё уж рассказано. Что тебе – опять про Алекса вспоминать? Да он и не денется от тебя никуда.

Эта странная фраза застала Зину возле куста роз. Замерла, и было почти неприятно. Ну что она – какие-то усилия прилагает, чтобы Алекса добыть? И Алёна, которая их подвезла сюда – его жена. Он же любит её. Зачем так Рита говорит? Потом вдруг, сжав свою беспомощность в кулачок: да что ты. Пусть говорит.

– Какая разница, к какому священнику, Зина. Бог найдёт.

– Этот, – указал Илюха на обитый лиловой тканью гроб с красно-белой отделкой.

– Губа не дура, – вздохнула Рита, – кардинальские цвета.

И, обернувшись к Зине:

– Набери Алёну, что скажет.

Алёна сразу выделила из всех собравшихся в больнице утром женщину с карими глазами и короткой стрижкой. Лицо болезненно бледное, но оттого ещё более выразительное. Возможно, в молодости она была хороша роскошной весенней красотой, а теперь казалась хрупкой. Однако просвечивал взрывной характер. Моложе Алёны, но не намного, года на четыре. Подумалось: а ведёт себя как девочка. Но почему ж – как девочка? В этом возрасте распахнутых глаз вроде бы не должно быть, а эта... Она и есть – Зина. Сестра Макса. И волосы с рыжиной, как у Макса. Алёне хотелось смотреть на Зину, и было неприятно. Встреча – вдруг, у тела отца Ефрема. Перевела взгляд в оконное стекло, чтобы не смотреть на Зину. В оконном стекле отражалось тонкое лицо женщины без возраста – лицо Алёны. Владимирская, говорил иногда Алекс. Но она слишком гладкая для Владимирской, и это знает. Но любит свою гладкость. Кто первым начал сравнивать одну внешность с другой? Чем одни карие глаза лучше или хуже других? Несправедливо, несправедливо. Сравнивать несправедливо.

– Хорошо, – сказала в трубку Алёна на Ритин вопрос по телефону Зины. То, что номер именно Зинин, сообразила, – было несложно. При случае позвонит. Надо бы с Зиной поговорить. Она даже знает, где. Может быть, вообще пригласить Зину домой. Вот так и решаются многолетние задачки.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июль 1989 г. “Этажерка” на Горького – место для меня преимущественно зимнее. Скользкое. Потому что на втором этаже, и потому что оттуда скатываешься по лестнице в два пролёта и смотришь снизу вверх, как на галерею. Кофе там подают с молоком, в гранёных стаканах. И бутерброды, обычные бутерброды. Больше не помню, чтобы там что-то было. А если было, то, скорее

всего, бублики – самая простая выпечка. Но я любила это место, и особенно зимою. Намёрзнешься на улице, заходишь, а там вокруг столиков все греются. Пили из-под полы, много. Однажды приехали туда с Максом. Он взял мне кофе. И вдруг подошёл Кьюс. Он учитель дзюдо, а сам в подчинении у одного сансэя, о котором любит рассказывать. Кьюс очень красивый. Макса раздражает, как я смотрю на Кьюса. Но ведь рыжий мой не понимает, что я не стану связываться с таким красавчиком, как Кьюс, а если бы и решила выйти за кого замуж, то это за него, потому что знаю, что рыжий меня любит. Меня сейчас только два человека по-настоящему любят: Аська и Макс. Кьюс сказал:

– Если увидите Махно, не здоровайтесь с ним. У него – платяные вши. Вчера все чистили мою хатку.

Махно уже лет пятьдесят. Бомж-художник. Красивый крепкий мужик с невыносимым запахом. Но этот запах – часть перформанса, что, кстати, неприятно – глупый, по-моему, перформанс. Говорят, его картину продали за сто тысяч долларов в Израиле, а ему самому денег не дают, потому что бомж. Но деньги лежат в банке на его имя. А пользоваться он ими может только по разрешению еврейского своего продюсера. Махно и сам еврей. Порой рассказывает о евреях такое, что уши вянут. Я не люблю ни сионизма, ни антисемитизма, хотя вроде как мне положено быть антисемиткой. Но Махно очень прикольный и заботливый. Деньги ему дают раз в месяц. Тогда он покупает еды и едет к кому-нибудь в гости. Я его вписывала, и со всеми последствиями. Пили португальский херес и ели сардины с оливками. Господи, неужели мне только это и писать: где и с кем. А вот свет в "Этажерке", плотный как молоко, водой разбавленное, им залита галерейка, на которой всегда маячат три-четыре забавных фигуры... И запах только что помытого пола. Немного хлоркой, немного посудой и мылом. Всё думала, что это за материал такой, из которого сделан пол и ступени лестницы. Топнешь ногой – гудит. Гулкий. Вроде бетон. Но с крошкой внутри, мрамор. Мне кажется очень важным запомнить этот материал, словно его больше никогда не будет. Смешно.

Макс влюбился. Её зовут Мирка. Она поёт блюзы и родом из Сербии. Худая брюнетка с огромным, но красивым носом. Глаза – влажный чернослив. Ночевала у меня несколько дней, и, как я, ничего не ест. Только воду и чай пьёт. Иногда кофе, когда Аська привезёт. Вернее, ест она после концертов, там, где играет. Её, что называется, кормят. Это очень трогательно, когда музыкантов кормят там, где они играют. Мирка говорит: на небе Бог, а на земле Россия. Да пошла она с этим своим Богом. Верующая вроде, а как с Максом, так и забывает о Боге. Нет, так нельзя. Если уж веришь, то – со всеми последствиями. Вот, например, если ты веришь и не трахаешься, а выглядишь как нормальный человек. Всё равно от тебя идёт такая вибрация, что тебя люди как будто не замечают. Не такая, как все, что-то с ней не то. Я это очень понимаю. Не все выдерживают. Потому и Аськин Толик, потому что она боится, что к ней будут – как к нелюди. А я нелюдь, я Богу верю. Хотя зачем Он мне теперь. Был принц, причастил, а теперь что – второго его визита ждать? Как второго пришествия? Я тут с Богом на диване, и мне хорошо. А этот цирк уже надоедать стал. И ногтями пора заняться. Пока могу. Скоро ведь и обстричь их трудно будет.

Был Игорь. Очень они с Миркой спелись. Решили устроить благотворительный концерт: Миркины канты. Она заботливая, нежная. Моет меня, чай наливает. Только вот с Максом не останется. А кто с ним останется, когда меня не будет... Вот ведь нашла в себе мамочку».

Дом Алекса без Алекса казался дремотным, спящим. А как ещё должно быть? Зине очень понравилось, что мало вещей. Светлые стены, светлые широкие окна с рулонами светлых же штор. Вот бы у себя такое же устроить. Устроит. Теперь видит – как надо, ориентир получен. Но этот овсяный цвет, кажется, немного скучноват. Хотя фактура интересная, деревенская, холстинка. Зина так и сказала немного настороженной Алёне:

– Хорошо, когда вещей мало.

«Вот о чём говорить с ней? О том, что я восемнадцать лет считала себя его музой и единственным близким существом? Что на самом-то деле я и не живу после смерти ребёнка? Как вампир, живу Алексом, потому что не хочу своей жизни без ребёнка? Что муза-то на самом деле она, но быть с ней он не хочет? Что она сама не понимает, чего хочет от него? Всё это так ясно, так по-

шло, что даже мило. Да и как с ней говорить, когда она – как девочка. Приехала ведь на бабскую беседу – или не понимает?»

Неестественность встречи ощущалась обеими. Алёне трудно было справиться со своим лицом, под которым ходила судорога внезапного утомления. Ну да ладно, пусть лицо будет какое есть. Зина, по пути в кухню, взглядывала на Алёну, будто чего ждала, открыто и тоже напряжённо, большими глазами. Заговорила первой, коротким жестом попросив Алёну сесть. А та вознамерилась чай делать. Зелёный пьёшь? Конечно, зелёный! Вот какое у них взаимопонимание.

– Нет, садись, посидим. Чай потом. Я сразу выговориться хочу. И думаю, что ты меня поймёшь. Нет, чушь всё это. Алекс у нас остановился впервые, когда вы ещё знакомы не были, а мне было семнадцать. Возникло что-то родственное. А потом вы встретились, и он полюбил тебя. А потом я его полюбила. И люблю. Но мне так странно это люблю говорить. Ведь был один только всплеск желания, и то только моего, от отчаяния. Алекс мне словно руку подал, по канату через реку перейти. И я была счастлива такой помощью. Мы ни разу даже не поцеловались. Цинично и пошло говорю, да?

«Точно – как девочка. Это хуже всего, что может быть. Была бы стерва – было бы понятнее и интереснее. А с этой – что взять?»

– Да нет, скорее целомудренно.

«Обидится на это целомудренно? Да не должна вроде. Она умная».

– Поняла твою шутку. Мы никого ведь не делим. И дружить с тобой не станем, это было бы унизительно для обеих.

«Умеет уколоть. Хуже всего – что ненарочно. Таких людей надо бояться, они непонятно чем защищены».

– Унизительно! Впервые слышу такое слово. Но мне нравится. Ладно, давай тему прикроем. Слишком дорого всё досталось и обходится, нам обеим. Вот я на тебя посмотрела. Ты хорошо сделала, что высохла и подстриглась. Я так не смогла – выйти из себя, переродиться. Фото могу тебе показать – что восемнадцать лет назад, что сейчас.

– Красавица!

– Да уж.

И Алёна повернулась к шкафу: достать чашки, отгородившись от оживлённого Зининого возражения. Разница в два месяца, а расстояние – в целую жизнь. В конце мая Алекс познакомился с Зиной и Максом, а в июле – с ней, с Алёной.

Потом пили чай, выясняли план действий относительно похорон отца Ефрема, а потом Зина ушла. Алёна, заперев дверь за гостьей, пошла в ванную: к зеркалу. Оттуда смотрело всё то же строгое лицо с крепеньким розовым подбородком. Лёгкая задумчивость, морщин почти нет. Вернулась в кухню почти веселой. Однако над раковиной, когда мыла чашки, остановилась, и даже воду выключила. Перед глазами возникла давняя картинка.

Тогда они только познакомились. Алекс ухаживал, повёл в кафе. Кафе находилось недалеко от Арбата, в переулке. Кроме них, в кафе оказалось трое или четверо знакомых и три или четыре девицы. Алекс только что отыграл на Арбате свою обычную программу. Сбор оказался удачным. Алекс намеревался поесть шашлыка и покормить народ. Девицы в момент появления Алекса и Алёны веселились, допивая пиво. Летняя территория кафе огорожена была небольшой металлической оградкой. И в неё вдруг зашла довольно высокая герла, темноволосая, со лбом в мимических морщинах и странно запавшими большими глазами. Алёна поначалу ничего особенного в ней не заметила. Герла здоровалась со всеми, и все здоровались с ней. Но потом Алёна вдруг поняла, что возле этой герлы будто всё летало. И эта длинная юбка в цветах, с разрезом едва не до бедра, и голубая с кружевом рубашка, и какие-то нелепые феньки, и уставшие непонятно отчего волосы, густые и когда-то прекрасные. А так же оградка, стулья и люди. Все приобретало неустойчивость, иллюзорность. В герле было что-то очень знакомое, что Алёна видела у пьющих или торчащих системных девиц. Но все же что-то не то. Алёна даже не заметила, а почувствовала, как Алекс на-

прягся. Словно и он знал эту герлу (неудивительно, что знал), но что-то между ними было. И – недаром актриса – сама встала и подошла к ней, предварительно налив в стакан белого вина:

– Ну что ты всё ходишь. Садись, выпьем.

Герла подняла глаза, странно светлые, но, возможно, только из-за солнца, идущего прямо ей в лицо:

– Спасибо. Нет, а то просто упаду.

Тут в кафе вошли Аська и Толик, которых Алёна знала по театральным делам, особенно Толика. Аська бросилась к герле:

– Ты что, одна сюда приехала?

Та покачнулась, как-то странно, словно ветром шатнуло от резкого Аськиного движения. Будто спала на ходу. Налетела плечом на стену и опустилась на оградку, осторожно, как будто и в самом деле боялась упасть.

– Нет, Кьюс привёз. Он на Арбате.

И улыбнулась. От этой улыбки Алёна вдруг почувствовала себя последней сволочью, и ей стало очень неприятно. Спросила:

– Алекс, что за герла?

– Алина, – просто ответил он, – Её зовут Алина. Ленка. Вахтёром в типографии работала.

– Наркоманка?

– Да нет. Как все.

Больше Алёна спрашивать не стала. Алёна-Алина. Вот ведь мука-то мученическая.

В заключении о смерти отца Ефрема было написано: ураганный отёк лёгких и острая сердечная недостаточность. Однако врач, выдавший заключение, сказал:

– В общем, у него гепатит це был. Ничего не понимаю, но точно был.

9.

Толик узнал это темноглазое приятное лицо: Руслан. Он совсем не изменился за двадцать лет, да и странно было бы, если бы Руслан изменился. Но его появление в этой новой стране, в предгрозовой сумрак, в ожидании не то новой целины, не то новой войны казалось совсем нереальным. И вдобавок на Рижской, где переулки и домики были Толику знакомы, как Маринино тело. Руслан сосредоточенно прошёл к выходу, впереди Толика. Невысокий, в джинсовке, видимо, родной, с небольшой сумкой. И – скрылся. Толик его догонять не стал. Но то, что это Руслан, не сомневался. И такое бывает. Надо бы сказать Алексу. Кажется, ещё сохранился его телефон.

Митина квартира – вот она, во двор. Третий подъезд, третий этаж. Тридцать пять тысяч в месяц, вместе с коммунальными, и это недорого. В квартире наверняка теперь Аська, а этого бы не нужно, потому что Толику нужен именно Митя. Однако всё оказалось не совсем так, как Толик предполагал. К подъезду с другой стороны дома шли Аська и невысокая черноволосая девушка, несли две небольшие сумки.

– Привет, – Аська заулыбалась. – Ждали. Вот Катя.

– А Мити нет пока, он на репе, – сообщила Катя.

– Как?

– На репетиции. Звонил, скоро будет.

В подъезде пахло той особенной сыростью, которой уже очень скоро в Москве не будет. Это был один из запахов канувшего в небытие мира, который Толику нравился, но возвращать который он не хотел. И этот лифт с сеткой, возможно, один из последних – с сеткой. Квартира, он уже знал, вылизанная ремонтом, не очень дорогим, но под долгую сдачу. Техника элементарная, но работает. Что ещё нужно. Женщины разобрали сумки, посовещались насчёт салата и разошлись по углам. Аська впилась в свой нетбук: дописывать какую-то рецензию, а Катя что-то мурлыкала на кухне. Не то по телефону, не то просто так. Толик походил по комнате и вдруг замер: на диване увидел книжку стихов. Этих книжек со стихами теперь было целое море, но его привлекло имя. Этого поэта он знал. Иннокентий Герик. Кеша. И ведь издано в каком модном издательстве!

– Ася, оторвись на секунду, спрошу.

– Да?

– А что, Кеша теперь – актуальный поэт? В его-то годы.

– А ты думал. Недавно даже поэтический вечер был на этой, как её... Гуманитарной Веранде.

– Ни за чем следить не успеваю!

– То-то.

Толик открыл книжку. Стихи оказались ломаные, вязкие, но настоящие. Боль, отчаяние и любовь. Вроде бы игра – но так всерьёз. Нет, эта книга – чистая случайность. Никто не поймёт особенности данного страдания. Толику понятно, потому что – сам такой. И ещё десяти-пятнадцати на сундук мертвеца понятно будет. И всё.

– Как он, не знаешь?

Аська подняла голову, помолчала и ответила, будто сцедив что-то:

– Я не очень в курсе. Говорят, живёт один в родительской квартире. Дети его почти не навещают. Жена, кажется, тоже.

– Пьёт?

– А ты думал.

Толику отчего-то очень живо представилось, как Кеша смотрит в окно и говорит: «Здравствуй, большой и очень здоровый мир, который нас всех очень скоро съест и выплюнет. Но мы ведь как вишни, у каждого из нас есть косточка, которой вполне можно подавиться. Даже такому чудовищу, как ты. Что важно – быть женщиной печали и не расслабляться, когда тебя насилуют, чтобы не получать удовольствия. Так называемая психологическая травма будет и с удовольствием, а вот без удовольствия появится нечто вроде пафоса победы. И это хорошо, это достойно воспевания. Я не люблю пьяный бред, но пьяный бред – это как чай от запора. И проклятое это извращённое здоровье».

Макс немного стыдился набежавшей за годы полноты. Он был по-девчоночьи придирчив к своей внешности, и никак это качество с годами не уходило. Однако сумел создать видимость безразличия к своему внешнему виду. Слабая, однако, защита. Даже Рита знала, что это – только игра с самим собой. Любой сказал бы, что Макс даже на работе и даже в рабочей одежде выглядит стильно. Однако годы принесли смирение. Брюки стали на несколько размеров больше, хотя покупались в тех же хитрых магазинах, что и раньше. Если магазин закрывали, Макс начинал поиски нового равноценного магазина, и всегда находил. На джинсы у него было чутьё. Так же, как и на секонд-хенды армейской одежды.

Митя натягивал чехол на свою любимицу-гитару, а Макс невольно представил себе Илюху, только Митиного возраста. Вот Илюха точно на гитаре играть не станет. Он будет оружие проектировать. Жёсткий будет парнишка, уже сейчас ясно, в отца. А вот Митя – мягкий, хотя и с заскоками, привязчивый. Вон какой у него аккуратный чехол. И гитара блестит. И майка свежая, а как ему идёт. Они хороши, эти новые люди. Хороши их лица и фигуры, их небрежная яркая одежда; Макс такую носил бы. Так что взгляд Макса на Митю был почти восхищённый. Макс уловил двусмысленность своего восторга, но и посмеялся: ну да, проснулся во мне на старости педофил. Илюха через несколько лет станет таким же, как Митя: высоким, ужасно самостоятельным, и вот тут-то придётся Максу выслушать, кто он на самом деле.

Митя стоил даже громкого восхищения. На фоне крашеных кирпичных стен подвала он казался ожившей картинкой. За последний год юношеская худоба ушла, появилась стать. В лице Мити было не много от Марины, но было много женственного: мягкий лоб, узкий нос и красиво вырезанные глаза. Небольшое сходство с Мариной вынимало из сердца Толика самую дикую ярость, а Митя обладал необыкновенной способностью вывести человека из себя. Что, по рассказам Марины, было свойственно его отцу, который иногда возникал на горизонте. Но то, что в Марине казалось неуместным (а для Толика – прекрасным), – в Мите было даже утончённым. Катя, когда хотела подольститься к Мите, говорила: «Вот сейчас ты похож на Сида Барретта». Митя не

был кокеткой, соглашался, не набивая цены (да что ты, нет) и просьбу Кати исполнял. Тем более что отдалённое сходство с Барреттом действительно было. И Макс это сходство тоже заметил.

«Возможно, затея не провалится. Уже то хорошо, что Митя так доволен собой и видит себя в этом проекте. Минус, конечно, что до дневников Алины ему особенного дела нет. Но я, может быть, ошибаюсь. Митя сделал несколько полезных замечаний, когда подбирали партию баса, и эти замечания показали, что текст он почувствовал. У него сложная задача: лидер и басист. Две гитары, хотя он предпочёл бы только бас. И всё же – хорошо, что он не очень рефлексирующий. Хотя если поторчит ещё несколько времени, засомневается. Про нынешние торчалки мне мало что известно, но всё равно: дело это серьёзное».

Митю немного подламывало. И он прикидывал, есть ли у Кати хотя бы травка. К ночи надеялся найти нечто более существенное. Макс угадывал по немного напряжённому взгляду, по движениям, что Мите нужен допинг. Как мало, в сущности, изменился мир, и как сильно изменились люди! Допинг так же ищут, долго и хлопотливо, хотя, конечно, вариантов больше. Но как сказать: вряд ли современный молодой человек, вот Митя, например, станет варить джеф или мульку. Принимают, как и тогда – все вместе. Только вот эти все вместе очень отличаются от тех котят вокруг кастрюли черняшки, которых помнил Макс. Не особенно-то котят, если вспомнить, что системные наркоманы были всегда тесно связаны с уголовниками. Однако эти, новые – какие самостоятельные. Почти все – при своих деньгах. Трудятся. Да, это не тысяча девятьсот семьдесят пятый, и Макс – молодой специалист. Денег нет, вышел утром к метро:

– Мужик, не выручишь двадцатью копейками?

– На. Иди работай, чем попрошайничать.

– Спасибо. Пусть конь работает, он железный.

Да, эти покрепче будут. И давление на них гораздо более сильное: работы нет, денег нет, общество почти виртуальное.

В последние дни к Максу вернулась лёгкость в словах, которой он уже давно не чувствовал. Это радовало. Однако новое словесное изобретение его несколько тревожило.

– Я люблю Гоголя. Недавно перечитывал. Он поразительно точно описал русские архетипы. Например, унтер-офицерская вдова.

– Гоголя? – длинно улыбнулся Митя. Он был рад отвлекающему трёпу. Может, ничего и не понадобится, а плохое самочувствие заболтается. – Гоголь крут!

– Вот, – Макс поправил очки, – синдром унтер-офицерской вдовы. Это удивительно глубоко и верно.

– Это которая сама себя высекла, из «Ревизора»?

– Да! Синдром унтер-офицерской вдовы. Наблюдаю и вижу, что есть люди (прежде всего, извини, политики), которые ведут себя, как унтер-офицерская вдова. Я их называю – мужики-самосеки. Они готовы сами себя сечь! И они будут себя сечь!

Митя рассмеялся почти счастливо и даже приобнял чехол с гитарой.

– Круто!

– Однако этот термин: самосеки – на телевидении и радио, а так же в так называемых органах печати невозможен. Народ простой, может и в суд подать за пропаганду половых извращений. Самосеки! Как звучит.

Максу нравилась его шутка, хотя, конечно, на его вкус была плоской и двусмысленной. Но что тут поделать, человек вообще довольно плосок.

– Мужики-самосеки! – Митя явно переменил настроение. – Это повеселее бдсм. Это тема!

Толик, услышав смутно знакомое гоготание в прихожей, насторожился. Макса он никак не ожидал увидеть. Этот человек всегда был где-то на горизонте, как язык пламени далёкого пожара. И вот теперь, после встречи с Русланом (односторонней, но всё же встречи) этот пожар оказался совсем рядом. И уж совсем странно было то, что Митя вошёл, сияя улыбкой, хотя и несколько бледный, что говорило о наркотическом подголадывании. За Митей, свитой, вошли Макс, Аська

и Катя, с которой Митя недвумысленно переглянулся. Значит, всё уже есть и нечто состоится. Времени и в самом деле нет. Всё – как двадцать лет назад.

Макс энергично поздоровался, сделав серьёзно-забавную мину, которая никак не шла к его тяжёлой рабочей лапе. Руке Толика стало немного больно от такого трудового рукопожатия. Макс тут же заметил книгу Герика, что-то сказал о том, что он стихи этого поэта знает, и уселся в углу дивана. Будто выключился ненадолго. Аська, Митя и Кэт ушли на кухню. А Макс, выждав время, спросил Толика. Вежливо, но настойчиво:

– А ведь именно вы снимали в восемьдесят девятом... ну там.

Толик этого вопроса ожидал.

– Давай уж на ты. Да, снимал и хотел тогда сделать фильм о русских хиппи. Но сам же помнишь. Тогда много чего было. «Йа-Хха», «Исповедь» с Гуру. Учитель с «Роком». «Игла» с Цоем. «Асса». Много всего было. Я тогда хотел быть неповторимым, но, посмотрев материал, понял, что не смогу. Торчки, гонево, флэты, кафе. Тогда казалось – ничего особенного. Да и сейчас. Ничего особенного. Один мой знакомый, олда, журналист и писатель, внедряет идею, что хиппизм не ушёл, а только растворился в городской жизни.

– Пол, что ли? – Макс совсем отложил книгу.

Пол – Паша Шмидт, действительно довольно известный журналист. Учился, как выяснилось, с Максом на одном курсе, а потом поступал во ВГИК, где и познакомился с Толиком, но из ВГИКа ушёл в журналистику.

– Пол, – Толик вздохнул: конечно, круг должен был замкнуться. Вот и общие знакомые нашлись, – Пол немного ностальгист. А я не люблю реанимацию.

– Однако плёнки ты держишь?

– Ну да, – Толик пытался понять, к чему такой разговор. Макс напоминал прожектёра, у которого всегда полно идей, но ни одну он осуществить не может.

– И в цифру, наверно, перевёл?

– Да, пятьдесят гигов, – машинально ответил Толик.

– А нет ли там...?

Только не это. Перед глазами возник пару часов назад увиденный в метро Руслан, а потом сцена с тетрадками и книгой для записи кулинарных рецептов, на вечеринке у Лизы. Русланова речь о значении культуры русских хиппи и его же речь о ненависти к совкам. И ненависть к этой самой девушке, которую он сравнил тогда с Ульрикой Майнхоф. Нет, не надо. На плёнке, той, июньской, снятой на Гоголях, перед рассветом, были Аська, ещё молодая, боттичеллиевская. И другое лицо, улыбающееся в кадр сонными глазами, будто унижено, будто просила хлеба. Этой Алины всего-то было – как она бессильно опустилась на косо стоящую синюю скамью, потом легла, будто не было сил сидеть, и вдруг подняла ногу с идеально вытянутым носком и так же струнко вытянутую руку. Это был жест всего тела – жест полёта, жест беспримесного счастья и радости. А ведь она совсем одна, совсем-совсем одна... Или нет?

Аська не вошла, а (как показалось Толику) ворвалась. Вихорьком, небольшим смерчем. Будто что услышала. И посмотрела на Макса. Рыжий к рыжему ходил. Толик знал, что они очень хорошо знакомы, но встречаются случайно и редко. Хотя как сказать.

– Макс, ты ведь не вегетарианец? А то тут молодые...

– Среда; я молока и мяса сегодня не ем, – просто ответил Макс.

– Постишься что ли?

– Сказал – не ем, – беззлобно.

– Ну и хорошо. Салат с креветкой. Идите, готова еда. Толик, тебе кофе сделала.

Вот и конец. Толик в который раз отметил про себя, что в такие моменты Марина куда-то девается, и вернуть её в себя потом довольно трудно. Хотя это и повышает цену Марины: служение, усилия. Толик любил свои усилия, потраченные на завоевание Марины. Ему казалось, что он завоёвывает Марину каждый день, и думать не хотел, что это не так. Даже если это не так (а точно было не так, не завоёвывал), ему нравилось, что он думает, что завоёвывает. Значит,

действительно завоёвывает. У Марины на этот счёт было другое мнение, но Толик его успешно игнорировал. А теперь – нечто вроде отдыха и блаженного забытья. Дом, пусть съёмный, Митя с героином, Аська кофе готовит... И всё на своих местах. Даже Макс не мешает, он удивительно уютно сидит с книгой Кеши на диване. И ничего Толику больше не надо. Вот только тот фильм покоя не даёт. Но так и должно быть.

Но стоп. В сегодняшнем сейшене была странная складка. Макс рассказал о смерти отца Ефрема, Пятницы, о котором Толик слышал от Руслана когда-то. Тоже лет двадцать назад. Рассказ получился вскользь, а может быть, Толик думал о своём, и значения сообщению Макса не придал. И, видимо, зря.

– В высшей степени странный случай. Но эту странность я назвал бы чудесной, – услышал Толик, войдя на кухню. Его одновременно трогала до слёз и раздражала эта обывательски-нонконформистская обстановка. Аська и Катя со шприцами, Митя с блаженной улыбкой, и тут же на столе салат с креветкой. И тут же непьющий и неторчащий Макс, который вроде бы не замечает, что вокруг творится. К салату пока никто не притронулся.

– Зина сказала, что врач, по секрету (а я, как знаете, люблю выбалтывать секреты) поведал, что умер отец Ефрем от гепатита це.

Митя, Кэт и Аська, как в мультипликационном фильме, сначала посмотрели на Макса, а потом переглянулись. Вот что значит общая для всех присутствующих мысль.

Покушали мирно и молча. А потом началось то, ради чего большинство людей и собрались в этой квартире. Понятно, что Кэт, Аська и Митя немного раскумарились перед ужином. Но нужно же было принять, и принять хорошо. Толик, ожидая своей очереди (и тут очередь), наблюдал за ловкими и даже приятными движениями Кэт. Как она кипятит, как выбирает, как делит. Как изысканно опустилась на коленки перед Митей и вмазала его, прижав вену резинкой для волос, как потом преданно посмотрела ему в лицо: всё ли в порядке? Аська, как и прежде, никого не вмазывала, ждала Катю. Макс продолжал читать сборник Герика в комнате и только изредка авторитетно покашливал.

– Чистый, подозрительно чистый, – сказал Митя, – вроде бы и не чувствуешь, но уделан я на самом деле по уши. Так нельзя.

– Нельзя, – согласилась Аська.

– Блевать будешь? – насторожилась Кэт.

– В том-то и дело, что пока не мутит.

Но только сказал, тут же поднёс руку к своей красивой шее и стал поглаживать.

– Нормально.

– Смотри, – сказала Аська и повела Митю в ванную.

Толик даже и не заметил, как Кэт поставила саму себя. На ней была майка с рукавом-половинкой, не очень шла, но подчеркивала игривый характер. Вмазавшись, Кэт положила голову Мите на колени (он уже вернулся из ванной), немного подремала и потом повернулась к Толику – вмазать?

– Нет, я сам.

Взял эту самую резинку для волос, быстро нашёл нужную дорогу и вмазался. Раствор действительно был чистым, как будто и не было ничего. И только потом Толик понял, что накрыло не на шутку. Да, после такого очень подумаешь, вмазываться ли ещё, или уж бросить совсем. Было сладко и страшно, а ассоциации возникали самые неприличные.

Аська в комнате о чём-то шепталась с Максом. Кэт и Митя ушли спать, кроме шуток: Мите вставать в семь, репетиция нового джазового номера в клубе. Толик некоторое время посидел на кухне, подогрел недопитый кофе. Кофе настоялся, стал совсем крепким, но это было даже хорошо. Из комнаты донеслось:

– Меня интересует диск, аудио. Я могу опираться только на то, что есть. Я не видел Толиковых записей. Сколько ведь лет прошло, а я о них не то знал, не то не знал. А вот с аудиозаписью очень вероятно, что получится, и это то, что пока мне нужно. Это цель в потоке. Потом, возможно, воз-

никнет и другая цель. У Алекса вон канал хороший в ютубе, и он его холит и лелеет. Можно там выложить записи. И даже клипы сделать.

– Всё же мне кажется не вполне гуманной эта идея: сделать из когда-то жившего человека артефакт. Что за игра с покойником? И насколько это интересно вне круга?

– Вот об этом думать как раз не надо. Будет интересно, потому что будет великолепная музыка. Уверен, что будет. Уже слышал, как они играют. Глухой – местный божок в звукозаписи. У него на сайте висит отзыв Алана Парсонса. И они вместе звукарили пару раз. Это не просто работа с дневниками покойницы, это искусство.

Возникла пауза. Вдруг Аська заговорила негромко, чуть расслабленной речью; у неё язык немного заплетается под кайфом.

– И всё-таки, Макс, я не понимаю. Ты ведь очень её любил. И она бы вышла за тебя замуж. Она мне так и сказала: если замуж, то только за Макса, потому что он меня любит. Другое дело, что она не хотела замуж, а хотела умереть. Вместо этого мучилась два месяца. Не понимаю, чего ты ждал?

Толику вдруг ясно представились тихие, рыжеватые морщины на Максовом лице. Он словно увидел, как тот поблек. Но Макс ответил довольно твёрдо:

– Человек не сундук. Его нельзя переставить с места на место. Алина не хотела замуж. Потому я и не предлагал.

Переступив через Аськину паузу, договорил:

– Ты думала, она нарочно не ела и ждала, что умрёт? Это она так считала. На самом деле у неё был тот же самый гепатит це. От него и скончалась.

Толика укололо это «скончалась». Слово рисовало совсем другого Макса, не куражливого, а серьёзного, даже по-детски серьёзного, зануду.

– Да ты-то откуда знаешь? – зашипела Аська.

Это уже стойка. Всё-таки Аська невыносима. И почему все вещи в какой-то момент стали так тяжелы? Пора вмешаться. Толик, однако, побаивался Аськиного узкого рта и внезапно потемневших глаз. Он вошёл в комнату.

– Знаю, – ответил Макс, – потому что все симптомы её недомогания были узнаваемы. И потом, она вмазывалась не раз с Махно, а у Махно (всем было известно) гепатит. У кого его не было тогда. У тебя вон наверняка тоже есть. Но про Махно было известно, а у них с Алиной что-то было. Махно и сейчас жив, ему уж за семьдесят.

Аська, видимо, хотела сказать что-то резкое, но, увидев Толика, промолчала.

– Ты, Макс, так и скажи, что тебе нужны мои пятьдесят мегов и разрешение делать с ними всё, что заблагорассудится. Я не возражаю. Но, видишь ли, я сам ещё не решил, как поступить с этим материалом. А я всё же его отснял. И потом, тебе должно быть известно, какой магией обладает никому не нужный архив никому не нужного человека. Он есть не просит, но от него дышать невозможно. В печени он у меня, и Алина твоя в печени. И будет там сидеть, пока вдруг не появится кто-то, кто займётся созданием культа твоей героини. Но такой вопрос: ты представляешь культ Алины? Культ бесконечных умерших, вопиющих к нам день и ночь?

– Это правда, – Макс ответил довольно мирно, – покойников много. И я бы не сказал, что Алина так уж подходит на роль культовой фигуры. Но тут другое.

– Кстати, – вдруг вырвалось у Толика, – я сегодня Руслана видел. В метро. Деловой такой, прошёл – не заметил.

Глаза Макса вдруг вспыхнули давним синим пламенем.

– Это хорошо, это очень хорошо. Руслик, значит, здесь.

И – через паузу – задумчиво:

– Всё идёт так, как должно. Но какой странный, какой медленный пульс.

И стал собираться домой, погружённый в свои мысли. После того, как Макс ушёл, Аська попросила Толика:

– Ты всё же покажи ему эти съёмки. Видишь, какую он суету поднял.

Толик и сам думал: надо показать.

Марина была очень расстроена. Но Толика на этот раз её расстройство почти не задевало. Ну, бывает.

– Вместо того чтобы стать его старшим другом, ты с ним вмазываешься.

А то она не догадывалась, что Митя торчит, и даже иногда вместе с Толиком. Вот и сейчас. Ей никто ничего не говорил, одна интуиция. Но негоже вину с одного человека перекладывать на другого. Грязненько. Торчит-то Митя, а Толик виноват. Вот чему Марину офис научил. Лучше, чем любая другая организация научила бы. И не в маминой любви тут дело, Толик про мамину любовь всё знает. Много лет видит, как Марина Митю любит. Нет, в такие минуты в ней именно защитный механизм менеджера включается. Вот что ты будешь делать. Спать с ней после таких разговоров – как с банкоматом. Но в этом есть шарм. У него никогда не было женщины-банкомата. Ну, до Марины, конечно.

– Да, Марина, у тебя прекрасная интуиция. Ты знаешь меня почти двадцать лет, восемнадцать мы живём практически под одной крышей. Я вмазывался всегда. Но Митю этому не учил.

Толиково спокойствие было связано с тем, что в данный момент его больше волновала повторная оцифровка и сжатие видеофайла, который, зараза, всё же очень большой. Марина выглядела прекрасно, как всегда, и Толик уже подумывал, когда бы её поцеловать, чтобы в койку. Но Марина пока в койку не хотела.

– Он мой сын. Тебе не понять, что значит – мой сын. Я болела им. Мы вместе с ним и с тобой пережили смерть девочки. Я считала тебя родным человеком.

– Милая, я он и есть. Ты как всегда зришь в корень.

И всё же, как это странно. Бомж-художник, у которого теперь дом с террасой на море в Яффе, больной гепатитом. И девушка, вдвое моложе него, которой уже нет, и у которой в принципе не могло быть дома с террасой в Яффе.

– Марина, ты хочешь дом с террасой на море, в Яффе?

– Я не поняла...

Всё-таки есть в ней что-то неприятное. Но возможно, ему только кажется, что неприятное. Сутулая спина, подгрудная жировая складка. Впрочем, ей по возрасту полагается. Но вот это... Так кассирши говорят: не поняла.

– Дорогая, не надо понимать, иди ко мне.

Файл придётся отложить. Но – стоп – удача. Оцифрован полностью. Или нет? Потом прогонит.

Уверенный и всегда желанный жест Марины вызвал волну приязни ко всему окружающему и почти счастья. Не забытья, как в Митиной квартире, а счастья. Обычного бытового счастья, беспечного и немного расслабленного. Вроде как в долгом пути привал: всё готово, ни о чём не надо думать. Толик любил это чувство и очень его ценил. Но тут вдруг из фильма, наваждением, выглянула голова Алины с косыми от усталости глазами. От усталости люди пьянеют сильнее, чем от водки и наркотиков. Алина смотрела на самом-то деле в объектив, а не на него. Лицо её было невыносимым. Почти неприятным, с идиотической морщиной на лбу. Вот ведь привязалась ведьма, и Аська – такая же. Марина повторила жест. Когда-то Толик обожал этот жест. Но теперь всё было не то. Всё стало слишком дорого и доступно. А если дорого, то и не доступно. И этот Маринин жест – издевательство. Он не может его оплатить, не может! И он не хочет, чтобы его вот так просто покупали, как автомобиль. Он двадцать лет не хочет, чтобы его покупали. А рука сама собой взлетела, схватила всей пятернёй Марину за нос, обхватив пол-лица, так что это лицо оказалось как бы в маске. И нервный голос вскрикнул:

– Как же ты мне надоела, если б ты знала. Дрянь офисная. Полжизни на тебя ушло, и толку никакого.

– Я, я, я, – вырвалось у Марины.

– Да ты, ты. Куда ж я денусь, – сплюнул на покрывало Толик и ушёл на кухню курить.

Когда Марина вошла в кухню с его сумкой, обернулся, посмотрел на её грозное лицо, в котором ходили длинные ноздри и сказал:

– Я наркоман. Ты что, только об этом узнала? Двадцать лет живём вместе. Не дури, пошли трахаться.

Вырвал из Марининых рук сумку, бросил на диванчик и увёл женщину в спальню. Ему стало легко, как давно не было. Какие-то вещи наконец встали на места.

...Но ведь он не лгал ей, или почти не лгал. И сколько коварства в этом почти. Теперь в главном не лжёт.

...Вот ведь кто на самом деле добрая и несчастная женщина.

...И больше не надо было производить сомнительные процедуры по разъяснению себе, что такие как Аська и Алина – сами собой разумеются.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Июль-август 1989 г. Очень жду, когда засну. Только сон и утешает. Потому что всё очень трудно. Прежде всего – мыться, а как мне не мыться сейчас. Я писаюсь. Вот такие подробности. Махно рассказал об одной поэтессе, которая поведала ему, что когда будет старой и будет умирать, напишет поэму о моче. Весь мой дневник – это и есть поэма о моче. Но я бы не стала писать поэму о моче в стихах, ведь в этом нет никакой новизны.

Когда встаёшь, тело кажется очень тяжёлым, и его отбрасывает назад и вниз, влево. Колени, локти и запястья онемели, кажутся чужими. Но надо заставить их двигаться. Тогда можно устоять на ногах, не хватаясь за спинку и не поднимаясь снова, пошагово, от подлокотника к спинке, перебирая руками, как букашка лапами.

Так вот, о снах. Наверно мне так интересно спать, потому что я не смотрю кино. Если бы смотрела кино, было бы не интересно. Всё же между фильмами и снами есть сходство. А так – откуда что берётся. И эти два разные пространства, и интерьеры, и дорога. Очень часто вижу зиму. Наверно, потому что мёрзну. Постоянно мёрзну. А на улице вроде бы выше тридцати. И ещё эти тополихи с пухом, который по всей квартире и в носу. Когда идёт дождь, намного легче. Всё, на сегодня хватит писаний.

А если просто лежать, есть, что приносят, толстеть. Даже читать особенно не надо. Может, ещё раз священник приедет. Хорошая была бы жизнь. Но зубы всё равно кажутся прозрачными и запах изо рта сильный. Интересно, это всегда так от нескольких месяцев плохой пищи или только у меня? Или всё же есть конкретная болезнь, о которой я не подозреваю. Однако заниматься собой уже нет сил. Только мыться».

10.

Похороны отца Ефрема оказались трогательными и вместе нелепыми. Священники старательно пели и кадили, все молодые, статные. Откуда-то шёл сильный запах свежесваренной гречневой каши, что смущало собравшихся людей. А людей было много. Матушка Вера с Анной не ожидали, что отца Ефрема так помнят и ценят. Были родители детей, которых он крестил в реанимации, были люди, которые у него исповедовались и считали себя его духовными чадами.

Марина с Митей и Кэт приехали на машине, заполненной свежими цветами. Всю дорогу на кладбище Митя слушал, что мать страдает за грехи своих детей, и что надо каяться. Митя всему этому верил. Но Марина, как всегда, была невыносима. На этот раз невыносимость немного смягчалась мыслями об отце Ефреме. Митя знал, что отец Ефрем умер, записав уникальную партию баса. Удивительно! Какие замечательные бывают батюшки. Интересно, есть ли ещё такие.

Алёна держала под руку Зину, бледную и очень молчаливую, совсем не похожую на ту молодую женщину, которая недавно сидела у неё на кухне и оживлённо, с восторженным придыханием говорила. Никакого придыхания, конечно, не было. Алёна так и подумала, что Зина – открытая, разговорчивая. А тут – как ожившая статуя. Медленная, чуть сонная и неприятно спокойная. Однако Зинина рука была горячей.

– Температурит она, что ли.

Температура у Зины действительно была, но это была не простуда, а одно из первых проявлений той коварной болезни, от которой Зине уйти так и не удалось. Тёмное, мутноватое пламя бродило по суставам, и от него неприятно ныли зубы. Мышцы подрагивали, иногда сводило икры. Так что если вслушаться во все эти мелочи, создавалось ощущение ожившего мертвеца. Нечто величественное. Зине всё это было не в новинку, но обезболивающее ещё не подействовало, и потому она довольно остро переживала волны боли, то находившие, то отступавшие. Вот бы дома, с кошкой на ногах, в постельке. И спать.

Алекс старался не смотреть на Зину с Алёной. Видеть их вместе, и под руку, было почти унизительно для него. Что он не смог выбрать из двух, кто ему ближе. Хотя, конечно, вопрос праздный: с Алёной он живёт, а Зина – это Зина. Алексу одному из четырёх предстояло нести гроб и закапывать могилу. Макс и Толик стояли тут же.

Макс как Макс, будто и не случилось ничего. Риту Максова бодрость немного настораживала. После череды бед человек вообще вряд ли что понимает, а отец Ефрем для Макса много значил. Как отца потерять, во второй раз. Однако спросила:

– Максим, вот кашей пахнет. Живой такой запах. Очень живой.

– Хорошо, Илюхи нет, – отозвался Макс, – а то бы сказал про кашу. Это, Рита, уже не наша трапеза. А гречка – еда. Ну, сварят, ну, съедят. Мы тоже можем дома гречку сварить, если запах так нравится. А здесь – может быть, это знак такой. Только я про знаки ничего не знаю.

Всегда он так: не знаю.

Толик был мрачен и сосредоточен. Четвёртым был Игорь, который и руководил всем.

Совершенно неожиданно рядом с Толиком возник Кеша, которого никто отчего-то не замечал до этого момента. Возможно потому, что его давно никто не видел. Вид у Кеши был как у странника, живущего при монастыре. Борода, еле приглаженная, какая-то спортивная тёмная шапочка, тёмная, давно нестиранная курточка и дешёвые грузные ботинки.

– Привет, – раздалось сразу и скомкано. Скупо обнялись.

Погода слезливо просила солнца, и солнце, наконец, выглянуло. Для первых чисел марта было сравнительно прохладно, ветер был по-весеннему резким. Развороченная земля оказалась льдисто-седой, хрупкой, так что заступ порой отчаянно звякал. Красивый гроб опустили, на него полетели комья и хвойные ветви. Вскоре рыжеватая могила стала вровень с почвой. Марина, отойдя в сторону, что-то уверенно разъясняла рабочим насчёт креста и ограды.

– Как красиво, – неожиданно сказала Кэт, глядя на ворох цветов, – и как хорошо, что венков нет. Очень не люблю эти венки.

– Говорят, отец Ефрем не хотел венка. И матушка Вера настояла, чтобы только живые цветы, пусть самые дешёвые, – отозвался Митя.

– Да, так и надо.

Аська держалась немного в стороне, тихо, но Толик не спускал с неё глаз. Она явно плохо спала и сейчас была утомлена и очень взволнована.

Поминок делать не стали, к возмущению Марины. Её очень раздражала несистемность мероприятия. Надо было заказать такси, чтобы сначала собрать, а потом развезти всех по домам. Можно было бы найти и арендовать место. Кафе, скажем. Заказать там стол с умеренной выпивкой и закуской, всё сделать прилично. А тут – кто во что горазд. И ещё этот странный невысокий человек в спортивной шапочке, который крутился вокруг Толика и Алекса и к которому они относились как к равному. Непорядок.

– Да что ж это, по-человечески похоронить батюшку не можете!

Но Анна на это возразила:

– Блинов мы вам и так сделаем, масленица скоро. А теперь давайте лучше кафизму прочитаем. Потому – просим к нам, на кафизму.

Игорь Анну поддержал, добавив:

– Да, просим. Чай точно будет, после кафизмы. И пироги будут.

Марина знала, что Анна поёт в церковном хоре. Это было авторитетно. И потому на поминках больше не настаивала.

Разъезжались все – кто как мог. Место в Марининой машине освободилось. Толик, добиравшийся на кладбище автобусом, вместе с Максом, в утренней трудовой тесноте, смог наконец сесть на привычное переднее сидение. Кэт и Митя устроились на заднем. Алекс намеревался было взять такси, но Алёна сказала, что лучше автобус. Алекс согласился. Однако всё думал, зачем Алёна довольно долго разговаривала с Кешей, и о чём. Не скажет ведь. И тут – случилось.

Зина шла обнять-поцеловать Алёну. Она совсем было решила поехать домой. Вдруг – оступилась, рухнула на жидковатую глинистую землю, встала и заплакала. Молча, не рыдая. Вытерла слёзы и пошла дальше, к Алёне. И снова оступилась. Но не упала. Её подхватил на руки Кеша и... понёс к Марининой машине, та только рот раскрыла. Зина, конечно, в машину не села, принялась извиняться и благодарить, сделала даже пару шагов, но снова пошатнулась, и снова её поймал Кеша. А она высвободилась из его рук и почти уверенно, так и не простившись с Алёной, зашагала к выходу, скорей-скорей. Догонять её уже не было смысла. Аська метнулась вслед, но потом сникла и вернулась. Алекс, который неожиданно для себя оказался рядом, услышал, как Зина сказала Кеше, тихо, почти на ухо:

– Ты бы умер, узнав, какие она сказала последние слова. Это смешно. Но я поняла, что гармонии они не нарушили. Она же была очень гармоничной натурой.

– Слова? – встревожено переспросил Кеша. – Алина?

– Да. Она сказала: Войцех Ярузельский.

Алексу понравилось, что квартира отца Ефрема осталась в том же виде, что и перед его кончиной. Даже стол из кухни в комнату не перенесли. Только цветов больше: везде цветы. И лампады горели, как, должно быть, горели только на пасху. Алтарник и Игорь прочитали семнадцатую кафизму, с последованием, с поклонами. Затем Игорь и матушка Вера с Анной обнесли всех пирогами и чаем. Пироги были с луком и шампиньонами, а чай с сушёным шиповником. Марина довольно долго сидела с чашкой, знакомой по детским воспоминаниям, и пирогом, который казался скорее артефактом, чем угощением, не решаясь это съесть. А Кеша нахваливал:

– Хороши пироги. Матушка, можно ещё?

– Кушайте-кушайте!

Матушке явно было приятно такое внимание.

Алекс помнил что-то подобное. Грубо вязаные кружева салфеток и занавесок, согнутая спина, жидкий пучок волос и голый пол. И тоже: кушайте-кушайте! Тогда тоже было множество конфет, печенья и пирогов. Лёше казалось, что женщина с прозрачными глазами, которая обносит всех угощением, разложенным на дешёвом жостовском подносе, на котором раньше стоял электрический самовар, заглядывает каждому в лицо. Что это взгляд униженный, заискивающий: помните ли? Будете ли помнить? Но здесь и теперь голого пола не было, а были полки с книгами, грубая тканая дорожка из «ИКЕА», два неновых дивана, один напротив другого, да стол с компьютером возле балкона. Но вот это: кушайте-кушайте – было из детства. Тогда ему сказали:

– Заходи, попрощайся с ней, – и дали карамельку.

Алекс помнит, что был третий этаж. Умерла девочка, чуть старше него.

Всё из-за неё, всё из-за Алины. Вот ведь несчастье.

Внезапно рядом оказался Макс, по виду довольный, и с пирогом. Сообщил, едва ли не пережёвывая слова вместе с пирогом:

– Поступили верные сведения. Руслан в Москве. Так что мы точно его встретим.

Алекс возмутился. Но потом успокоился так же, как и возмутился. В рыло я тебе, Макс, когда-нибудь точно дам.

Алёна помогала наливать чай матушке и Анне. Даже увлекалась размеренным и деловитым ритмом трапезы. Как вдруг Анна слезливо сказала:

– Вот и оставил меня мой ангел. Ни разу ведь даже голоса не повысил. А я его просила: то сделай, это сделай. Матушка, ведь я его у тебя забирала.

В Алёне что-то ёкнуло. Матушка Вера ответила спокойно, но твёрдо и очень тихо, с глубоким волнением:

– Да, это как со святыми жить. Мне вроде и вспомнить нечего, а с ним – как при солнышке. Да что там, у Бога мёртвых нет ведь. Он и не ворчал даже никогда. А сидел со своими примочками, то играл, то писал. Бывает, и засыпал с басом. Вся злость в нём, что ли, умирала так. Конечно, это как с ребёнком жить. Может, для мужчины и не хорошо. А мне нравилось. Я ведь – то шить, то стряпать...

Матушка Вера и правда очень много готовила, и готовить любила. Однако глядя на её сухое тело, трудно было представить, что большая часть её дня проходила в окружении съестных припасов. То подавала на стол, то развозила нуждающимся.

– Вот как псалтирь ему Бог эту гитару дал, – вдруг улыбнулась Анна, – ну и Богу – хвала. Обнимемся.

Женщины ещё раз обнялись, обняли Алёну, взяли подносики и понесли в комнату новые чашки с чаем.

– Вы уж простите нас, – вздохнула матушка Вера, – Господь за то вас не оставит.

«И вспомнить-то нечего», – отозвалось у Алёны в ушах.

– Да что ж это за жизнь такая.

II.

Кеше нравилось иногда поддаться внезапной необъяснимой тревоге. Позволить себя нести течению. Ненадолго. Но тут случилось непредвиденное. С переменным напряжением тревога волновалась в нём уже несколько недель. Тревога поднимала со дня много прошлого, но уже распавшегося на философемы и образы хлама, так что было даже забавно понаблюдать за тем, как обычное утреннее приветствие вырастает до проклятия или благословения. Или, например, овощной суп открывает культурно-психологический код повара, и оттого может оказаться даже ядовитым. Всё это было глубоко и метафорично, но вот тревога никуда не девалась и сильно, хоть и сладко, ныла. Впрочем, сам виноват. Во всём сам виноват, но это особенного значения не имеет.

«Мне не понятно было, и не понятно сейчас, как можно отделять себя от мира. Слышал от людей, не намного меня моложе, странные выражения, которые даже как стихотворные метафоры меня не устраивали. Я улыбнулась миру. Или: привет, мир. У меня такие или другие отношения с миром. Что есть мир? Мир это ты. Так что я и мир – это раздвоение личности. Мир не может существовать без тебя, раз уж ты есть. И он не может принять решения об извержении вулкана или мировой войне без тебя.

У Макса некогда замечалась мною симпатия к людям Третьего Рейха. Он собирал всё, что только мог найти. Показывал мне все эти вырезки и ксероксы. При этом очень любил своего деда, красного генерала. У этого деда был старший брат, военврач, наполовину немец, как и он сам. Брат воевал в Первую мировую на стороне Германии. И вот теперь, когда нам случается встретиться, Макс нет-нет, да и заговорит о новой мировой войне. “Точечная”, “сетевая” война, так он называет её. Крови и ужаса в ней не меньше, чем в масштабных военных действиях. Но ведётся она совсем другими способами. И им нельзя дать оценку: подлые они или нет. Макс уверен, что случилась со всеми нами какая-то большая новость. И мне эта шутка ближе, чем “мир и я”. Макс понимает, что он участник новой войны. А молодые люди, говорящие о мире и себе, не вполне понимают, что они и есть заказчики и участники всего ужаса, происходящего в мире.

Мир прорастает изнутри, и он меняется, как цена на хлеб, в зависимости от того, каков ты. Мысль эта сформулирована давно, не мной, но мне симпатична и кажется очень действенной. Мир – это ты. Отношения с миром – отношения с самим собою, но только отчасти, потому что кроме тебя в мире слишком много людей, явлений и предметов. Они могут не учитывать тебя, как ты не учитываешь их. То, что они есть, и как они есть – не вызывает благоговения или проклятия... Но я растёкся. И это абхазское вино слишком хорошо, оно не заменит мне “Солнечного берега”. Однако “мир и я” – признак времени. И будь я проклят, если скажу слово: тотальная шизофрения. Или тоталитарная шизофрения, последствие тоталитарного романтизма? Интересно, как заиграло, слово на мелкой воде. Тот, тод, тотал».

Кеша сидел, обоими локтями на стол, глядя вниз, на кроны парка, а за ними не было видно ни домов, ни каких-либо других признаков города. Эта хрущёвская двушка на юге столицы казалась ему почти колыбелью. А Царицынский парк огромен. Москва вообще очень южный город. Южное лицо Москвы лучше всего заметно, когда утром, часов в пять, летом, возвращаешься из аэропорта. Сегодня утром проводил жену и дочь в Черногорию. Шёл мокрый снег, неожиданно прекратившийся в день похорон отца Ефрема, но эта мокрая чернильная темнота грела. Это было – как Зина, от которой спасения нет и не будет, потому что он так хочет, и, конечно, это уже клиника.

Любит? Конечно. В той же степени, что и холоден. Это для него ново, с женой так не было. Так не было и с той, при воспоминании о которой возгорается физиология. Он себя теряет в присутствии Зины, а этого не было никогда, и терять он себя не хочет, но Зина ему нужна. Зачем? Он не хочет объяснять. И сейчас уже – возможно, от усталости – думает иногда, что зря тогда не устроил ей сцену, не объяснился. А всё подарки, еда, трусики кружевные. А она их носила, сама ему сказала, что носила. И благодарила слепым детским поцелуем в лоб. Вот проклятье-то на самом деле. Интересно, носят ли православные кружевные трусы?

Впрочем, всё чушь. Он сегодня же позвонит Зине и объяснится. Всё равно, есть время, или нет, прошло оно или нет, уместно или нет. Это – из тех действий, для которых нет временных отрезков. И вдруг возникло эхо множественных сомнений: а ты уверен, а она поймёт...

Кеша взял телефон и набрал номер, выведанный когда-то у Макса. Она взяла трубку на втором звонке. Как будто ждала. Может быть, ждала, что Алекс позвонит? Иннокентию стало очень неуютно и холодно, как когда-то, едва только подумал про Алекса.

– Зинда?

– Ах, вот ведь. Мысли читаешь. Я о тебе тут вспомнила.

Не врёт – зачем ей. Но вспомнила-то по другому поводу!

– Макс о тебе тоже вспоминал. Он собрал людей, чтобы записать альбом, дневники Алины. И у него до тебя дело, а какое – точно не знаю.

Кеша вспыхнул, был обижен. Он звонит с чувством и в порыве, а она – про дневники.

– А тебе до меня дело есть?

Ответила мгновенно, волнуясь, но кто ж их знает...

– Конечно. В любое время.

– Тогда я приеду.

Сухо, почти со скрипом – скрепя сердце:

– Приезжай.

«Ну что ж, поговорим, – вздохнула Зина, положив трубку, – Это какая-то дурная неизбежность. Но удивительно, что я не могу сказать, для кого из нас отношения остались прежними: для него или для меня. Для кого из нас время остановилось?»

Ей очень трудно было признать, что Кеша любит её. Что очень мучительно жить много лет с этой ненужной, тяжёлой любовью, тихой и гнетущей, как могильная плита. Но, может быть, Кеша – единственный человек, которому она нужна как есть. Вот эта точка плоти и психики.

«Что он найдёт, когда приедет? Дневники, на которых я торчу, стыдливость и страх? Я даже не знаю, о чём с ним говорить».

Она хотела встать на колени и помолиться, но потому вдруг подумала, что это будет нелепо, почти кощунственно: молиться перед визитом человека, который едет к её телу. Но ведь молиться полагается всегда. И потом, что-то у Кеши было в глазах, что Зина, несмотря на плохое самочувствие, заметила. Что-то остановившееся, странно спокойное.

А он знал, что не будет того, что обычно происходило у него с женщинами, и не настраивался на это. Он ждал внимания, хотел смотреть в неё, ему было важно, как это всё происходит. Как она дышит, как ходит, как отводит глаза.

Она открыла, позволила себя поцеловать. Оказалось, они одного роста, хотя ему всегда казалось, что Зина выше. Оказалось также, что волосы у неё короткие. А он представил, что на за-

тылке схвачен простой заколкой девственный русый хвост, а волосы – на прямой пробор. Руки оказались намного более худыми, чем он помнил, и это неприятно поразило.

– Отощавшая муза. Совсем Бодлер.

– Ну да. Или Джармуш.

– Кстати, в точку. Я не люблю фильм «Мертвец».

– Да, – изумилась она, – а я...

– Я так и думал.

Потом она что-то готовила, смешивала, а он смотрел. И был разговор. Конечно, всё не о том, ненужно, и вообще не понятно, зачем он приехал. Но он знал, зачем. И видел, что ему нужно. Как она ходит, как смеётся, как дышит. Смеялась она как та Зина, смех не изменился. С дерзкой нотой, как красавица. Но она красавица и есть. Движения стали плавными и более приятными. А вот в лице появилась странная сероватая отёчность, что на контуры пока не влияло, лицо всё же было сухое, но он был слишком пристрастен.

– Как ты себя сейчас чувствуешь?

– А ты как думаешь, себя чувствуют с моим диагнозом? – почти весело ответила она.

Кеша теперь понял, что его раздражало, когда она даже просто упоминала о своей болезни. Она не может болеть, она не может прятаться за болезнь, как домохозяйка.

– Ну да, ты любишь поговорить о своём диагнозе. Это удобная позиция в жизни. Чтобы не жить нормально, чтобы тебя жалели.

Это, конечно, было хамство. И как она его воспримет? Но это была и проверка. Если Зина сделает вид, что хамства не заметила, но станет говорить с ним как мамочка, всё совсем плохо. Это значит, что она никогда не воспринимала его всерьёз. И даже этот её юный страх, который когда-то будил и поддерживал в нём надежды, – не более чем брезгливость.

– Меня и так жалеют, – ответила она. – Знаешь, один в метро пристал: ты такая красивая и такая жалкая.

Отразила. Немного ушла в сторону, но отразила. Ему оставалось только – устроить гнусненькую истерику, и всё ради того, чтобы упасть на колени и просить: прости, прости. Она, видимо, это почувствовала и продолжала:

– Болезнь это ведь как талант. Или бессмертный возлюбленный. С болезнью возникают отношения, которые иногда требуют выяснения. И тут жалость со стороны просто отвратительна. Тебе же не нравится, когда тебя жалеют...

Так и есть. Не мамочка, а сестра, и это в каком-то смысле ещё хуже. И почему она так тупа? почему они все так тупы, и он тоже. Всё пытается объяснить и даже показать ей вещи, о которых она должна бы знать и на которые должна реагировать. А ей всё – как с гуся вода. Не об Алексе же ей напоминать. Это был ад, то утро, когда Алекс шептал ей: спи, когда она сама пришла и, кажется, готова была трахаться у всех на глазах. А может быть, мещанская её сущность подсказала ей, что можно вести себя распутно, всё равно Алекс её и пальцем не тронет. Не тронет. А может, и тронет. В любом случае, виновата она.

Кеше не составило бы труда разложить вещи на то и на это. Вот ты, Зина, – даже не б..дь, а так, недоб..дь. Потому что б..дь – желанна и своего добивается, к своей выгоде. А тебя даже никто и не хочет, хоть ты сама и стелешься, и стараешься вызвать интерес. Чуть было так и не сказал, но она точно прочитала всё это в его глазах.

– А что бы я потом с Алексом делала? Ты подумал, зачем он мне нужен?

Всё равно он не мог и не желал верить, что так можно – долгие годы. Не жить, не желать, не страдать, потому что...

– Тебе никто не нужен, и никогда нужен не был! Ты всегда любила только себя!

Вот и истерика. Не дожидаясь, чтобы она хоть на какой-то момент растерялась, Кеша упал на колени:

– Прости, прости, любимая!

Зина замерла в какой-то горькой складке, ей было неприятно. Но потом попросила:

– Встань, да встань ты... Лучше расскажи...

Всё свелось к дневникам и, конечно, к Максу. А из этого пространства уже всплывали картины, одна кошмарнее другой. Аська, например, нашедшая на каком-то флэту утром в кресле машину с раствором. Раствор был вчерашний, и его в общей радости забыли. А Аська нашла.

– Поставь меня, – попросила Кешу.

– Имей в виду, что раствор не лежал не в холодильнике, и он, может быть, разложился.

– Ну и что?

– А если тряханёт?

– Разложившимся раствором?

Но Аська себя сама втрескать не умела, так что раствор, и весь, достался Кеше. Однако Аське он как-то нашёл куб, из холодильника. Найденный же Аськой раствор отнюдь не был разложившимся и вставил Кешу весьма хорошо. Боли в спине у Аськи после куба стихли. Пошла в магазин – купить кофе и творог.

– Ты кому это?

– Алине. Ты её знаешь.

Алина жила по той же ветке, едва не на конечной, дом в окружении кустов сирени. Как тут хорошо в мае, должно быть! Квартира оказалась почти пустой, только полки и диван, да коробка для одежды, в каких отправляют посылки. Непривычно. Однако было опрятно, а оконные стёкла казались только что вымытыми. Ни растений, ни животных, что на хипповом флэту странно. Алина лежала, забросив ноги на спинку дивана. Ноги были в синяках, выглядывали из обрезанных чуть выше колен плащевых брюк. Кеша чувствовал себя бодро, но утренний раствор и предыдущие употребления другого раствора сказались. Его чуть не стошнило, когда увидел эти ноги.

Длинные, как наползающие друг на друга капли, действительно стройные. Но такое было чувство, что по ним прошлась война, по этим ногам. Одно колено было круглым и плотным, как яблочко. Другое казалось распухшим, бесформенным и, наверно, болело. Но главное – кожа. Такая бывает только на отечественных курах. Синюшная, шелушащаяся, поросшая волосами, с венами наружу. Эти вены выглядывали то тут, то там, из-под синяков и волос. То зеленоватыми выпуклыми полосками, то лиловой мелкой сеткой. И было непонятно, зачем нужна стройная форма. Всю жизнь в плотных чулках ходить? Бедра были почти одной длины с икрами, но совсем чуть-чуть короче, отчего в определённом ракурсе нога казалась бесконечной. Узкая щиколотка, высокий подъём, высокий свод стопы и аккуратные ногти. Эти ногти вызывающе не сочетались с сухой синюшной кожей и волосами. Кеша наконец отвёл глаза. Всё же в этой дисгармонии была магия. Края штанин были довольно грубо обработаны, но, как видно, с усердием.

Как Аська рассказывала, в июле Алина уже не снимала ночной рубашки. Но ещё был июнь. Сверху на Алине была обычная спортивная белая футболка, расписанная шариковой ручкой. Волосы, стекая с подушки, доставали пола. Когда Алине рассказали историю с раствором, она начала смеяться. И Кеше стало страшно, а потом становилось всё страшнее смотреть на смеющуюся Алину. Её лицо корчилось, закатывалось, как безумное солнце, слёзы текли прямо в рот. Она то приподнималась, то мотала головой, то извивалась. И ведь ни щепотки анаши, так просто. Иногда казалось, что Алина отделяется от дивана и парит, левитирует. Или просто ведьма, и смех у неё ведьминский. И ноги.

– Ну, вы меня порадовали, друзья, теперь точно не усну.

Затем Аська готовила кофе и поила-кормила Алину. А та иногда принималась хохотать, отчего творог сыпался изо рта на подбородок. Аське было или всё равно, или не показывала, что неприятно. Однако вдруг, Кеша даже не понял, когда – до кофе или после – Алина успокоилась и попросила. Совершенно другим голосом:

– Приезжайте ко мне завтра. Отвезите на Петровку. Это очень важно и очень нужно.

Да будь она проклята с её дневниками!

Зина слушала, и лицо у неё было тихим, совсем не Зининым. Потом сказала, будто очнулась.

– Это же почти гениально. Абсолютный ход. Ведь ей и памятник нельзя поставить, словесный. Нельзя сделать культовой фигурой, которая будет говорить своим фанатам: я для вас, я всё для вас. Алина осталась очень живой и подвижной субстанцией. Она миновала все препятствия, все ловушки, она победила!

Это было невозможно слушать, тем более от Зины с её православием.

– Но ты-то должна знать, как всё это называется и как церковь относится. Это же бесовщина! Вампиризм, ведьмачество!

– Нет, – только сейчас Кеша заметил седину в локонах Зины, – не может быть.

Но Кешин гнев уже разгорелся.

– А ты сама, ты сама? С твоим православием? Ты что – живёшь своей жизнью? Или там церковной жизнью? Да ты живёшь её жизнью, ты и есть то, что ей нужно было: куколка, из которой рано или поздно вылупится новая Алина. Смотри, у тебя ничего своего нет, а всё её. Ты её мыслями думаешь. Скоро её языком говорить начнёшь. И после всего этого ты себя верующей считаешь? Да любой поп тебя запретит. Впрочем, им всё равно, ведь таинства десакрализованы.

Зина сначала посмотрела ему в лицо. Затем снова склонила голову и замерла, сложив руки на коленях. Вся фигура выражала усталость. Но лицо было страшным. На такие лица смотреть нельзя. Кеша понял, что имел в виду тот пьяный мужичок, решивший познакомиться с Зиной в метро. Жалкая. Потому что столько грусти в одном лице не бывает. Это получается – ниже всех. Нельзя, нельзя, так можно самоуважение потерять. Как она вообще так живёт...

– Да ладно тебе, – вырвалось у неё бесцветным голосом.

Кеша снова упал на колени:

– Прости, прости, прости.

– Да ладно...

И тут раздался телефонный звонок. Резкий, с какой-то совсем другой стороны жизни. Зина встрепенулась, подошла.

– Да?

Звонила Аська. Хриплый, простуженный голос.

– Я рядом тут. Примешь?

– Заходи.

Как оказалось, раствор действительно был чистым. Митя, покрепче телом, отходняк пережил, взяв в обед сто граммов коньяку. А вот Аське пришлось несладко. Кеша поймал себя на том, что в первый раз заметил, что Аська говорит в нос. Так она говорила уже очень давно, и эта гундосость необратима. Когда-то ему нравился её высокий голос и учительская манера проговаривать все буквы. Теперь Аська говорила тихо, так что порой приходилось переспрашивать, немного заплетаясь языком. Как люди, у которых слух слабнет.

– Развалины. Одни развалины остались.

Аська, несмотря на плохое самочувствие, влетела. Сразу же заговорила про горячую ванну. Но потом замолчала, а после короткой паузы добавила:

– Нет, я к себе поеду. Только вот посидеть, чуть оклематься. Ну, подумай сама, как сказать: я больше не буду трескаться. Не буду вот, а что потом делать? Рисовать картинки? Писать статьи? Или полы в твоём храме мыть? Я, может, только тем и живу, что Макс учинил, и надеюсь, что он доведёт эту беду до конца.

Речь шла, конечно, о композиции по дневникам Алины.

Внезапно Аська повернула голову, будто какой звук услышала, метнула взгляд на Кешу. И вдруг набросилась на Зину:

– Он что – свои чувства тебе объяснял? А ты что – не понимаешь, что он кончит оттого, что ты его шваброй побьёшь. А ты, жестокая, и шваброй его не побила. Так, Кеша?

– Да иди ты...

– Нет, Кеша, не пойду. Как хочешь, а не пойду. Ты что это, что у тебя такое...

И замерла.
– Ты не болен?
Как сказать.
– Да нет.
– Смотри ты мне.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«1 августа 1989 г. Ткань – самое лучшее, что может быть для меня сейчас. Ткань податлива, но не теряет личности. Она может выцвести, порваться, покрыться пятнами, но ткань – всегда личность. Она достаточно пластична, чтобы сохранить свои свойства и в небольшой детали. Вот, например, вставка – клапан кармана на обычном костюме. Из другой ткани, другой фактуры. Темнее тона на два. И всё равно этот клапан сохраняет свойства ткани.

Ужасно захотелось новых вещей, одежды. А сейчас так много красивых тканей! Лежу себе, пахну потом и представляю, как сочетаться будет ультрамариновый хлопок с сине-бирюзовыми огурцами и белый набивной батист, провансальский узор. Изысканно. Я бы такое платье сшила. Обязательно длинное, без оборок, но с небольшими вставками. Нужны именно небольшие вставки. Крупные части смотрятся дешево; не люблю крупные вставки. А тут аккуратные контрастные фрагменты – на груди, на рукавах. Можно добавить защипы и складочки. Но это уже другая тема. Защипы и складочки – выражение трепета, робости и восторга. Как стихи Эмили Дикинсон. Это детали философские. А вставки, просто или с небольшой узкой тесьмой – это как песни. Или, например, думаю, что можно соорудить из трёх тончайших шёлковых платков. Нечто вроде блузки, открытые плечи. И так приехать на Петровку. Углы летят как крылья, в жару – будто прохладный ветерок. Но к желанию одежды слишком много примешано грусти. Так что ничего не нужно.

Ничего не хочется, совершенно ничего, и кроме этого «ничего не хочется» писать не о чем. Вспоминать любимых актёров? Фильмы? Так ведь я не так много смотрела фильмов. Помню, сидения в кинотеатре были жёсткие, красные. На таком три часа не высидишь, двухсерийный фильм. Отчего-то вспоминается именно тот кинотеатр. Потому что первый, в который ходила сама, без взрослых. Десять копеек стоил билет, детский. И осень, солнечный день, весь в берёзах. И вот бегу на сеанс: это моя тайна. Смотреть фильм "Король-олень". Никто не знает, что я иду в кино. Домашние задания вроде бы сделаны, кое-как. Потом попадёт. Но кино всё равно посмотрела.

Какое чудо – кино, как меняет человека. Человек с кино – и человек без кино. Если кино есть, человек надеется, ждёт и, может быть, даже дождётся. А вот без кино – будет буянить. Помню ещё городской лагерь. То лето, когда были дожди. Примерно как сейчас – мощные дожди. И от дождей жара спадала. Я всё смотрела по утрам, на линейке, на тополя: какие высокие. И хотелось спросить: а бывают ли деревья ещё выше, чем эти тополя? Не бывают, конечно – не бывают. Оттого что дождь, на улице – ни души. Больше ничего не помню, только какие-то выступления днём на открытой эстраде. «Машину Времени» слушают по вечерам везде, но я не слушаю. Для меня эта дворовая жизнь идёт как за стенкой, как и теперь. Кажется, в лагере был сончас. Но можно было уходить домой, отпросившись с сончаса. Отпрашивалась, уходила домой – есть и читать книги. Теперь с тем и с другим – сложности. Шла по улице, ожидая, что сейчас начнётся дождь, и мы вместе с дождём добежим до моего подъезда. Невесть почему, мне нравилось слово «подъезд».

А когда впервые пришла на Гоголя, и со мной стали здороваться как с давно знакомой, было совсем другое. Вдруг поняла, что красива, что нравлюсь, что много умею. А потом это ощущение так же быстро ушло, и я оставалась в системе только потому, что там проще, чем вне системы. Поначалу то, что до тебя дела нет, нравится. Потом тоже нравится, потому что одна и всего добиваешься сама. И совсем потом, когда понимаешь, что системная жизнь – пустота, тоже нравится. Ведь всё равно умирать одной. Даже с семьёй – как без семьи. Но иногда бывает – в окружении друзей, как я. И это сделал Бог, потому что люди так свести все нити в одну феньку не способны. Потому и верю Богу. Впрочем, Кеша говорил, что таинства церкви десакрализованы. Но он поэт. У него есть две-три струны, он на них – всю жизнь. Мне-то какое дело до таинств? Вот был священник, приехал,

мной не погнушался. Вот Игорь, этот вообще за красивые глаза обо мне заботится. Не написано же на мне, что умру и ему жильё оставлю. Всё это Бог делает. Человек так не может. Впрочем, одно интересно, про пустоту. Мужчине, наверно, труднее мириться с чувством опустошения, потому что физиологически он не бывает пуст. А для женщины опустошение (в том числе и сердца) – состояние естественное. По себе знаю, что сказать «я никого не люблю» приятнее, чем «я люблю». Люблю – это уже беременность.

Но я что-то много сегодня написала. А самое-то главное: придёт Макс, принесёт сок без сахара. Нашёл где-то. И вишни. А вот ему я очень должна. И с чего мне так встрелилось это: должна, и именно Максу, у которого муха в голове, а в сердце – зайчик. Он ведь, несмотря на свою серьёзность, очень влюбчивый и к долгому чувству неспособен. То, что он возле меня столько лет, года три – это аномалия. А то, что я с ним как старшая разговариваю – нормально?»

12.

Глухой назначил Максу день первой записи, а участники, кажется, и готовиться не думали, даже Зина. У Аськи, которая должна бы читать большую часть дневников и которой отведено быть едва ли не голосом проекта, сильно заложена была носоглотка. «Так, что по утрам гноем отплёвываюсь», – посетовала гундосо в телефон. Однако работать не отказалась. Это кокетство просто выводило из себя. Зина, наоборот, была слишком торжественна и серьёзна, а этого как раз и не нужно. Один Митя сиял, ясен и чист, как новорожденное солнце, но Макса всё же грызло чувство неуверенности в отношении него. Один Алекс готов был писаться хоть в шесть утра, хоть после работы.

Толик, против ожидания, отснятое скопировал на съёмный диск, диск дал в долг (верни). А материал можешь себе хоть на лоб перекатать. Но Макс тоже купил съёмный диск, и теперь у него есть свой персональный носитель. Чуть не подумал: с Алиной! Вот ведь Геннадий Хазанов. Сценарий готовили вместе с Алексом и Толиком. Максу пришлось побегать по Москве: то к Толику, то к Алексу, то к Марине, в квартире которой Толик оставался довольно часто. Купленный съёмный диск так и жил в Максовой сумке.

И снова Макс поблагодарил... свою работу. Ведь если бы не выходные, два к двум, не смог бы везде успеть. Вот и сейчас – ехал к Толику для отлова нужных кадров и их перегонки в отдельный файл. Важно было, что материал очень нравится Глухому. Запись не получится такой, какой задумывалась, если материал не нравится хоть кому-то. А Глухого Макс считал полноправным участником проекта. Названия у проекта всё ещё не было. «Алина»? Ничего не говорит. С названия начались первые трудности.

Макс не мог отвязаться от мысли, что готовит действо циничное, никому не нужное и вдобавок пошлое. Человечнее было бы забыть об Алине. Или вспоминать её изредка, с кроткой молитвой об облегчении её посмертной участи. Хотя, если верить читанному из православных святых отцов, человек покаявшийся, то есть оставивший прежние страсти, прошедший через исповедь, сподобившийся причащения – в ад не идёт, а спасается. Возможно, но что касается Алины, у Макса уверенности не было. Ему всегда казалось, что в ней есть нечто ненадёжное, дурное, злобное. Что она-то как раз о содеянном и не сожалела, а всё, что с ней произошло – произошло по ненависти к самой себе. Отчего порой становилось до слёз жалко. Хотя какая-то странная интуиция подсказывала, что Алина ужасно умна, намного умнее Макса. Но как признать это? Порой она вела себя как подросток и как пэтэушница, какой на самом-то деле и была. Хотя, например, «Осенний крик ястреба» знала наизусть. И много ещё чего знала. Но её привычка чай пить так, чтобы изо рта на грудь текло. Или, например, в кафе вдруг положить свою ногу ему на колени и щекотать большим пальцем. Это зачем? Она что, хотела показать, что умеет разные изысканные вещи делать. Но если умеет, то должна бы знать, что такие вещи делаются не в зимнем отечественном кафе, а хотя бы в тепле на диване.

Алину нужно было спрятать в шкаф, и ей бы там было хорошо. Но отчего-то никто из тех, кто знал Алину, не пожелал её упрятать в шкаф. Макс довольно скептически относился к идее шизоф-

рении после того, как прочитал исследование одного американского врача о том, что есть другое заболевание, которое часто диагностируют как шизофрению, но это не она. А шизофрения – это такой склад личности, увы, в последние годы очень часто встречающийся.

– Общество шизоидов, – проворчал про себя Макс, – да, общество шизоидов.

«Ну, так вот, раз общество шизоидов, то и сам я не вполне нормален. Я тоже шизоид! И мне нравится со стороны смотреть, как они топчутся по этой моей ране, и у каждого – своё выражение лица, приоткрывающее сердечные намерения. Как трогательно! Как смешно! И какие перспективы открываются! Вот Зина-то моя, сердобольная сестрёнка, вторая мамочка моего Илюхи. Она же монашка. Она холодна и безжалостна на самом-то деле. Она любит идеи, как Руслан, но по-другому, по-женски. А ведёт себя как мамочка всем, и ученикам своим – прежде всего. И это не актёрство, ведь одно следует из другого. Заботливость растёт из холодности, и это логично. В возбуждённом состоянии и стакан не нальёшь, а не то что английскому языку не научишь. Или Алекс. Вроде всё при нём: и талант, и ум, и устроился. А всё уходит как в песок. Потому что не дотянул до того размера, который для него был определён. Он-то думал, что он звезда, а оказалось – галогенная лампа. Можно поговорить, что лампа хороша и нужна. Но не звезда, не звезда. А мог бы. Или Аська. Подросток такой, дурочка с переулочка. Абсолютно иррациональное существо. А порой мне кажется, что она ближе всех мне. Что только она и понимает. Но смешно же: оба рыжие. Она думает эмоциями, она манипулирует, она многое умеет в этой жизни лучше, чем Алекс, и она полностью равна самой себе. Вот чудеса-то.

И все мы, кораблик идиотов, оказались в совсем новом и очень нервном мире. Говорят: война, а войны-то на самом деле нет. Есть общий процесс, который можно назвать войной, но только приблизительно. Говорят: человек, и тут, как в книге: а был ли мальчик? Был ли человек? Волна набегает на волну. Не справились с одним – настали два других горя, и это норма жизни. Ничего другого уже не будет, море уже не успокоится до конца. А до какого конца? И что значит: не успокоится. Надо привыкать жить в постоянном напряжении: а что случилось? где? имеет ли ко мне отношение? Все эти мысли и чувства рождаются из ожидания новостей. Не помню, чтобы люди когда-нибудь так ждали новостей и с таким удовольствием их делали, как сейчас. Хорошая была бы фраза для какого-нибудь рассказа: со всеми нами вдруг случилась большая новость. В такие периоды начинаешь думать, а есть ли то, что не может измениться. Есть ли нечто незыблемое. Хоть что-нибудь из усвоенных всеми нами идей, оценок, правил, принципов. И оказывается, что в человеческом мире такого почти нет.

Иерархия? Кто Фрейд (или Юнг) и кто я? Какая разница тому, кто не знает ни Юнга, ни меня, а таких – большая часть населения планеты. Человек, которому я дам сигарету сейчас, согласится, что для его жизни в этот день я сделал больше, чем Карл Густав Юнг. И наоборот. Прочитавший Юнга может заявить, что испытал второе рождение. Такая вертушка возникла не потому, что изначально было несколько точек зрения, а потому что вещи стремятся одна к другой, и от этого становятся почти на одном уровне, уплотняя и уничтожая иерархию. Хам, пишущий письмо Нобелевскому лауреату, может завоевать большую аудиторию, чем сам лауреат. И никаких причин для сетования не вижу. Узнаю, хотя и отчасти, то, к чему они все, мы и я стремились тогда, в том прошлом царстве-государстве. Мы хотели быть услышанными. Теперь эта возможность есть, но теперь и говорят все.

Что за чушь, однако, лезет мне в голову».

У Толика сидел Кеша. Бледный, глаза блестят влажным стеклянистым блеском. Что-то возбуждённо рассказывает.

– Ты здоров ли? – после приветствия.

Резко, раздражённо:

– Да здоров, здоров. Курить меньше надо.

– Ты ещё за этим следишь? Я уже не помню, кто курит, а кто не курит.

– Хорошо тебе.

Толик почти нехотя развернул экран. Вместо экрана была плотная рулонная штора, укреплённая над кроватью.

– Алекс тоже хотел подойти.

Все в сборе.

Но вот какая странность, подумал Макс. В Кеше сейчас было что-то очень напоминающее юного Андрея Пятницкого. Или они все до безобразия стали похожи, как, говорят, бывает на съёмках трудной картины? Но он не снимал кино. Надо будет у Толика спросить. И всё же Кеша нездоров. Не вынесла душа поэта.

Толик прикрыл дверь в комнату.

– Марина скоро придёт. Не важно. Так что ты, Кеша?

– Стихотворение хотел вам прочитать. Вчера написал.

– Ну?

– Баранки гну.

– Да ладно тебе.

– Не ладно. Не уверен. Но вот.

ползучие листья липы ослабли перед рассветом
в их ладонях прошлая почва
беспечных юных газонов

а птица всё так же клюёт семена
возможно она смеётся
но кто услышит смех птицы

промелькнув над гнездовьем
другая птица захочет спрятаться
вверить себя ветвям

но в мире остались
только ползучие листья
липы напротив моего дома

– Дай, дай посмотреть, – оживился Толик, – а пишешь что, совсем без знаков? по-американски?

– Почему по-американски? Это свободный стих, иначе – верлибр.

– Интересно. Так кто писал, Игорь Холин? Помнишь, Холина читали?

– Спрашиваешь! Но у Холина, кажется, знаки были.

В дверь позвонили. Толик подобрался, как будто внезапно озяб. Подумал: Марина. Грядёт ещё один обычный разговор, не приносящий ничего, но немного, совсем чуть-чуть, совсем незаметно, уменьшающий её красоту, на его глазах. Это невыносимо. Но Марина всё равно прекрасна и будет прекрасная всю свою жизнь. Однако что ей взбрело в голову именно сегодня напроситься к нему домой, бросив с какой-то Митиной капризностью: мол, ты давно мне не рассказывал, чем занимаешься. Будто Максово подземное копание её задело.

За дверью оказалась не Марина, а Митя с Катей и Аськой. Митя выглядел собранным и серьёзным. Теперь слова его хозяина о том, что «этот мальчик будет очень богатым» не казались шуткой. Впечатление было бы не таким сильным, если бы Митя появился в костюме и рубашке с галстуком. И всё же в нём сквозило нечто, что очень отличало его от детей офисов. Не успел Толик объяснить про носки и тапки, что не хватает, но пол мытый, зазвонил мобильник. Алёна везла Алекса с каким-то количеством аппаратуры и спрашивала, где парковаться. Машины у Толика не было, да и водить он никогда не хотел, но объяснить, где припарковаться, мог хорошо: Маринина школа.

Однако вошли втроём: Алёна, Алекс и Зина, которую подхватили у метро.

– Алёна углядела. Я в такой снег не заметил бы.

Зина несла большой пакет со шнурами.

Макс когда-то видел Алёну, возможно, те же самые лет двадцать назад. Но тогда впечатления почти не осталось. Гибкая девушка в чёрной водолазке. Теперь Макс сказал себе, что если он и видел в жизни красивую женщину, то это Алёна. Это была красота сама по себе, без приложения к чему-либо и скидок на возраст и характер. Без толстовского: «не удостаивала быть красивой». Красота и должна быть такой: тяжеловатой, с хорошей резкостью, напоминающей статую. Как струя пламени, глядя на которую нельзя уловить его движение. Зине не удалось вот так же застыть в собственном величии. Но на Зину можно было смотреть, в отличие от Алёны.

Сознание музыкантов заработало сразу. Митя помог Алексу принести из машины усилитель, микрофоны и ещё что-то. Катя с Аськой, хотя та музыкантом не была, занялись тем, что уже было. Толика этот беспорядок смутил.

– Ладно вам. Кино ведь смотреть приехали.

– Нет, у нас военный совет в Филях, – ответил Алекс, пища усилителем, – готов.

– Задержка, – не согласился Митя.

– Как хотите, а я пускаю запись.

Толик выключил свет. Сидели – кто на полу, кто на диване, Макс, конечно, на Толиковом стуле.

И началось.

Это было невозможно, невозможно – сколько бы раз для упразднения смысла и действия не было бы написано это слово.

– Честер уехал? И ты теперь одна?

А поделом тебе, Алина. Макс ужасно на самом-то деле волновался. Он не любил, когда из него вырывались бабьи интонации. Это случалось всегда, когда говорил с женщиной, которую чувствовал и к которой был привязан. Алина, например, ему даже не снилась. Уже не нужно было снов. Порой он переживал её плохое самочувствие сильнее, чем она сама. Он был – Алина. А она понимала, что он – Алина, и только улыбалась на его бабьи интонации, как будто её застали врасплох.

– Нельзя требовать от человека больше, чем он есть. Значит, одна.

– Молодая женщина! Девушка. Ты что на себе крест ставишь?

Он боялся, что вместо «креста», о котором он так просто сказал, дело в поганой судьбе, или как там ещё называется сочетание характера и обстоятельств. Год назад, всего год назад, глядя на нарядную длинноногую девицу, можно было предположить, что она вот-вот (ну через год – максимум) выйдет замуж за красивого хипаря, занимающегося бизнесом, и родит ему много мальчиков и девочек. Но Макс не был бы Максом, если бы с какой-то – опять бабьей, нутряной – интуицией не почуял бы, что ни замужа, ни детей не будет, а будет какая-то беда, и ему, дураку, до этой беды есть дело.

– А почему он на тебе не женился? Ведь он тебя любил, судя по твоим рассказам.

– Да ты и сам видел. А потому что женат.

Что Честер женат, Макс точно знал, но подробности ему известны не были. Что значит слово женат на системном языке? Ну, есть у него вайф. Вайфов бывает много. Может, он с прежним вайфом разбежался, а на Алине женится.

– Нет, Макс, там всё порядочно.

Так и сказала – порядочно. Убийственная манера употреблять слова неверно, но таким образом, что это неверно вызывало не соответствующее промашке возмущение.

– Штамп в паспорте?

– Ну да. Он же сын академика, и она – дочь академика.

Что Честер – сын академика, знали все, кто с Честером приятельствовал. В достоинства Честера входило среди прочего и то, что порой он устраивал большие вписки в двухэтажной квартире на Ленинском проспекте, и сам же потом устранял последствия вписки. Конечно, помощники

добровольно находились. Честеру оставалось только руководить процессом. Ну, и опохмеляться, и другим подносить.

– А ты – что, тряпочка? Юбочка? Он тебя на руках носил.

– Меня и ты на руках носил. И спали вот на этом диване вместе.

Это правда. Но Макс всё время ждал, когда начнёт она. А она не начинала. В какой-то момент он понял, что надо начать самому, но что-то смутило. А потом появилась какая-то цыганистая герла, кажется, сербиянка, Мирка. Эта Мирка то уезжала, то появлялась, и Макс ждал, когда она появится снова. Именно в один из приездов Мирки Макс понял, что ничего в отношениях с Алиной не изменит. Поздно. Как только понял, стало сразу же страшно. И уже прилип к ней навсегда.

– Пить хочешь?

Он точно знал, чего она хотела всегда, и что он умел делать как никто. И потому ему было спокойно за своё место в её жизни, как будто это невесть какая ценность.

– Да, воду.

И он пошёл на кухню делать воду с лимоном. Он точно знал, сколько сока из свежего лимона (небольшого, сморщенного плода) нужно добавить в большой стакан воды, чтобы она пила и напивалась, а не просила новый. И точно знал, что сахар не нужен.

В этот раз она не напилась. Он увидел по глазам. Как будто она ещё не поняла, что выпила целый стакан воды.

– Ещё принести?

Покачала головой.

– Нет. Так сразу нельзя. Я вчера под взглядом Игоря шпроты поела.

– Попросила бы его кашу сварить.

– Ты не понимаешь. Я ем только то, что надо, чтобы я съела. Он принёс эту рыбу и надеялся, что если я её съем, мне станет лучше. Так вот, я её съела. Станет мне лучше или хуже – вопрос второстепенный. Обо мне речи уже не идёт, важно только то, как окружающие себя чувствуют.

– Ты дура или ты зомби?

Макс и представить не мог, чтобы человек мог так думать. Конечно, она его разыгрывает. Но та Алина, которая отображалась на нём, как на экране, уверила его, тихонько и в самое сердце, что она именно так думает.

– Понимаешь, я всё время выдёргивала, да и сейчас – выдёргиваю. Себя. Из этой квартиры, из своей семьи, из системы. Из всего, с чем связана очень прочно. Это называется – слепота, глубокая внутренняя слепота. Я от неё не избавлюсь. И вот мне представилась возможность жить так, чтобы эта слепота работала на укрепление связей, а не на разрыв. А для этого надо не мешать людям – жить рядом с собой. Пусть приходят, приносят, делают, что хотят. Меня используют. Но ведь, ты знаешь, все используют всех. Когда-то, не так давно, меня использовали цинично и жёстко, а теперь гуманно. И я тоже использую вас. Когда-то я разрывала одни связи, чтобы установились новые. Мне казалось, что новизна скрадывает унизительное чувство страдательного залога. Теперь считаю, что не нужно мешать отношениям. Пусть живут, как если бы это были хомячки. Даже ты мне не веришь. А у меня такая хорошая фора в эти последние мои времена.

Кажется, она начала бредить. Да вроде нет. Температуры не было. Сама взяла его руку и поглаживала. Сухой жестковатой рукой, как из картона.

– Понимаешь, сейчас у меня нечто вроде льготы. Потому что мне немного осталось, и потому мне всё удаётся.

Он понимал. Правда, не всё. Понимал только – то, что работает у всех, у Алины работать не будет. И наоборот. Что не работает у всех, у Алины заработает. Например, человек говорит, что скоро умрёт, и очень много об этом думает. Это болезненное явление. Но Алина радуется, и у неё получается донести людям, которые к ней приходят, часть своей радости и любви. Но принять, что Алина скоро умрёт... Он понимает, он на её стороне. Но он слаб. Он не хочет её терять.

– А замуж за меня пойдёшь?

И тогда она в первый раз обняла его шею, встала, легко, чуть только локтями помогла, и поцеловала. В первый раз сама его поцеловала. И губы у неё как бумага. Даже от кожи возле губ шёл

душный болезненный запах. Макс запомнил его. Он не сказал бы, оттолкнул его этот запах или вызвал прилив жалости. Нет, он просто принял его как новый, доселе незнакомый вкус и цвет. Это был сигнал. Сигнал, что всё закончится скоро, скорее, чем он ожидает. Но когда? Если бы он знал, когда именно.

– Конечно. Когда поправлюсь.

– Вот и хорошо.

– Знаешь, Бог говорит через врага. Он показывает свою волю через врага. Это как раз и свидетельствует, что Бог не зол. Потому что у Него нет понятия зло и враг. А понятие воля есть. Враг лучше, чем кто-либо, укажет на слабости и пороки. Он для этого сделан. Я имею в виду, конечно, не сатану. А людей, просто людей. А люди не все как боги.

Бред, привязчивый бред, и с ним живёшь. Макс потёр лоб и взглянул на экран.

На экране у Алины на лбу сидела бабочка. Обычная капустница, нежная и робкая. А Толик снимал это лицо, осторожно водя глазом камеры, как если бы танцевал вокруг Алины. Бабочка тоже поворачивалась. Крылья дрожали, с них, видимо, что-то сыпалось, а у Алины текли из глаз слёзы. Бабочка чувствовала, что на неё смотрят: движения выражали тревогу. Аська сидела рядом на скамейке и тоже смотрела в объектив. Изображение против ожидания вышло довольно чёткое. Толик решил, что это оттого, что снимали на рассвете. Красавец Честер курил возле липы, и, судя по всему, не сигарету. Он время от времени что-то кричал девушкам, но Аська только отмахивалась. На лавке, порой попадавшей в кадр, спал кто-то из дринчкоманды. Кажется, Достоевский.

Новый звонок в дверь. Теперь это точно Марина.

– Почему у вас так темно?

И подставила для поцелуя висок.

Её кожа всё так же пахнет вишней и ванилью. Толик любил этот запах. Помог снять шубку, поставил к ножкам домашние туфли. У них был ритуал: Толик помогал Марине снимать и надевать сапоги с высокими голенищами, полуобняв её или просто держа за руку. Теперь Марина была не в сапогах, которые они вместе покупали, а в новых ботильонах. Но на высоких каблуках, вполне нелепых и модных, как и вся её обувь.

– Так почему у вас так темно. Не слышу.

– Кино смотрим.

– Не поняла!

Из темноты комнаты вдруг выступила Алёна. Секунду постояла в проёме, не больше, пока был открыт рот Марины и на нём трепетала форма последнего сказанного звука. Затем подошла и почти приветливо протянула руку:

– Здравствуйте, меня зовут Алёна, помогаю в написании сценария. Вы подруга Толика?

И затем, мгновенно повернувшись к Толику:

– Алекс сказал: фрагмент с бабочкой минуты на две. Он точно нужен.

Толик едва не рассмеялся, несмотря на странность такого приветствия. Вот кого постоянно ставят на место – Марину. В ней тоже есть что-то от Алины.

А Марине было ужасно неуютно. Подруга Толика? Да она его кормит, поит и любит... Она мать, сестра и любовница; она, она, она...

– Да ни о чём, – донёсся из комнаты голос Мити, – ни о чём. А вот то нужно...

В присутствии хотя бы одного из Толиковых знакомых Марине становилось не по себе, хотя исключения, конечно, были. Когда-то у Толика был знакомый, с темными волосами, собранными в забавный пышный хвост. Кажется, его звали Русланом. В его присутствии Марина чувствовала себя спокойно. А сейчас было явно не её время. Во-первых, эта женщина, конечно, моложе неё. И очень красива. Хотя Марина абсолютно уверена была в своей фантастической красоте. Не абсолютно, но всё же. Что эта частичность глупа, и что Толик совершенно искренне врёт, Марина и думать не хотела. Ну как подумать о том, что ей вдруг понизят зарплату на работе. Офисная мадонна села на заботливо подставленное Толиком низкое кресло. Совсем как девочка; в про-

зрачных колготках, к которым ещё не привыкла. А её присутствия почти никто не заметил. Алекс и Митя ползали по полу, скрежетали и свистели аппаратурой – проверяли каналы. Митя только поднял голову и довольно холодно сказал, впрочем, с сыновней ноткой:

– Привет, ма.

Вокруг Алекса и Мити ходила невысокая полноватая девушка с пакетом шнуров и подавала то один, то другой. Это и есть Кэт, поняла Марина.

Фильм тем временем бежал своим чередом, а Макс делал пометки в блокноте.

Алина улеглась на скамейку, вытянув одновременно руку и ногу, и смеялась, смеялась, а её голосок тонул а шуме и птичьем пении, и в Аськином резком: Алина, ну вставай, Алина. Макс помнил, что голос у Алины был глуховатый, как почти у всех, кто пробовал опий; севший, потому тихий. Но поразительно мелодичный. Однажды Рита пересказала разговор монахинь, подслушанный в трапезной при монастыре, куда они с Зиной возили Илюху. Разговор был о верхней соль.

– Сестра Татьяна младшая берёт верхнюю соль. Прям зависть берёт, но что уж. Хоть ты двадцать лет пой, голос даёт Бог. Очень хорошо берёт.

Если возникал в памяти голос Алины, возникала потом и эта верхняя соль.

Потом Алина сидела в кафе на Петровке. Съёмки были очень ценные, но некачественные, темные. Толик тщательно обследовал интерьер кафе: столы, широкие низкие окна, похожие на витрины, лица, высокую стойку бара, баки, где варилось и разбавлялось водой кофе. Но стоит ли вспоминать о такой мелочи? Время было около десяти утра, июнь в начале. Кафе только открыли. Борода из Красноярска, Вова Орский, Тони Француз. Под столом (Толик – подлец, конечно) зафиксирована бутылка разливного пива, вчера ополовиненная, но всё же с содержимым, тёплым и кисловатым. Невесть как это вкус проснулся в Максе, но он даже поморщился. Съёмки точно были очень хороши, что-то даже от Джармуша, которого Толик тогда, кажется, и не видел: 1989. Камера слабовата, но Толик нашёл фишку.

– Аська под столом с фонариком ползала, – неожиданно прокомментировал оказавшийся рядом Толик.

Нормально, рабочий процесс идёт: началось взаимное чтение мыслей, или что там.

И вот это: Алина садится за стол к Бороде, Орскому и Тони. Тони нет, берёт на всех кофе. Что-то начинает рассказывать, а Орский с Бородой явно не всё слышат. Но заглядывают ей в лицо, как и она, с бесконечной доверчивостью, животной доверчивостью. Переспрашивают. Она отвечает – и возникает разговор. Звук очень плохой.

– Бабочка? Круто.

– Как хороша бабочка!

Её лицо, возможно от того, что ей вдруг стало плохо, начинает странно морщиться, собираться внутрь, крупными складками, как у пожилой актрисы. И это невыносимо. Макс намеревался пропустить этот фрагмент. Но тут над ухом возникло:

– Бери, бери и не думай. Какая драматургия! А звук вытянем: Алекс бог, Алекс может, да и Глухой – саваоф тот ещё.

Как оказалось – Алёна. Но откуда взялась у неё напряжённая складка между бровей, этот вытянувшийся нос? Не может быть, чтобы она так переживала. Переживает!

Вернулся Тони с чашками, несёт сразу три. Алина вскидывает глаза, огромные, будто никогда не видела ни Тони, ни кофейных чашек. Тони смущён: сесть не успел, а ему уже в загс предлагают или что-то в этом духе. Алина вдруг целует Тони руку, ловко, никто и не ожидал. А он, поцеловав её в темя, идёт за новой чашкой кофе. Она светится, лицо – крупно. Видно, Толику нравилось её лицо. Максу казалось, что оно вытянутое. А на плёнке оказалось почти круглым, с большим количеством складок, которые так и ходили. А когда складки ненадолго замирали, включались глаза. И Толик искал тень, которая обрисовала бы весь разрез. Если тени не было, снимал волосы.

Затем появилась Полежаевская, флэт Данилы. Алина с Аськой в обнимку лежат на матрасе и целуются, дурацки. И вдруг Алина засыпает. Аська начинает что-то Толику объяснять, а он всё ходит с камерой вокруг, отчего спящее лицо Алины становится грозным, а снятое сверху лицо Аськи кажется почти уродливым и неестественным.

– Да, ведьма я, ведьма.

– Дура ты, – отвечает Толик.

Алекс не сразу понял, что это он – там, с кремоной. Какой-то светловолосый чувак, сидящий на полу, ноги прижаты едва не к подбородку. В такой позе играть нельзя, а он играет. Стоп, но тогда, на Данилином флэту Толика вроде не было. Или был? Уже не помнит. А Алина спала точно так, в центре довольно широкого матраса, раскинувшись, и ноги грязные, это помнит. Чувак на экране был совершенно счастлив. Глаза не закрыты, нет – он смотрит то на струны, то в сторону: на Аську или на Алину. Останавливается, а потом снова играет. Подстраивает, подкручивает ушки кремоны и доволен той музыкой, которая из неё – из них обоих – идёт. Струны нейлоновые. Что там мог быть за звук! Только подобие звуков любимых групп. Но тот чувак был счастлив с кремоной и написал песню. Глядя на него, сомнения в том, что песня удалась, пропадали сразу.

И точно, это была песня о девочке, переодевшейся мальчиком-юнгой и отправившейся в первое и последнее в жизни плавание. «Ахтунг» пел эту песенку везде, где выступал. Песнь о смерти девочки-подростка, вдохновлённая «Смертью пионерки» Багрицкого. Юнга, разоблачённая матросом, в которого была влюблена, не выдержала страданий и прыгнула в море. «Но ей шла тельняшка и клеша, а глаза были синего цвета». Даже не биг-бит, а почти регги. Песня называлась «Ядерный матрос». Матрос понемногу забывает девочку, но иногда у него вырывается: «Где ты, моя Хиросима?»

Чувак в кадре взглянул в объектив и улыбнулся. Красив, и глаз так задорно прищурился. Хоть сейчас на обложку. И всё это было? Безоблачное, хотя и стрёмное, счастье? Как это можно было соединить? А он вообще тогда не думал ни о чём. Ни об опасности (руки-то исколоты), ни о славе («Ахтунг» знают все), ни даже об Алёне (у меня самая красивая женщина в мире). Конечно, в записи такие мысли – плохая дурь. Без записи – просто бред. Чувак на экране поиграл гитарой, перебросив её, дочкину куклу. Только вот дочки нет. Майка-борцовка подчеркнула, какие шикарные этой кремоной играли руки. Таких у Алекса сейчас нет. Неужели же это действительно он? Красив, красив. И песня-то – из его любимых. Вон что он из неё сделал: пять десятков тысяч просмотров на канале. И Алёнины рисунки для клипа отличные. Но с тем чуваком спорить бесполезно. Он улыбался, перебирал струны, как будто так – всегда, без конца и края. Как в анекдоте: коды не будет.

А коды действительно не будет. И не хочет Алекс туда, в эту молодость и в это тело. Нет, не хочет. А куда хочет? И чего хочет? Пока не возник на экране молодой Алекс, нынешний боялся признаться себе, что всё уже позади. Что жизнь закончилась. Что тот, из воздуха и огня, пластичный, гибкий Алекс застыл в этого человека, который смотрит на того красавца почти равнодушно, не жалея и не желая преодолеть его чары.

«Опираться на пустоту. Да, опираюсь на пустоту. И чувствую основательность и даже, возможно, радость этой пустоты. Теперь понимаю, как отказываются от писания стихов и музыки. Творчество не бесконечно, оно подвижно, очень подвижно, однако всё же конечно. Но как стало свободно, как хорошо, что ничего не случилось. Этот парень мог бы умереть».

Алекс на экране подошёл к матрасу и довольно, положив кремону в изголовье, улёгся между Алиной и Аськой. Помнит ли Аська? Скорее всего – да, но не скажет. Однако лежать было явно скучно, и тот Алекс снова взял кремону и снова стал играть. Алина, не размыкая глаз, повернула голову и прижалась ухом к боку гитары. Слушала.

Затем Толик пошёл на кухню. Картина сменилась. Холодильник, стол, раковина с одной-единственной тарелкой.

Толику от просмотра было физически больно. Может быть, подламывало. Или так болело, что называют волей или душой. Пульс явно за семьдесят, ноги ледяные, во рту всё высохло. Он только теперь понял, что на самом-то деле снял, что сделал этими съёмками.

...Всё равно, что разделить случайно найденный во время голода свежий труп, обжарить части и выложить в сохранившуюся ещё посуду. Кажется, пока понимает этот ужас только он, но от этого не легче. Всё равно, что сказать Алексу: ты постарел и стал бездарен. Всё равно, что сказать

Марине: Алина прекрасна, а ты животное. Вот что он сделал. Он оскорбил тех, с кем рядом половину жизни. Эти съёмки нельзя считать правдой. Это запечатлённая на плёнке галлюцинация, пьяный бред. Мир чудовищ, в котором нет места человеку с его представлениями о порядочности и непорядочности, о зле и добре. Это даже не животные, движимые чувством продолжения рода, страсти и страха. Это милые демоны. Оборотни. Упыри.

Так нельзя, нельзя так. Это болезнь. Это то, обо что ломались и более сильные люди. А он держится только потому, что у него любовь с кинокамерой, и он знает, что его объективом смотрит Бог. Откуда знает, он ведь в Бога не верит. А знает. И не в искусстве дело. А в том, что, сколько бы он не отвлекался на другую жизнь, он всё равно вернётся к камере, и это его миссия здесь. И называйте хоть инопланетянином.

– Хорошие съёмки, – сказал Алекс.

– Берём того чувака, с кремоной. Он мне нужен. Он для фильма музыку написал.

Толик всё больше нервничал. Только бы не подраться, хоть с Максом.

– Ну, если музыку написал... – Алекс улыбнулся без напряжения и сам удивился: надо же.

Но всё же не выдержал. Встал и пошёл на кухню курить. Курил, сжав сигарету двумя пальцами, вниз, как беломор – так зэки курят. И очень было грустно.

Макс возник тихо, что при его комплекции было странно, бледный и улыбающийся. Алексу показалось, что сейчас подойдёт, похлопает по плечу и скажет что-нибудь вроде:

– Да ладно тебе...

И неизвестно откуда взялись те пружины, которые помогали Алексу разбираться с гопниками. Левая рука осторожно приподнялась и метнулась, как будто кто другой послал. Макс хорошо получил бы в рыло, но кулак Алекса попал аккуратно в широкую рыжеватую ладонь: Макс поймал удар.

– Ну вот, так и не дал я тебе в рыло.

– Ещё есть время, а рыло моё свободно, – ответил Макс, – ты уж знаешь, что Руслан в Москве?

Кажется, сегодня об этом говорили.

– Шумный ты очень, Макс. И суетливый. Вон чего наделал.

Толик надеялся, что на кухне никого нет. Так что пришлось делиться коньяком, стоявшим в духовке. Чтобы Марина не видела. Она не любила его, пьяненького. Налили в водочные стопочки, выпили. Толик пил, постукивая зубами, и это вызывало почти стыд. Большой ведь мальчик. Потом налили ещё.

– Сейчас Аська читать будет. Алекс, как пишемся, на твой?

– Да.

Первое, что увидел Толик в комнате – белое лицо Кеши, смотрящего в экран. Кажется, поэт не видел, что на экране, а смотрит свой собственный фильм. Захотелось подойти к нему и, как мама, потрогать лоб: нет ли температуры? Толик спросил тихо:

– Всё в порядке?

– Да. Я недавно чуть поболел.

Но тут явно было что-то не то. «Вот так же было с Пятницей», – мелькнуло в мозгу. Перед Толиком сидел не Кеша – мрачноватый, всегда немного настороженный, почти злобный. А человек, которого только что выпустили на улицу после многих дней домашнего ареста. Немного сонный, расслабленный, чуть улыбающийся.

Фильм закончился. Последние кадры – ночной Арбат, вереница огней, художник-тусовщик Осколок машет рукой, а в руке – одна из его работ, кажется, «Лестница». Этого уже не нужно.

Митя подгонял стойку, чтобы Аське удобнее было читать. Распечатка крупным шрифтом была уже изрядно помята. Микрофонов было два.

– Скажи что-нибудь.

– Митя!

Голос показался Марине б..дским, неприличным.

– Так, высоких много. Теперь?

– Митя! – и Аська закашлялась. «Эм» выходило у неё больше похожим на «бэ». Бидя.

– Да батя, батя, – отозвался Митя и поменял микрофоны. – А теперь?

– Митя!

– То, что надо, – повернувшись, увидел Алекса: – Так?

– Сойдёт.

Оба, Алекс и Митя, занялись каналами записи.

– Дыхание тоже будет записано. Дышите.

Ну, раз так – дышим. Толик взял ручную камеру и начал выставлять свет. Придётся снимать на ночном режиме.

– Читай.

Про пюпитр Аська будто забыла, но потом положила на него распечатку. Кеша, услышав её голос, вздрогнул. Приятно было находить в самых неожиданных вещах и людях немного потустороннее напоминание о прошлом. Хотя как это может быть – немного потустороннее? Это как – немного мёртвое? Но теперь он уверен, что это возможно. Приятна именно косвенность таких упоминаний, смягчённость. Будто в некоторой войне установлен договор: не касаться больного места. Но когда вот так, бреющим полётом, идёт тот самый голос из того самого времени и теми самыми словами, становится очень плохо. Потому что всё равно виноват, виноват и должен. Потому что падаль, а не человек. Да нет же, это она, Алина, во всём виновата, а Аська только её поддерживала.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«Август 1989. Есть запахи, свет и время года, завязанные в один узел. Потом он теряется. Но не совсем. Он вдруг выходит в сознание, и тогда наступает чувство глубокого покоя. Я люблю такие минуты. Вот, скажем, зачем бродить одной по пустым улицам летнего города в каникулы и что-то слушать-слушать. Но что? Я не люблю детство и детские воспоминания, хотя из них и выросло то, чем я живу. Тогда закатное солнце, воздух и запахи приготовляемой пищи завязались в такой важный узел, что без него я не пережила бы этих недель. Смысл в том, что теперь я не сомневаюсь, что места хватит всем даже на небольшом клочке земли, и все будут сыты и довольны.

То же и с Петровкой. Джанг – любимое, Петровка – последнее. Что интересно. Петровка для большинства тех, кто говорит на русском и слышит это слово – отдел по борьбе с бандитизмом, следователи, война, тоталитаризм. А для меня – всего-навсего кафе. Если бы кто из моих знакомых узнал, что сегодня я там была, не поверил бы. И точно. Как я ехала в метро, надо описать. Описать не получится, потому что выйдет чушь, модная чернушная чушь. Несколько раз меня трясли за плечи: девушка, вам не плохо? И каждый раз мне было удивительно, что люди не брезгуют мной, с таким выражением лица и одеждой. Впрочем, одежда-то свежая, даже подглаженная... Юбка с рубашкой... Утром голову мыла. Однако так наши граждане не одеваются. И проститутки так не одеваются. И бомжи так не одеваются. Но граждане за бомжа с проституткой принять могут, всё вместе. А меня к тому же шатало из стороны в сторону. Несколько раз едва не упала с платформы, потому что шатало очень сильно. Почему не упала – не понимаю. Как преодолела лестницу перехода – тоже не знаю. Все шли, и я шла, потому что надо было идти. При выходе на Пушкинской по-настоящему испугалась, что на Страстной не дойду, собьёт машиной. Не сбило. Вышла на Страстной и пошла вниз, к Петровке. Кафе на углу. С другой стороны угла, к Цветному, – сосисочная.

Помещение прямоугольное, со входом в дальней от угла части внешней стороны прямоугольника. Низкие широкие окна. Деревянные, в скандинавском, что ли, стиле, столы и стулья. А бар обычный. С баком, с чашками. Кофе наливают дородные сердобольные женщины. Представила себя несколько лет назад, в брючках и новой курточке. Как они на меня смотреть-то смогли. Жалкое было существо. В атмосфере есть нечто театральное, кто-то скажет: богемное. Харчевня или таверна.

Народ здесь собирается к вечеру. Каждая компания облюбовывает столик, и начинаются разговоры. Курят здесь же, полулегально, а так – на улице. Впервые, когда оказалась, не могла понять, как они могут сидеть несколько часов, говорить, говорить и чувствовать, что занимаются делом.

Пыталась представить, что разговор о том, о чём молчит пресса и образование, – то же самое дело. Нет, конечно, не так. Смысл всего этого копошения был в том, чтобы создать нечто вроде театральной постановки, со спонтанным сценарием. В действе участвовали все. Сначала оно, как и в других местах, кружилось, а потом выплёскивалось наружу, на флэты и стриты. Иногда мне везло: заставала замечательные сейшены. А иногда – никого. И вот это «никого» оказалось самым важным.

Мою привязанность к этому месту можно было бы объяснить, что здесь познакомилась с теми-то и теми-то. Отчасти верно, но только отчасти. Я и сама думаю, что Честер или Макс для меня без Петровки невозможны. Но что-то случилось с моим личным пространством-временем. Именно эта точка меня беспокоит, и я её люблю. На "Бисквите" нет твоего отчаяния, там есть отчаяние, разделённое на всех, оно общее. Джанг, наоборот, подаёт надежду. Или у меня так всё сместилось, потому что я оказывалась в Джанге в благоприятных обстоятельствах, а на Петровке – наоборот. На Петровке размыкались связи, обрывались концы, стирались прошлые записи. Точка перемены, точка мутации.

Зимой ныряешь сразу в тепло, вокруг – люди и одежда. Плотно, и греешься. Пока здесь – греешься. Смотрят, разговаривают. Но чаще всего заговаривала я. Подсаживалась, включалась в беседу, знакомилась. И это было приятно. Так познакомилась с Честером. Мол, вон какой красавец, с седой прядью, а волосы вьются. В косухе и грубом скандинавском свитере (ну или под скандинавский). И герлы вокруг, три, кажется. Из тех, у кого всё складывается, но до определённого предела. Отношения в семье, учёба, тусовка, замужество. Самая тусовочная ткань, без которой фактуры тусовки не узнаешь. Наиболее яркие мужики в тусовке выбирали спутницами именно таких, фактурных.

Опять противопоставляю себя тусовке. Это неправда, потому что я тоже там была. Много тех, кто значительно меня моложе. У них другая манера одеваться, другие цели. Они приходят в эту советскую харчевню как в европейский клуб, в надежде на новый, но ещё гонимый комфорт. Поговорить о том, как бывшая жена приготовила завтрак своему бывшему мужу и его новой жене. Как одна девушка страстно любит другую. А что-то ценное исчезало.

Но меня снова понесло не туда. Завела песню о деградации или о чём ещё. Именно на Петровке становилось ясно, что люди живут, живут и умирают. А со мной происходит нечто, что назвать не могу, но совсем по-другому. И что удивительно, не сомневалась в том, что некоторые мои знакомые здесь чувствуют то же самое, но это чувство не общее, оттого и считаю более чистым. Именно от этого чувства: нечто чрезвычайно важное проходит мимо – и возникали обрывы связей. Как можно понять это: обрывы связей? Как обрывки верёвки. Нет, я не ссорилась здесь ни с кем. Хотя помню, что много раз была в тяжёлом, угнетённом состоянии. Но, может быть, действительно это место обладает свойством – изменять. Что – судьбу? Её у меня нет.

И всё же – как хорошо, что я сюда доехала, а здесь пока никого из знакомых. Сколько раз я переживала, брала ещё одну чашку кофе в надежде, что хоть кто-то из «своих» появится. А своих нет. И Петровка этому учит: нет своих и чужих. А сегодня сижу с кофе и бутербродом, отвратительным сухим бутербродом, и счастлива последним нерадостным счастьем. Может быть потому, что есть нечто выше радости?»

– Стоп, – Алекс пошевелил регулятором. – Пять минут. Хороший кусок. Аська, ты как?

– Кайф!

Глаза блестят, даже бледные щёки разрумянились. Читала она гундосо, но эта гундосость отчего-то Алексу очень понравилась. Голос у Аськи высокий, резковатый, совсем не такой, как у Алины. А гундосость придала ему не то чтобы сходство, а такую интересную нотку, что текст прозвучал, как будто его читала сама Алина.

– Может быть, и хорошо, что голос не похож, – прочитала его мысли Аська.

Потянулись было в кухню: перекур. Но вдруг Кеша сказал громко:

– Нет, так нельзя, совсем нельзя.

– Ты чего? – насторожился Макс.

– Понимаешь, она же, Алина, – всё о другом, совсем о другом. Она же не додумала мысль до конца. Весь отрывок, вся запись – о том, что она хотела успеть на последний поезд в бездну и не успела. Она-то думала: хоть в бездну. Хоть куда-то. А получилось, что она сама – то место, куда надо идти. Она испугалась – и не додумала. Страшно быть местом.

Кешу немного лихорадило. Он неожиданно провёл рукой по лицу, как раньше никогда не делал. Толик оцепенел: какой колоритный литературный жест! Вот настоящий поэт! Но с Кешей явно было что-то не то, сколько хочешь раз повтори – не то. А в Марининых глазах появился испуг. Она вообще мало понимала, что происходит. Что-то сказала об организаторах мероприятия, но, по счастью, её никто, кроме Алёны и Толика, не услышал.

Алёна вошла с туркой кофе для Алекса и Толика, пока возятся с аппаратурой. Но увидев бледного Кешу, направилась к нему: показалось, что ему как раз кофе нужен, хоть и лихорадка. Толик, поймав Алёну, шепнул в ухо:

– Коньяк в духовке, плоская бутылка.

Алёна метнулась за коньяком.

Кеша взял чашку и глотнул. Потом понял, что это хороший кофе с коньяком, и глотнул ещё. И очнулся.

– Да, всё это было слишком... это бесчеловечно.

Марина нервно засобиралась: я домой, домой, Митя, едем...

– Да куда ты. Ты меня бросишь? – Толику очень хотелось Марину ударить.

– Нет, я завтра, обязательно завтра приеду.

Говорила напряжённым голосом, как на работе.

– Марина!

– Я не знаю, что тут у вас, не знаю...

– Хорошо, езжай, позвони мне обязательно...

А по комнате уже плыл негромкий, коварный голос Кати.

– Выше, Катя, мне низковато, – настраивал Алекс.

Хлопнула дверь квартиры, а вскоре послышалось и хлопанье дверцы автомобиля: Марина уехала.

– Вот, написал, – Кеша снова провёл рукой по лбу.

мне нравятся слабые люди
я глажу их они как волны
то есть то нет
мои люди-волны.

слабый понимает чужую нежность
чувствует чужой голод
и чужое влечение

сильным что делать рыдать одиноко
дайте им хлеб меч и крест
слабый человек прогнёт под себя и камень
под сильным даже трава не склонится

– Записал, – неожиданно вырвалось у Алекса. И только тут наступила секунда тишины. – Согласны?

Все были согласны.

– Сейчас Митя и Катя. Зина, готовься, ты читаешь последнюю запись. Толик, мы ужинать будем?

У Толика немного отлегло от сердца. Да ну ее. Поспешный, почти истеричный отъезд Марины.

– Баклажаны с фасолью и сыром.

– О!

13.

– Вик, ты не понимаешь. Это было невозможно, как... ужасно.

Виктор гладил Марину по волосам, заправлял пахучую лакированную чёлку за ухо.

– Девочка, тебя же никто не обидел?

– Нет, но они... они злые, ненужные. Я их не понимаю. Я хочу жить с Митей и Толиком, потому что мы очень много вместе прожили. Целая жизнь.

Сидели в кафе, в тусклом свете разноцветной арабской лампы.

– И знаешь, что я ещё решила?

Счёт был за хороший ужин, но Виктор хотел заказать ещё текилы, себе и Марине. Водить машину под алкогольными парами не совсем хорошо, но отсюда до его дома не далеко. И он надеялся, что в этот раз они к Марине не поедут. Во рту ещё плавал вкус курицы, которую Марина поднесла на широкой вилке: угощаю, кушай. И потом – целоваться. А что, у неё всегда так – еда и секс вместе? Или это Толик её так воспитал? А была ведь весёлая женщина. Говорит, Толик хорошо готовит.

– Да, милая, что ещё ты решила?

– Я всё же уйду от него. Мне уже не будет стыдно, что вот, сколько возилась с ним, а всё без толку. Пусть один живёт. Или с этой своей, рыжей.

– Да, милая, ты у меня просто королева.

«Двадцать лет не прошло, – вздохнул Виктор. – Как интересно устроен человек. Они же так привыкли друг к другу!»

– Поедем ко мне?

Всё же очень много значит это расслабленное в животе, жёлтое, будто измазанное ушной серой, тело. А ещё больше значит то, что он получается хорошим и верным. Это важнее.

Рита пила из большой чашки слабый зелёный чай с лимоном. Чашка, в пол-литра, уже однажды опустела, и в неё снова налили прохладного зелёного чаю. Если бы рядом стояли бутерброды с маслом, колбасой и сыром, она бы их ела и не замечала бы, сколько съела. А так – пьёт слабый чай. Напиток Рита готовила сама. Заварила в стакане ситечко, некрепко, выжала дольку лимона и вылила этот стакан чая с лимоном в бутылку с питьевой водой, два литра. Удивительно, как порой у человека проявляется волнение. Да какое волнение: истерика, сильнейшая истерика с электрической слабостью в пальцах, локтях и коленях. А ну и пусть, надо будет Макса на коньяк раскрутить. Пьёт ведь, скотина, она чувствует.

Рита шлифовала стыки фрагментов видео и писала титры. Работа самая неприятная, хотя как сказать. Толик физически всё не успевает. А ей было интересно, что и кто в фильме. Шлифовала и смотрела, и постепенно пришла в то самое состояние, в котором теперь находится. Как вшей ловить. На вшей походили и Максовы мысли, возникавшие по касательной к видеоматериалу. Образы-метафоры: ясные, точные, почти злые. Она так и сказала в экран:

– Злые мысли.

Ну, например, о девочках с рюкзачками. О тусовщицах, вышедших замуж и ходящих на работу. Работа – утром, тусовка – вечером. Где это: изменить себя, изменить жизнь? Просто так, потому что все – хорошие люди и у каждого найдётся кусочек для другого. Убого? Ну почему. Скорее, человечно. Может, они тогда-то и были счастливы. Они все – с трудными судьбами, все любящие и борющиеся за то, чтобы всем было хорошо, и чтобы мир улыбался. Все, все, все. А мужички, намазанные как масло на хлеб, на желание нормальной жизни? С мечтами об адекватности и мирном семейном круге, катастрофически ни к чему подобному не способные? И всё же заполучившие без труда, но с элементом продажи доставшийся комфорт? Не их ли дети поднимутся как гвозди из половицы, чтобы, наконец, планета осуществила тайную мысль их отцов: пусть всё рухнет, скатится в тартарары. И скатится, и всё рухнет, потому что мотив – ненависть. А когда катастрофа начнётся... Впрочем, они все – трусы, и Макс – трус.

– Да что ж у вас там такое творилось-то?

Видео ни о какой идее не говорило. Там были только люди, мягкие и привязчивые, живущие бесхитростно, покорные как овцы. Но совсем не то, что помнила она, и не те, кого она знала когда-то. Не было людей в косухах, пьющих и засыпающих под столами, образцово-показательных в своём маленьком беспределе. И она сама отчасти такая же, именно отчасти, потому что не принимает, не любит того пивного и концертного прошлого. На видео – всё не так, хотя там тоже есть пиво.

– Всё не так. И что я озлобилась, на кого? На Квадрата? На Зайку? Или на Фрау, старшую из трёх? На Катерину третью? Они же все – сильные люди. Катька вытащила свою дочь в жизнь, хотя у той при рождении началась сильнейшая кожная инфекция. Ника работает монтажником по рекламе, всё равно, что альпинист. Герои!

Рита налила ещё чашку чая из бутылки и увеличила титры, поменяв цвет. Написала Толику в личку, прицепив скриншот: не белый, а циан. Толик ответил: хорошо. Всё-таки она очень похожа на свою кошку Тигру. Тигра понимает, что с ней на её языке никто разговаривать не станет, и потому лезет под ноги всем, чтобы хоть «мя» получилось. Макс неоднократно говорил об этом же Ритином качестве, почти криком: ты опять на те же грабли наступила, ты тупая. А она отвечала: к тому, что считают тупой, притерпелась. Как его это «притерпелось» выводило из себя. Теперь она так не говорит. И уже поняла, что это врождённое – любой результат истолковывать в свою пользу. Она умеет. Макс – нет. Но может найти пользу для ситуации в целом. Значит, не для себя одного. А это многого стоит.

И тут раздался вежливый звонок на мобилу. Номер неизвестный, но Рита ответила. На той стороне – приятный, довольно высокий и какой-то кудрявый мужской голос:

– Добрый день. Рита? Я Руслан Зарайский.

Вот как. Кто такой Руслан, Рита знала от Макса.

– Так вам Макс нужен? Он на работе.

– Нет, Рита, я именно с вами хотел бы повидаться и поговорить.

– Телефон от Толика узнали?

Пауза. Странная пауза. Рита по этой паузе догадалась, что что-то с Толиком произошло. Или совсем рядом с ним.

– Нет. От... Иннокентия.

Врёт, конечно. Макс предупреждал, что Руслан врёт всё время, у него такая болезнь. С ней надо мириться, если уж судьба свела с Русланом. Но дай-ка она проверит одну свою мысль; просто спросит, ничего в виду особенного не имея:

– Так вы говорите, Марина телефон дала? Плохо слышно.

Слышно было действительно неважнецки. А Руслан на той стороне обмяк. Как будто вдруг ему захотелось оправдаться.

– Что ж вы так? Да, Марина. Но я её случайно встретил. А у Кеши был. И предлагаю вам переговорить у него дома.

– Так что ж Максу не позвоните?

Снова пауза. Холодная, искренняя.

– Пока не могу. Пока не время.

Он и сейчас его боится. Стороной обходит.

Макс на сообщение: «Руслан объявился и просит встречи», – ответил просто: «Договорись, поддержу». Алексу они оба написали почти одновременно, а тот едва не обрадовался и даже ответил игриво Максу: «У меня утром руки чесались».

Но всё повернулось совсем неожиданной стороной.

Войдя в Кешину хрущевку, вполне чистую для одинокого и пьющего мужчины выше средних лет, Рита уловила тонкий, но отчётливый больничный запах. Это был не спирт, останки вчерашней выпивки, не салициловая кислота, а что-то в запахе самого человека, достигавшем даже прихожей, хотя и крохотной. Кеша лежал на кухонном диванчике, свежий, после душа, с закрытыми глазами. Спит или не спит? Руслан осторожно раскладывал на столике коробки с пищей: пицца, салат. И красивый пакет дорогого кофе.

– Кеша, вот Гватемала. Гватемальский кофе, Кеша. Ты сделаешь нам кофе?

Кеша открыл глаза.

– Сделаю. Сейчас встану.

На стол с едой даже не взглянул. А на столе стояла бутылка виски. Купленного явно не в отечественном супермаркете. И не в дьюти-фри. Возможно, Кеша услышал знакомый звук стекла, когда Руслан переставил бутылку, чтобы освободить место для небольшого пакета с вишневым соком. Вытянув шею, посмотрел на стол. Перевел взгляд на Руслана, потом – на бутылку виски. Руслан Кешин взгляд уловил.

– Из Дублина.

В интонации Руслана нечаянно всплыла нежность. Не к Дублину. Рита вдруг поняла, что ему хотелось увидеть Москву, но он боится её. Увидеть, нюхнуть воздух и снова убежать к себе, на историческую родину. Но всё же нюхнуть. Увидеть. Коснуться. Вот ведь несчастье с человеком.

– Вижу, что не из «Стокманна». Ты её в жопе вёз?

Руслан вздрогнул. А Кеша сел на диванчике. И только тут Рита увидела, как он похудел за несколько дней после похорон отца Ефрема. В этом осевшем воздушным шаром, сдувшемся теле вдруг проступило глубокое изящество и даже грациозность. Но это был уже призрак. Слова исчезли, Рита опустилась на диванчик в ногах у Кеши.

– Рита, выпьете виски? – спросил Руслан. А сам провёл последний, третий стакан над газом. Виски надо пить из тёплой посуды.

– Выпью.

Кеша взял со стола пакет кофе, внимательно прочитал, что на нём написано, и сказал:

– Всё равно ацетоном пахнуть будет. Куда без ацетона в кофейной индустрии.

Вдруг встал и пошёл к шкафу – ноги заметно были слабые.

Руслан, наконец, налил виски в стаканы, а Кеша нашёл не только турку, но и сушёный имбирь. И мгновенно передумал.

– У меня же есть корень имбиря! Будете кофе с имбирём?

Достал из холодильника растительного человечка в ладонь размером.

– Кеша, ты хоть это, возьми – поправься... И шоколад бельгийский...

Руслан видимо волновался. Рита представляла его совсем не таким. Маленький он какой-то, детский. Смешной.

Кеша выпил виски и шоколадку съел. Так пьют водку и закусывают огурцом. Рита, как и Руслан, держала стакан с виски, сохраняя руками тепло. Отпила полглотка, даже не глоток.

– Так о чём вы хотели поговорить?

Очень темноволосая, даже седину видно, три волоска, как у него когда-то. Кожа на лице молочного цвета, бугорки-прыщики не заметны, потому что сияет. Фигура не худая, но длинноногая, складная. По глазам, по жестам – решительная. Руслан не любил решительности в женщинах. А Рита, судя по всему, Максу пара абсолютная. Так и хочется ей сказать: ты разрушаешь мой мир. Как теперь ей объяснить, в чём дело, чтобы он не казался себе нищим, циничным и пошлым? Он – нищим, и здесь, в этой русской помойке? С невозвратно гаснущим будущим, про которое ему всё рассказал его ученик-политтехнолог?

Руслан вспыхнул.

– Полагаю, догадываетесь, о чём. У меня есть песня по мотивам дневника Алины. Песня получила некий местный приз, который помог мне выйти на круг продюсеров, которые заинтересовались проектом «Алина». Я так назвал этот проект.

Макс говорил когда-то, что Руслан обязательно что-нибудь замутит.

– И что вы им сказали, продюсерам?

Руслан вспыхнул снова. Такого рода материал очень нужен. Героиня из Москвы, вышедшая за пределы нации и идеологии.

– Жизнь Алины – это протест против государственного строя и тех изменений, которые ввёл этот строй. Её дневник – исповедь зрелого, нашедшего себя человека, не побоявшегося поставить над собой смертельный эксперимент. Алина не только показала, что абсолютная свобода может

быть достигнута в рамках тоталитарного идиотического режима, но и смогла дать понятие о свободе тем, кто рядом с ней. Протест Алины – самый действенный. Это тихий протест, в который поверят многие и многие люди, потому что имя Алины не использовала пропаганда, и о ней не писали газеты. Теперь есть возможность показать, что Алина – замечательная, сильная личность, великая женщина. Как, скажем, Ульрика Майнхоф. Только Алина выбрала метод более гуманный, настоящий либеральный метод.

Рита удивилась своему спокойствию. Кажется, её такие слова должны были бы взбесить, а она слушает. Хотя – зачем возмущаться?

– У вас же есть её дневники, делайте с ними, что хотите.

Руслан просто, почти по-детски вздохнул.

– Вы не понимаете, какие они дотошные. Им нужно свидетельство, что публикация разрешена наследниками. Или наследником.

– Да охренел ты, Руслан, – сказал Кеша. Во внезапной изумлённой паузе расставил чашки и налил в них кофе.

– Кеша, тебе-то что не нравится? Ты же газетчик, хоть и в прошлом. Должен понимать, как дела делаются. И у нас, и там – пропаганда разная, но методы похожи.

– Всё не нравится, – Кеша сел. А потом облокотился о подоконник и сполз вниз по диванчику, почти лёг. – У неё ноги были грязные, и лицо такое, что твой продюсер ни за что его не покажет. Ты хоть помнишь, как вы с Максом приходили к ней, в последний месяц? Что это было? А ты – Ульрика Майнхоф.

– Вот ведь, так и знал, что встречу прежнюю тупость.

– Так забирай свои объедки и катись отсюда.

Кеша снова лёг и закрыл глаза. Говорить ему трудно. Рита вдруг, будто захотела помочь Кеше подняться, протянула руку.

– Да что ты...

– Нехорошо мне, – ответил он. – Руслан, тебе точно к Максу надо. И к Алексу. Они уже почти записали диск с Алиной, я тоже участвовал, даже читал что-то.

И потом, через паузу:

– А до тебя так и не дошло, что тебе дали копии, которые Зина от руки переписала?

Руслан довольно резко поднялся, залпом допил виски и пошёл к сушилке: взять тарелки, чтобы разложить пиццу.

– Дошло. А какая мне разница?

– Вот блин, наш человек.

Мобильник Руслана подал признаки жизни.

– Алло?

До Риты долетели нотки знакомого голоса: что твой генеральный секретарь. Макс. Она даже немного ждала, что он сам позвонит Руслану.

– Привет! Ну что, заинтересованное лицо, приглашаю на репетицию к Глухому.

Руслан поднял подбородок, словно готовился к бою. Небольшая грудная клетка выгнулась парусом. А он, мятежный, просит бури.

– Алекс будет?

– Мы все будем. Хороший диск получается. У тебя фендер с собой?

А это уже засада. Не взял он в Москву свой белый фендер.

– Ничего, у Алекса – белый стратакастер.

– Ну и пусть на нём играет.

Они все – умница Макс, звёздный Алекс – тупицы. Ограниченные люди. Не в фендере дело. Что дело не в фендере, надо было объяснять самому Руслану, но он боялся. У него давно под ногами всё ходило ходуном.

Договорились о времени и месте.

Кеша лежал, закрыв глаза, и будто что-то слушал. Не спал, а именно слушал. Когда разговор окончился, поднял голову:

– Едете? Когда? К Глухому?

Руслан плеснул в стакан виски, сел возле Кеши.

– На вот. Надо ждать, пока не решили. Через час, сказал, позвонит. Ты бы поел.

– Поем. Поем твоих объедков в картоне.

Кеша на самом деле любил фастфуд, особенно «Фрайдис». Но и в «Макдональдсе» бывал часто. А ещё есть «Бургер Кинг». Там пища жирнее, а по деньгам – то же, что и в «Макдональдсе». Так что объедки – ласковое слово. И пиццу Кеша любил. Но вот незадача – во рту собралась коварная горечь, и еда просто не шла внутрь. Хотя есть очень хотелось, а запахи еды вызывали во всём существе Кеши громкое бурление жизни. Например, травянисто-сырой запах виски, с нотой молока. Или шоколад, горький. Но с инжиром. Инжир он очень любит. Или, наконец, пицца с салями.

– Ношпа, – сказал Кеша, глядя на пиццу, – в ящичке под столом. Руслик, достань мне ношпу.

– Там только дротаверин, – сказал Руслик. В ящике были и старые луеровские шприцы.

– Ну да, ношпа, – согласился Кеша и выпил две таблетки.

...Всё так же, как было тогда. Болезни, угасание, какая-то особенная и мало описуемая неряшливость во всём. Родина. Он на родине, вот ведь что. Руслан едва не плакал. Ему было мерзко, стыдно и унизительно. А забыть, что прожил здесь тридцать лет, не мог. Не мог!

– Руслан, а перестройка-бэби – это ведь про нас. Про тех, кто ломанулся, как черепаха из анекдота, и до сих пор ломится, ничего не понимая вокруг. Я вот что подумал...

Кеша зашёлся каким-то странным кашлем, будто слюной поперхнулся или кто ему горло сдавил.

– Мы очень культурны и абсолютно не цивилизованы. Это я к чему. Есть такой социолог Дэниэл Белл. Впрочем, не только он описывает антагонизм культуры и цивилизации. Но я читал именно Дэниэла Белла. Мне как метафора понравилось. Мы очень культурны, но не цивилизованы. Но нам цивилизация и не нужна, мы ломанулись, и это наше самое большое достижение. А настоящие перестройка-бэби – как раз те, кто родился в восемьдесят пятом – восемьдесят восьмом. Вот они нам покажут кузькину мать. Я по сыну вижу. И по Мите. Они ужасно цивилизованные, от рождения. И потому все – врождённые демагоги. Я знал одного чувака, он почти мой ровесник. Лучшего демагога я не встречал. Блестящий, тонкий, увешанный научными степенями. Но Митя уел его одной своей тупой фразой. Так вот, настоящие перестройка-бэби – это наши дети. А мы только подготовка, опытный материал. Они не любят культуру и её боятся, все. Потому что понимают, как опасна для цивилизации культура. Культура строится на понятии жертвы. Возделывание, удобрение, уход. А какой уход в цивилизации? Только за собственным лицом и телом. И никакого внутреннего мира. Зачем им внутренний мир, когда и так вокруг не всё хорошо? Но они считают стильным и правильным писать стихи, музыку, рисовать, делать инсталляции. Это поднимает их в рейтинге цивилизации. По-твоему – антигуманно? В высшей степени гуманно, потому что все их действия: отказ от религии, мистики, любого понятия о внутреннем мире – имеют в виду только одно. Чтобы не было лишних переживаний. А это гуманно. Эвтаназия гуманна, потому что не надо отвечать за свою жизнь. Сексуальные извращения гуманны, потому что смысл секса исчерпан. Бездуховность гуманна, потому что религия мешает техническому прогрессу и, значит, поиску новых лекарств. Я считаю себя атеистом. Однако послушав Митю, едва не был перевербован Господом Богом в Его лагерь. Руслан, я не против такого взгляда на мир. Но мне в таком мире места нет. Вот что.

Час как-то сам собой прошёл. Бутылка уходила медленно, выпита была всего половина. Рита, внезапно утомившись, калачиком легла на ноги Кеши и задремала. А Кеша всё говорил и говорил, и Руслан слушал, как когда-то. Концепция крохотного существа, на которого давит большой бог. Концепция существа, к нуждам и чувствам которого мироздание равнодушно. Если отстраниться, ничего более бредового придумать нельзя. Но ведь он и сам так считает.

Ровно через час позвонил Глухой. Вежливо пригласил.

– Ну, дверь ты легко найдёшь. Там «Опорный пункт» написано. Моя – следующая, и в подвал. Я там буду. Мы все там будем.

Кеша поднялся с трудом. Виски пить не стал, только рукой махнул. Сделав первый шаг, едва не упал. Рита всё порывалась его обнять-поддержать, но не получилось. Руслан выпил антиалкогольную шипучку и, волнуясь, пошёл готовить машину. Машина была взята у знакомых, так что было бы нехорошо попасться гаишникам нетрезвым. Кеша с Ритой сели на заднее сидение.

Как и предчувствовал Руслан, при въезде на мост оказалась пробка. Встали, в машине немного душно. Рита мирно клевала носом, а вот Кеша разволновался.

– Я выйду. Я знаю – куда. Пешком дойду.

– Да сиди ты. Осталось-то пять минут.

– Руслик, в Москве пробки по три часа бывают. А ты – пять минут.

– Ну, через полчаса приедем. Девушку лучше обними.

– Ритуля пусть спит. А я выйду.

– Не бузи.

И вдруг:

– Да останови ты, я выйду. Тошно мне.

Внезапно дорога открылась. Руслан дал газ, ловко переменил передачу, прислушиваясь. Кеша как-то странно сопел, всхлипывая, ругаясь. Неужели так сильно пьян? Не похоже. И – однако. Но Руслан был за рулём.

– Господи!

Рита почувствовала, что по ногам что-то течёт. Кеша сползал с её плеча куда-то вниз, колени уже под сиденьем, но из последних сил одной рукой старался удержать тело, а другой зажимал рот.

– Руслан, останови, Кеше плохо...

Но Руслан снова дал газ.

– Пять минут, вот эта улица.

Подъехали, припарковались. Кеша – без сознания. Рита выбралась кое-как в другую дверь. Позвала Макса и Алекса. А Руслан всё кружил возле Кеши, будто не верил, что случилось что-то серьёзное. То голову Кеше приподнимет, то снова положит. Он и не знал, как в таких случаях поступать: класть голову выше ног или нет.

Кеша очнулся ненадолго, услышав голоса. Оттолкнул Руслана, попытался подняться. И мягко выкатился на асфальт, на руки Алекса. Уложив Кешу, Алекс распрямился. Полный, одутловатое лицо. Переглянулся с Максом. И вдруг засветил Руслану в глаз. Потом – ещё.

– Ого, готов чувачок, – Глухой уже вызвал скорую. Он был, по-видимому, спокоен, но какое уж тут спокойствие. – У Кеши хоть живот не раздуло. У Дядьки Коли живот был, как у беременного. Ну, бог даст, обойдётся.

Скорая приехала – полный весёлый еврейчик с мягкими большими руками и худющий рыжий студент. Что-то померили, что-то вкололи. Макс попросил:

– Руслан, поезжай с ним. Чтобы – хоть кто-то.

У Руслана под глазом светился сочный бланш.

– Вам бы лёд приложить к вашему оку, – засуетился врач.

Установили носилки.

– Включи сирену, – попросил врач водителя, – нам в реанимацию.

Добавил, обернувшись к студенту, висевшему над Кешей и державшему капельницу.

– Можем успеть.

У Руслана внутри похолодело. А машина, ревя, лавировала, будто исполняла ритуальный танец.

Потом было что-то совсем непонятное. Руслан сидел и ждал, когда Кешу приведут в сознание, прижимал лёд к скулам. Противно, потому что пакет со льдом был мокрый. В Дании или где там было бы всё совсем по-другому, не так скоротечно. В Христании Руслан видел разных людей, видел, как умирали. Но тут – будто самого подрезали, как в фильме о бандитах советского времени. И вот он сидит со льдом, тихий, как мальчик, ждёт совершенно чужого человека и... ни о чём не думает. Думать вредно. Но какая же крепкая связь, какая ужасно крепкая связь, какие морские узлы. Надо их разрубать. Или не надо.

Затем вдруг вспомнилась комфортная квартирка с низковатым потолком, где сейчас, должно быть, спит или рисует его молодая подруга. Его квартирка в Копенгагене. Без стенок, как у Кеши и Макса с Зиной, но с перегородками: кухня, студия. Везде светло, кондиционер и очиститель воздуха. Подруга – аллергик, но почти никому про аллергию не рассказывает. Когда купили очиститель воздуха, завели британского кота Шеро. Подруга его очень любит, вычесывает, и аллергии нет. Там хорошо, где она сейчас, там плотный утробный мир, где свежее молоко можно купить в семь утра, в восемь дать пару уроков и спать до вечера, когда начинается настоящая жизнь. А здесь.

Он узнал её и не хотел признаваться, что это именно она. Подозревал, что она вот так и бродит от человека к человеку, заглядывает в лицо, спрашивает осевшим тихим голоском, непонятно – что спрашивает, и потом уходит. В тот день Руслан шёл по Арбату с Машей Володиной, уже довольно известной певицей. Одна из песен Маши начиналась так: «Мама, в этой стране пожирают своих детей». Руслан прочил ей великое будущее и знакомил со всеми, кого знал сам. Но знал он не многих. Маша, наоборот, как оказалось потом, знакома была со многими, но Руслана ни с кем не знакомила. Руслан так и не узнал, что через месяц после того, как он уехал, Маша с ее басистом выступили на концерте перед самим Петром Мамоновым. Но всё равно у неё что-то не сложилось. Теперь Маша пишет ему в фейсбуке: рокер, настоящий музыкант, твоя судьба – музыка. И метит все его фото. Так вот, день был жаркий, пили пиво. У «Бисквита» Кеша в окружении девиц что-то вещал. Девицы посторонились, когда Руслан с Машей подошли. С Кешей поздоровались тепло. Тогда по Арбату ходила просто волна взаимной приязни. Обнялись.

– Морда любимская, – поцеловал Машу поэт.

Сказал девицам:

– А вот чувак, который написал песню про гепарда.

В этом месяце песня про гепарда пелась на Арбате круглосуточно. Даже Алекс со своей «Сансарой» не был так популярен. Девицы заволновались и стали просить песню. Гитара у Маши была. Руслан, чувствуя себя на коне, сделал красивый жест:

– А вот гениальная Маша Володина. Пишет самые крутые песни. Надеюсь, она тоже споёт...

И всё бы хорошо, но на подоконнике сидела темноволосая герла, на которую Руслан бы и внимания не обратил. Внезапно, едва не ему под локоть, влетела Аська, оттолкнула его, толкнула Машу и метнулась к этой самой герле. А та была словно выключена из всего происходящего. То поднимает руку и плавуче проведёт ею перед собой. То попробует сползти с подоконника, испугается и снова поднимает руку.

– Алина! Домой. Сейчас домой едем, сейчас.

Атмосфера мгновенно переменилась. Девчонки, конечно, продолжали просить песню, но как-то кисловато. Как не к месту и нелепо! Аська в её военторговских тряпочках, эта герла, кое-как прикрытая цветастым ситцем... Да она ещё и на ногах-то не стоит. Руслан пришёл в ярость, на них глядя. Герла поднялась навстречу Аське, но не удержалась и села на землю.

– Очень кружится голова.

Руслан расслышал эти слова интуитивно. Он уже не мог не смотреть в это чудовищное лицо. Оно одновременно притягивало и отталкивало, как будто кто зло пошутил над ним, Русланом, задел за живое. И отомстить за это хамство уже невозможно.

Однажды он ждал подругу на лавочке у подъезда. Рядом с ним пристроился толстый дворовый котище вполне флегматичного вида. К подъезду подошла хрупкая старушенция с пуделько. Вдруг этот пуделёк встал на задние лапы и потянулся к коту, задышав порывисто. Он бы прыгнул на лавку, если бы старушенция не поймала его. Так и стоял на задних лапах, смотря на кота. Руслан вспомнил глаза этого пуделька. Вот такие же были у той герлы.

– Нет, – сказал старушенция, как бы обращаясь к Руслану. – Мы не будем драться. Мы только посмотреть подошли, что ж это за объект такой ненавистный.

Аська звала герлу, но та не сразу поняла, что зовут именно ее. Попыталась было встать, но не получилось, и легла рядом с подоконником.

– Алина, вставай, идём...

Опустилась рядом, обняла лежащую. Девчонки посматривали с беспокойством; песни – потом. Алина, наконец, встала, сама, без Аськиной помощи. Обернулась и посмотрела на Руслана. Глаза встретили глаза. В лице уже застыло не то жалкое, не то жалостливое выражение. Будто её только что уличили в преступлении, которого она не совершала, но наказание уже определено. Она, видимо, волновалась, но страха в ней не было. Было то самое искренне изумление, как у пуделя при виде кота.

– А Честер красивее. И у него волосы вьются.

Фраза прозвучала неожиданно громко. Но это не важно. В голосе Алины было слишком много чувств. Боль, радость о счастливом воспоминании, любовь, отвращение. Слишком много. И никакая песня не могла бы перевесить этой фразы. Но песня потом всё равно была, и девицы, конечно, запомнили песню, а не Алину.

Из странного оцепенения Руслана вывела жена Кеши, шумная, невысокая грудастая женщина. Она успела купить нужные лекарства и весьма строго требовала отчёта о состоянии мужа. Врач-ординатор, молодой крепкий мужик с военной выправкой, выслушал её.

– Ну что я могу сделать. Судя по всему, гепатит це. Печени почти не осталось. Бога благодарите, если выживет.

Через час всё было кончено. Кеша заснул, когда подействовала анестезия. Видимо, у него были сильные боли. И вот – расслабился.

Руслан набрал смс подруге, просил заказать билеты на завтра. Хотел побыть в Москве хотя бы неделю. Нет, нет, не может он здесь оставаться.

Марина сидела в Толиковом кресле при свете ночника.

– Сумерничаешь?

Толик не ждал её. Сама приехала. Что бы это могло означать.

– Жду тебя... Хочу попросить помочь собрать вещи.

– Так собирай.

Он пошёл на кухню за коньяком. Выпил.

– Я помогу. Машина внизу?

Вещей оказалось довольно много. Бельё, пеньюары. Часть – вещи нестиранные, пахнущие кисло и тяжело. Как он мог забыть, не постирать. И что – он может поверить, что вот так, спокойно, собрав вещи, она уедет? Что он так просто от неё откажется? Конечно. Он давно ждал удобного момента. Но это не отменяет влечения к ней. Она прекрасна.

– Мы с Виком...

Да, это его всегда интересовало. У них ведь с Мариной довольно плотная сексуальная жизнь. А её, как выясняется, хватило на двух, со всеми её вагинальными свечами, гинекологами, эрозиями и циститами. Удивительно.

– Нет, ты не думай, мы не...

А вот это ещё хуже. Про е.лю он понимает, но про другое...

– Ну, может, один или два раза...

Какая разница. Какая теперь разница. Он потерял себя и время. И теперь не знает, о чём жалеть. О себе или о времени. О себе – потому что идиот, о себе жалеть нельзя. Он много может в кино, он мог бы стать знаменитостью. Отвратительно было поджелудочное копошение общих с Мариной знакомых, для которых он оказался вне игры, но это переживаемо. А как она стремилась когда-то показать его своим подругам и сотрудникам, какие многолюдные пикники он помогал устраивать. Ну что ж, теперь надо жить без пикников. Пусть она считает себя полной сил молодой женщиной.

«Дайте мне металлокерамический нож, я отрежу половину себя. Только надо верить, что я ей больше не нужен. Это единственное обезболивающее, которое сейчас подействует. То, что она мне нужна, – просто газировка, баловство. Это ничего не стоит. Но надо уверить себя, что я ей не нужен. Крупным планом. Потому что именно в это очень трудно поверить».

– Может, бельё пока в машинку бросить? Ты выбирала машинку. «Индезит».

Когда всё закончилось, сумки были упакованы в багажник, Толик позвонил Аське. А кому ещё? Аська приехала осипшая, бледная. Рассказала про Кешу.

– Одно к одному.

Выпили коньяку. И потом просто, нехотя Толик сказал ей:

– Живи тут.

А после того как она приняла душ, нагрел молока и обнял.

– Проси чего хочешь. Только одного.

Она не ответила. Толик внезапно пришёл в ярость:

– Ты что, думала, я вот так Марину и забуду?

– Ничего я не думала, – ответила Аська и ушла спать на диван в кухню.

– Сумасшедшая, – крикнул вслед Толик. Допил коньяк и уснул.

«Вот усну навсегда. Умру во сне, и вы все виноваты. Особенно Аська. Нечего ей было меня поддерживать все эти годы».

Утром Толик вышел на кухню за кефиром. На Аську смотреть не хотел, потому и зашел спиной к дивану. Дрыхнет. У нее совесть чистая, потому что никогда и не было совести. Живет как птичка, за чужой счет. Но в самом воздухе было что-то не то. Оглянулся.

Аська лежала на полу, головой под стол, подобравшись, будто группировалась во время падения. Кроме белого халата, кстати, ее халата, а не Мариниого, но Марина иногда его надевала, тела видно не было. Толик наклонился и едва не потерял сознание. Подступила жестокая дурнота. Аська была неподвижной и синей, и теперь совсем не рыжей. Куда-то делись золотые оттенки кожи и волос, которыми он любовался даже... Чуть не сказал – сейчас. Аська была как лен, почти серая. Рука, протянутая к телу, отдернулась сама собою. Трогать нельзя. Полиция, скорая помощь... Но сначала набрал Алекса. И сказал:

– Аська...

Звонок застал Алекса на работе. Пообещал, что приедет как можно скорее. Через несколько минут, Толик едва умылся, звонок: Алена.

– Уже еду.

Толик понял, что снова здесь соберутся все, только без Кеши и Аськи. Так и получилось: Алена подхватила Макса, Зину и Риту. Зачем все, зачем? Неужели они все так любили Аську, так заботились о ней. Да и он сам-то – разве понимал, что ей нужно, разве его волновали ее переживания? С Мариной было удобно: холодная женщина. Раньше в самые интимные моменты она думала о Мите, а теперь – о мастерах маникюра и прически. Толика это совершенно устраивало. С одной стороны – легко возбудима, с другой – думает всегда о своем, и значит они оба свободны от выяснений о том, кто же кого разлюбил. А удовольствие и забота, так или иначе, сформируют ровную мягкую привязанность.

Аська не шевелилась. Рука тянется к щеке, будто ее хозяйка очень устала и легла на пол, не дошла до дивана. Будто была очень сильно удолбана.

– Наркотики есть? – Макс ещё не разделся, бледный, в ботинках пробежал в кухню. Про наркотики Толик забыл. А могут и оказаться. Вот ведь стерва.

– Но ведь трогать нельзя?

– Это тебе нельзя. Есть тряпка из замши? Ну чем ты экран протираешь?

– Есть.

– Неси и намочи.

Макс открыл Аськину сумку и начал поиск. Шёлковая сумочка с документами, крохотный кошелёк с единственной тысячей рублей и, вероятно, на месяц. Расчёска, тюбик с кремом. Шприцов и травы нет. И то ладно. Обтёр все вещи хорошо отжатой мокрой замшей, сложил обратно в сумку и положил, где была, на диван.

Полиция и скорая приехали почти одновременно. Время смерти установили тут же, три часа ночи, были какие-то характерные признаки. Смерть наступила от удушья.

– Возможно, экссудат закупорил дыхательные пути. У нее был насморк?

– Был.

И только тут Толик заметил вещь, до которой Аська так и не дотянулась. На столе стоял маленький флакон санорина с антигистаминными компонентами. Полицейский взял его, осмотрел и снова поставил на место.

– Раньше она задыхалась?

– Не замечал. Она жаловалась, что порой трудно дышать.

Раздался звонок, истеричный звонок. Митя.

– Что с ней? Где она?

– Приезжай скорее, – больше Толику было нечего сказать.

Но вдруг, вопреки всему, заплакал.

– Она однажды мои очки спрятала в книжном шкафу. Я так злился. Я ее боялся. Я хотел нормальной жизни, а не как они... Нормального человека хотел...

Когда Аську выносили, образовалась настоящая пробка. Митя буйствовал и не пускал санитаров.

– Нет, я поеду, поеду.

– Мы поедем, мы будем тихо, нам очень надо поехать, – вторила ему Катя.

Толик не поехал. Он внезапно ослаб так, что даже идти не смог.

Когда все стихло и все разошлись, позвонила Марина.

– Соболезную.

Толик вздрогнул от звука этого когда-то желанного голоса и понял, что если бы она сейчас захотела приехать, он бы согласился. Но ответил резко:

– Тоже мне генеральный секретарь.

И дал отбой. И сразу же нервно закусил губу. Придётся перезванивать, извиняться. Впрочем, Марина тоже когда-нибудь закончится.

14.

Всё-таки люди очень любят цепляться друг за друга. Как плети летнего растения. Но очень редко получается, когда такой человеческий клубок катится по времени.

– Вот сколько у меня сегодня гостей, – Глухой обошёл вокруг Зины, замершей у стойки микрофона, и что-то поправил. Этот обход, по часовой стрелке, показался Алексу шаманским ритуалом. Макс, Алена, Рита, Толик и Митя с Кэт разместились – кто где.

– Нет, лучше пока не курить. Девушка может закашлять, получится некрасиво. Так что потерпите. Текст небольшой, недолгий.

Зина знала, что недолгий, сама переписывала.

– Поговори, – попросил Глухой.

– Антициклон, – сказала Зина.

Глухой бочком подошёл к Алексу, сидевшему возле пульта, поднял вверх какой-то рычажок и сделал знак писать.

Зине казалось, что читать Алинин дневник будет трудно. Что текст вдруг покажется чужим, что внутри поднимется бунт против Алины, что просто холодно и неуютно. Ничего подобного. Она как будто и не читала, а просто стояла у микрофона и наблюдала.

Из дневника Елены Петровой – Алины

«3 августа 1989. Скоро день рождения. Футболка уже высохла. Надену эту, чистую, с рисунком Честера: Дорз. В такую жару одежда сохнет очень быстро. Приятно надеть на тело, озябшее от постоянного пота, озябшего даже в такую жару, нагретую солнцем одежду. Эта футболка уже не белая, а желтоватая, от мыла. Когда были деньги, купила сразу несколько кусков очень душистого розового мыла. Чтобы руки всегда приятно пахли. Теперь даже стираю розовым мылом. Всё равно мне Игорь шампуни покупает, я ими моюсь. На день рождения можно надеть любимую немецкую

рубашку в радужную клетку. Но боюсь брать из шкафа чистую одежду. Придётся стирать, а сил не много. Одну рубашку я постираю, или футболку, но три – уже нет. Надо будет просить Аську или Макса. Это нарушение правила. Но не лежать же голой. Хотя почему?

Впрочем, всё это бред, бытовой бред. Говорят, что это – жизнь. Накануне дня рождения приходят в голову разные интересные мысли. Например, что я увидела и что поняла за эти двадцать пять лет. А поскольку нет точного ответа, возникает вопрос, правильно ли задан вопрос. Не бред ли подводить итоги? Есть ли они, эти итоги, хоть в чем-то? Может быть, и есть. Но я слишком четко могу ответить на вопрос, что видела и что узнала. Именно эта четкость и смущает. Выбор между красотой и уродством здесь и сейчас будет всегда в пользу уродства. Не знаю, почему, но если бы было иначе, я не лежала бы больная на диване. Выбор между любовью и равнодушием всегда будет сделан в пользу равнодушия, так диктует инстинкт самосохранения. Выбор между войной и миром будет в пользу войны. Всё это инструменты, влияющие на расстановку сил и иерархию или анархию внутри общества. Уродство, равнодушие и война – это тот скелет, на который крепится мясо каждого конкретного человека. Но в том-то и дело, что тянется человек к любви, покою и красоте. Он желает их, но никогда не сделает выбора в их пользу, потому что этот выбор пугает, этот выбор требует ответственности.

Очень я стала умная со своим розовым мылом. Пишу какой-то ненужный трактат. На самом деле всё очень просто. Возможно, я умираю, и теперь мне ясно видно то, что я не хотела замечать когда-то. Если бы я не умирала, не желала бы признавать всего этого. А теперь у меня есть возможность сказать, что получилось выбрать красоту, и заплатила за нее жизнью. Получилось выбрать любовь, и заплатила за это жизнью. Жизнь, как оказалась, нужна мне была как средство оплаты красоты и любви. И еще – очень люблю писать бред. А этажом ниже пекут пирог с яблоками. Очень хочу горячего пирога с яблоками и молока. А Игорь снова принесёт рыбу, потому что рыба – белковая пища, она укрепляет ослабленный организм. А я хочу пирога с яблоками».

Эпилог

– Аленушка, ужинать будем?

– Да, иди скорее. Я уже тут.

Алекс не узнавал Алену. За неделю из его жены вылупилась совершенно другая женщина. Но в чём это проявилось, он до сих пор не понял. Не красится? Так она вообще красилась довольно скупо, и только в дорогих салонах. Одежда? Это ближе к сути перемены, но Алена не носила ни слишком ярких, ни слишком дорогих вещей. Прическа? Ещё ближе. Прежде Алена никогда не собирала волосы в хвост, такую роскошь прятать нельзя. Выражение лица. Именно спокойное, но бабье выражение лица. Вот что с ней произошло.

Рита и Зина появлялись в доме теперь довольно часто. Алекса это приятельство Алены раздражало. Скорее Рита, чем Зина. Зину, как ни странно, он был рад видеть, и она всегда отвечала ему доверчивым распахнутым взглядом.

– Сестренка по жизни, – думалось ему, – такое тоже бывает.

Рита определенно влияла на Алену, Алекс это заметил, но понять, насколько далеко может зайти ее влияние, не мог. Да и Алена – камень для любой косы. Однако вот уже вторые выходные женщины, пошептавшись, сбегали утром в храм.

– И что им там надо? Медом, что ли, намазано?

Плюсы в такой рокировке были. Когда женщины приезжали к Алене, Алекс звонил Максу. Сначала просто выпивали, а потом Максу пришла в голову идея раскрутки Алексова канала. Вполне бредовая идея, но оказалось весело.

Диск получился красивый и стройный. Сделанная Ритой обложка с размытым изображением Алины, на лбу которой сидит бабочка, соответствовала самым высоким требованиям полиграфического дизайна, уж в этом Алекс разбирался. Только непонятно было, кто будет слушать диск.

– А ты не пытайся определить аудиторию. Пусть диск висит, люди найдутся, – посмеивался Макс.

Количество просмотров было всё же впечатляющим. Тут явно не без Мити. И не без Глухого. А тот, подначивая, сказал:

– Ну, ребята, боюсь, что скоро могу вас обрадовать.

Что бы это значило.

В комментариях к диску появился Руслан и написал латиницей поздравление с прекрасной работой. Затем просьбу: хотел связать Алекса с продюсерами, которые помогли сделать тот самый клип, с грустной девушкой. Алекс отказал, сославшись на Глухого. Клип на песню Руслана действительно был милый, немного печальный и очень лиричный. Но совсем не про Алину.

«Удивительно, что после того, как диск завершен, я про нее и не вспоминаю. И никто не вспоминает. Только пару раз от Макса услышал ее имя. Но так и должно быть. Говорят, живым – живое. А она превратилась в художественный объект».

Рита переживала подъём. Анализы у Илюхи оказались отличными. Едва ему это сказали, попросился в секцию фехтования. И теперь каждый вечер нападал на Макса с катаной и учебной шпагой. Но нет-нет, среди счастливого потока возникала тень смущения. Вот она живёт как нормальный человек. У неё есть дом, сын, муж, на которого можно положиться. Кто бы мог подумать, что из Макса получится такой муж. Но всё это не ей принадлежит. А она лежит на дне реки и смотрит через прозрачную воду на женщину, еще очень привлекательную, которая проверяет тетради сына, готовит Максу ужин, ходит в храм и вдобавок зарабатывает себе на шпильки.

– Это пройдет, – уверяла она себя, – это скоро пройдет.

Все происшедшее еще сильнее сблизило Риту с Зиной. Теперь соотношение между ними изменилось. В Зине оказалось гораздо больше устойчивого и гораздо меньше лишнего, чем в Рите. И потому тонкое расслоение, которое теперь испытывала Рита, Зину не беспокоило. Додумать эту мысль было страшно. Получалось, что лишнее – семья, сын, муж. Получалось, что Рита живет чужой жизнью в своей семье. Что она обманывает домашних. Зине обо всём этом думать не надо было.

Толик даже поминок по Аське не стал устраивать. Ему тяжело было всё, что хоть как-то напоминало происшедшее. Но с фильмом установились очень странные отношения. Толик бросался в эти съёмки со страстью. Порой, окончательно заморочившись, подбирал эффекты. Например, сцену с бабочкой сделал наподобие раскрашенного вручную фильма. Но потом отказался от эффекта и вернул чёрно-белый цвет. Он просматривал съёмки по нескольку раз, не надоедало и хотелось смотреть ещё. Особенно нравилась сцена, где Алекс играет на гитаре и потом ложится на матрас. В результате всего этого безумия получилось сорок минут медленного и мягкого рассказа о людях, влюблённых друг в друга и совершенно счастливых, воздушно и ласково счастливых. Фильм дышал и смотрел в зрителя беззащитно и доверчиво. Марина, безусловно, появлялась. То чаще, то реже. Но ее появления уже не значили то, что значили, когда Аська была жива. Пирога с курицей Толик уже не готовил.

А Мите через Глухого был предложен неожиданный контракт с одним легендарным исполнителем. Предстояло довольно трудное турне. Митя в предвкушении репетиций со звездой совсем забыл о Марине, а когда оказалось, что наступил день ее рождения, испытал даже облегчение. Он очень хотел разорвать эту связь. Если он не позвонит и не поздравит ее, она обидится и устроит сеанс молчания. А там он уедет. И кто знает, может у него появится новый номер телефона, который она не знает.

Но Марина позвонила сама:

– Поздравляю тебя с днем моего рождения!

Неожиданно Мите вспомнилась Аська, и он ответил с ее интонацией:

– И тебя тоже.

Конечно, отношения с матерью будут длиться всю его жизнь, и Катя так говорит. Но какое ему дело до Марины в преддверии новой жизни?

«Вот и разошлись по углам. Каждый – на отведенное ему место».

Макс был очень доволен диском. Он побелел как старый пух, рыжина стала почти незаметной. Над висками кружились бледно-абрикосовые кудельки, которые он сам в хорошем настроении называл пейсами. Возможно, этот диск оправдывает всю его бестолковую жизнь. Двадцать

лет он не знал, на что себя употребить, а теперь есть прекрасное произведение. И ведь не только диск. Рядом – люди, которыми можно восхищаться. Их музыка. Алексово уникальное – мрачноватое и вместе с тем лёгкое звучание с поразительной гитарой, графичной и не резкой. Небольшой голос Зины явился совершенной точкой к диску. Толик завершил всё-таки фильм, в который включена была музыка Алекса. Однако такой гармоничный финал вызывал нерадостные мысли.

«Все по местам, как во время войны. Каждый при своем деле. Как будто прошлое было придумано. Всеми вместе, в несколько часов репетиции. А ведь есть момент, что прошлое было всё же придумано, и не было ничего. И Алины не было. Не было ее записных книжек. Как говорят дошлые культурологи: произведение искусства начинает существовать отдельно от автора. А мне интересно, как оно может существовать отдельно от автора? Да и что такое автор? А если у произведения нет автора, как оно может существовать отдельно от автора?

Впрочем, всё не то. Была иллюзия, что между не похожими друг на друга людьми могут возникнуть прочные отношения. Что есть нечто, людей объединяющее. Скажем, искусство. Но опыт, связанный с дневниками Алины, показал как раз обратное. Первое, что нельзя полагаться на отношения. И второе: искусство скорее причина раздора, чем средство объединения. Ведь если описать все произошедшее более холодно и отстраненно, получится, что все персонажи, и я первый, вели себя неестественно. Что вся выплеснувшаяся забота была чужой, надуманной, искусственной. И как вывод – Алины не было.

А если только она и была? Если только тогда, когда трудно купить мыло, когда она до крови стирала руки, пытаясь поддержать чистоту в своей нищей квартирке, и были отношения, и была забота друг о друге, потому что – иначе не выжить? Однако это всё глупости. Не глупости, как мы вместе купили кожаные белые туфли в комиссионном отделе, за двадцать пять рублей, взятые из её последней зарплаты в пятьдесят пять рублей. Не глупость и не сон, как мать Честера увозила на дачу Алинин холодильник, купленный у нее, чтобы хоть как-то ее поддержать и оплатить использование ее сыном живого человека. Такова была ее материнская совесть. Тут нет ничего аморального. Может быть, только эта женщина и понимала, что такое ответственность, и что ответственность неизбежна. Старомодный и по-своему нравственный жест. Но когда нам с Игорем выдали еще теплую урну с прахом Алины, мне казалось, что в мире что-то нарушилось и уже никогда не вернется на свои места. Так и случилось, и даже возрастающая красота жизни не может скрыть этого искривления. Нет, у меня нет ощущения несправедливости. Что мы с Алиной поступили несправедливо, или Бог несправедлив к ней. Но в том, что случилось, есть чрезвычайно ясное и чёткое отражение какого-то давнего и очень страшного события, катастрофы. Именно это и тревожит, как звонок в будущее, а не сама смерть. И как бы ни был хорош диск, ничего уже не поделать с тем, что это искривление есть и постоянно дает о себе знать, как хронический недуг. А так – все по местам, как того требует техника безопасности».

Зина возвращалась из «ИКЕА». Она любила эти долгие поездки и мрачный склад вещей. Место пробуждало в ней военную бодрость. С Алексом установилась робкая и осторожная переписка. Начала, конечно, она. Просто написала: я думаю о... Потом: «Обожаю такую погоду. Хочу посидеть в кафе в центре». Алекс против ожидания ответил. Конечно, в кафе она посидела одна, но и хотелось быть одной. А потом пришло сообщение от Алекса: «Я очень злился на тебя, когда вы долго болтали с Аленой». Она ответила с улыбкой: я понимаю. Вот и теперь он спросил: «Купила?» Она ответила: да. Железные коробки для двух терракотовых записных книжек и одной тетради для записи кулинарных рецептов. «Не стоит продолжать эту переписку. Надо жить, как будто ничего не было. Какая глупость – ничего не было».

– Да, и почему я не сказала Максу, что ее последние слова были: Войцех Ярузельский? Там, на первой же странице книги для записи кулинарных рецептов, Игоревой рукой написано, что она сказала «Войцех Ярузельский», когда ненадолго пришла в сознание. Но это моя тайна.

20.03.2002 – 20.09.2014

Иван СОКОЛОВ

ЛЕДЯНОЕ ЭХО

***

шиповника разгаданная суть
волос молвы разинутая радость
левопроточной головы
трескучая совистость
куста прави́льного хвоста
истереблённые сне́ги
деревонебные сада́
у мрака человека
тянучие сияния в рамке
шума шекспировых сонетов
неслышные вибрации весны
в единоперстном лете

Ода ночи

Я так люблю дрожанье ночи
и юбки неба оползень дурацкий,
мне мило скучного дозора
упрямство в фонарях,
в ту самую юбчонку вперившихся косо,
как будто видно в надутом колоколе тверди –
другие берега?..
тугие пряжки звёзд?
иль отражение кривое
само́й желтоголовой солдатни?
Как же я люблю земли немые руки,
держащие на скользком весу
чужую кровь, которая и мне одежда.
Я не могу не закрывать глаза,

Иван Соколов родился в Ленинграде в 1991 г. Аспирант филологического факультета СПбГУ (диссертация на тему «Американская поэзия XXI в.: инверсия ценностных стереотипов»). Преподаёт английский язык. Оригинальные стихи в журнале «Воздух», в альманахе TextOnly и на порталах «Квиркультура в России» и «Полутона». Переводы англоязычной поэзии и прозы: Тед Хьюз («Гвидеон»), поэты «языковой школы» («Транслит»), Фрэнк О'Хара («Митин журнал»), Луиза Глик («Воздух»), Джерард Мэнли Хопкинс («Носорог»). Критические статьи и рецензии в журнале «Новое литературное обозрение» и на сайте Colta.ru, а также в «Хронике поэтического книгоиздания» журнала «Воздух». Книга стихов и прозы «Грустный Иван» (2010), книга стихов «Мои мёртвые» (2013). Финалист Большого Петербургского Слэма-2010. Лонг-лист премий «Дебют» (2010, номинация «Поэзия»), «П» (2010), «ЛитературРентген» (2011), конкурса «Критерии свободы» имени Иосифа Бродского (2014) и премии Аркадия Драгомощенко (2014).

когда колдуний праздничный корабль
меня – ночного мотылька –
своей ароматной горстью бережно хватает,
перевозя в иные долы,
к чужим камням, к не знакомым мне кустам можжевельника,
к зеркалам озёр, покрытых влажной пылью
с колеблющейся юбки неба, –
вот нега, вот покой,
вот долгожданное блаженство.
Мне хорошо, когда, на крашенном золой
и киноварью дорого́й пиру,
я гость, оставшийся один
в мокром от густых отсветов
чадящих свеч углу,
никем (и меньше всех – собой) не званый гость,
на дымчатом пиру,
спасибо, Боже, за сию ночную малость.
Я так люблю, когда я мёртв
и лодочник простуженный,
как гаденький фонарь, всё тянет пясти
к прорехам в саване моём.
Как славно быть потерянным подарком в запертом депо,
как радостно в бесхозном саду
висеть желтеющими грушами,
покачиваясь от столкновений
с электричками ночных мотыльков, – я их всех,
как дочерей, как тёмных скал
в озёрной глади треснувшие отраженья,
как пятна крови на дороге в пыли, – люблю.
О Господи, возьми меня в ковчег, нагого,
мне хорошо бы было, когда пьяные мартышки,
накурившиеся змеи, истеричные ласточки,
напуганные высотой небесного покрова,
одной спокойной, тёплой ночью
меня с тобой ко дну б пустили...
О радость пьянящих железных ароматов,
о полусвета хитрая игра,
две дочери мои, предавшие отца слепого,
как я вас люблю, как дую на горячее небо в ответ,
чтоб вас не обожгло,
и ты, любимая младшая дочь,
раскидистая сень колючих можжевельников,
которая любила меня сильнее всех,
как я хочу тебя прижать
к израненной твоей нежностью груди.
Вы все, мои кинжалы,
пламя летучее моё
и девушка-змея, одетая в цветастую лазурь,
когда засну, не покиньте меня,
ибо ночь так одинока
и неподвижна.

***

три четверти кипящего огня
размазаны по донышку сосуда
и чёрный нож из моего вина
проходится зимой по сдавленному саду
как волосы ложатся обручем на темя
когда горит тоска в холодном чреве
так я ложусь и пахну золотой смолой
сжимая голос неживой

***

С. С.

Ландыш-лучик, милый ландыш
С головой как пух во льду.
Что ты плачешь, ландыш-радость,
Наводя тоску на сад?

Раньше, юный колокольчик,
Ты весне звенел –
А теперь стоишь христосик
На ночном холму.

Кто рассыпал эти камни
У твоих корней –
Раскалённые зеницы
Ангелов из тьмы?

Кто одел тебя в костюмы
Из багрянца и кармина,
Приказав зачем-то слугам
В сад *земной* тебя сослать?

Засыпает сад душистый,
Темнота целит цветы –
И чего ж ты плачешь, чистый,
Когда кровь твоя свята.

***

кому и как ответит небо
когда в оранжевый песок
сухим подобьем бересклета
чинным подолом ветряным
совиной памятью живым
свидетелем кровистого забега
ударит капля солнечный челнок

Анатолий БУЗУЛУКСКИЙ

ХОРОШИЙ ПИСАТЕЛЬ

Рассказ

Мама говорила, что в советские времена всерьез, нередко на высоком уровне обсуждали, казалось бы, совершенные пустяки: может ли, например, плохой человек быть хорошим писателем? Уже поэтому, из-за подобных общественных дискуссий, мама находила в себе горделивую уверенность называть советские времена благословенными.

Нина удивлялась матери: «О чем же здесь дискутировать? Хороший человек может и не быть хорошим писателем. Но плохому человеку ни за что не стать хорошим писателем, будь он хоть семи пядей во лбу».

«Не скажи», – возражала мать.

«Почему же? Ведь литература тогда лишь хороша, когда правдиво и художественно отражает действительность. Правдиво и художественно – значит беспристрастно, но с сочувствием, болью, состраданием, по-доброму. Так может мыслить и переживать только хороший человек, нравственная личность. Так нельзя притвориться. Плохому человеку притвориться хорошим можно где угодно, но только не в литературе. Слово выдаст лицемера. Синтаксис разоблачит пройдоху. Лживая душа (а плохой человек и есть лжец) не создаст хрустальной речи. Хрустальной может быть только искренность. Искрящаяся сердечность».

Известный писатель был внешне сильным, гладким, с лысеющей и поэтому бритой головой. Ему не было и сорока, но последние десять лет он числился мэтром, в молодых же авторах он не ходил и дня. Он родился с фактурой хозяина, вожака, властителя дум. Бывают такие люди, которые начинают вызывать священный трепет, будучи еще младенцами, детьми. Бывает, принц не вызывает трепета, а какой-нибудь детдомовский малец вызывает.

Нина записывала интервью для телеканала с известным писателем в его новом доме. Дом был еще пустым, гулким, почти без мебели. Нина подумала, что этот дом будет всегда пустым. Нина думала, что житейская простота и намеренное равнодушие к вещам были присущи не только известному писателю, но и его домочадцам. Ни детей, ни жены не было слышно. «Они у себя, они у меня тихие», – улыбнулся писатель. Нина представила себе лобастых, в папу, ребятишек и провинциально улыбчивую писательскую супругу. Типичная писательская жена боится показаться прислужницей в собственном доме и поэтому ведет себя с посетителями либо как беспокойная мать писателя, либо как интеллигентная соседка. Когда визитеры уходили, писатель, его жена и дети обнимались и целовались, как после долгой разлуки. Они смеялись друг другу, смеялись, что опять встретились.

Известный писатель и Нина сидели в креслах у большого французского окна. На журнальном столике стоял торт, похожий на неприступную крепость. К торту, действительно, никто не прикасался. Писатель говорил и пил чай невозмутимо, не обращая внимания на телекамеру и посторонних людей. Иногда он поглядывал на спутанные кабели на паркетном полу.

Анатолий Бузулукский родился в Самаре в 1962 году. Окончил филфак Ленинградского госпединститута им. А.И. Герцена. Служил в армии, учительствовал. Член Союза писателей России. Автор книг прозы «Время сержанта Николаева» (СПб, 1994), «Антипитерская проза» (СПб, 2008) и публикаций в журналах «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Интерпоэзия», «Нева», «Русская жизнь». Лауреат премий им. Гоголя и журнала «Звезда» за лучшую прозу. С 2008 года – постоянный автор журнала «Волга». Живет в Санкт-Петербурге.

Писателю нравилось, что за окном лил дождь. Деревья стояли черными, осенними, забор был тоже черным, деревянным, нарочито деревенским. Пейзаж за окном и забором был просторным, словно не подмосковным, а его, писателя, родным, волжским, с сырым дымком вдалеке.

Нине казалось, что писатель говорил умно и по-писательски тонко не только о том, что витало в воздухе, но и о том, что лишь зарождалось. Писатель предчувствовал ее предчувствия, ей нравилось, что он опережал ее вопросы и улыбался этому не великодушно, а стеснительно. О писательстве он говорил выстраданно. Он говорил, что настоящее писательство – это не добро или зло («не поймите меня постмодернистски»), это – пройти по узкой грани между добром и злом. Конечно, Нина такое уже не раз слышала. Но ей нравилось, что говорил он об этом с убеждением, назидательно, как публичный человек, как учитель.

Нина понимала, что он видит ее красоту, что он не боится умную женскую красоту, но он не глотает слюнки, не опускает глаза, он не падок, он выдержан, он ведет себя со всеми нами исключительно как писатель. В его жизни нет места для Лили Брик.

Ему нравилось, что Нина лишь делала свою работу и после работы собиралась забыть о нем. А он, говорили его глаза, напротив, теперь будет помнить о ней как о неком прообразе.

Она сказала, что наткнулась в его новом романе на строчку Андрея Белого. Известный писатель оживился: «О, вы единственная это заметили».

Она видела, что он хотел добавить: «Принято во мне не замечать аллюзии из Серебряного века». Но не добавил, отпил чаю.

Он сказал другое: «Нет, я не для того, чтобы показать свою образованность, привлек Белого и Бальмонта к своему тексту, не для того, чтобы сблизить ту эпоху с нашей, чтобы создать единый культурный контекст. Нет, не для этого. Так получилось, что строчка сама вписалась. Критики не любят, когда писатели говорят о наитии, о непредумышленности речи, о стихийности творчества». Нина знала, что писатели периодически лукавят и кокетничают. «Нет, в данном случае не лукавят», – улыбнулся известный писатель.

Улыбался он как обычный красивый, крепкий парень.

Вот, думала Нина, он произносит неверно – «Ба́льмонт. А надо – Бальмо́нт. Вот она это знает, а он, писатель, не знает и не хочет знать, хотя и связывает себя с культурой Белого и Бальмонта.

Это, конечно, не страшно, это чепуха, думала Нина. Писатель увидел фамилию Бальмонта впервые на бумаге, а я услышала ее еще в школе, от своей учительницы литературы. Я слушала о Бальмонте в стенах родного филфака, посещая лекции лучших московских профессоров.

В моем кругу общения говорят «Бальмо́нт», и это одно из привычных, заурядных знаний. В окружении писателя не так, в его среде этого не знают. Ничего не попишешь, культуры в моем университетском кругу, думала Нина, больше, и она тоньше, во всяком случае – внешняя. А в его кругу что же? Там не придают значения тому, как произносятся фамилии поэтов Серебряного века. Зачем он говорит о «Доме-2», куда якобы надо было поставить полку с книжечками для пропаганды чтения? Он, этот известный писатель, – не абсолютно тонкий книжный человек. Вот Толстой был тонкий книжный человек, и Чехов был тонкий книжный человек. Правда, для писателя это не главное. Хотя именно ей, Нине, хочется от настоящего писателя абсолютной культуры, орфоэпической, интеллигентской.

Вот глаза, видела Нина, у него смотрят хорошо, с абсолютной культурой, он понимает женскую природу, он снисходителен к нашим рефлексам.

По дороге домой Нина вспоминала, что известный писатель порой волновался и говорил самодовольно, глупо. Например, он вдруг произнес: «Я не люблю участвовать в экранизациях моих произведений. Это не мое, это другое. Это не одно и не второе, это – третье. Я все знаю про своих героев. А режиссер знает по-другому. Режиссеры же ко мне обращаются наши лучшие, из первой тройки, я не буду называть их имена, они широко известны».

Нина полагала, что по большому счету, не для культурологии и не для культуры в целом, но по гамбургскому счету, Бальмонт, в конце концов, был не ахти какой поэт, чтобы люди через сто

лет не ошибались с ударением в его фамилии. Бальмонт – забавный, милый (так бы его охарактеризовали и в то, и в наше время). Нет, он поэт, все-таки поэт. О нем писали, что всю жизнь ему были ближе и роднее женские души.

Нина думала, что любовь, в том числе любовь к литературе скукоживается без внезапного восторга. Без внезапного восторга вообще тяжело жить. Нина ухмыльнулась: бойфренд Олег в этом месте непременно бы всё опошлил: «У тебя, Нинок, восторг звучит как оргазм».

Нине говорили, что она чересчур часто разглагольствует о любви. Это подозрительно: часто говорить о любви – значит желать любви, но не верить в любовь. По сути, это одно и то же.

Мама о писателе не спросила. Мама его не читала, она видела его по телевизору и называла импозантным. Почему-то не импозантным мужчиной, а просто импозантным.

Мама последнее время все больше любила говорить глазами.

«Ну что, Нина, понравилась ты ему?»

«Можно без этого, мама?»

«Без чего, Нина?»

«Без этого взгляда».

«Не понимаю, Нина».

«Ну и хорошо. Я иду спать».

«Сегодня по каналу “Культура” шла интересная передача про сны. Про осознанные сны».

«Хорошо, мама. Я – спать».

Вся ночь, вся любовь – обрывки снов с порезами пробуждений.

Светлана ГУСЕВА

***

на раз-два-три останется нам снег
и снег другой и третий без названья
и глянцево шиповнику краснеть
который день от света к свету занят
вывязываньем линий по воде
налитой в песью миску возле дома
обмен теплом
каким словам глядеть
чужому вслед и оттого родному
что провожать – взгляд ровно простудить

по комнате по памяти три шага
и под стеклом на уровне груди
отдушина стеклянных красных ягод
продляет невозможный разговор
до снега снегом спину истирает
собака спит и сердцем на весь двор
тебя кричит звезда. одна, вторая

***

сквозь скрип и свист входил легко
снег в темный день. читать нетрудно:
моя любовь – пэ бирюков
с обратной стороны секунды.

культей к колену прижимал
мой дед часы; и закрывалась
от света зеркалом зима.
по контуру полуовала
росли вниз крышами дома.

стою, не отряхнувши рук,
в прошедшем через стекла свете.
звук разбивается о звук
и воскресает, не заметив

Светлана Гусева родилась в 1987 году в Москве. Училась в школе с углубленным изучением изобразительного искусства, в 2010 году окончила МАрхИ, работает архитектором. С 2004 года посещает семинар А.А. Кубрика. Лонг-лист независимой литературной премии «Дебют» (2014).

***

жили тогда в очаково.
дурочка-маша верила,
что прорастает дерево
к свету из сора всякого,
если позвать по имени.

шли после школы на́ реку.
дед собирал чинарики
в чашку из алюминия.

небо с водою смётано
по горизонту рыжему.
окна на лес засижены
мелкими самолетами.

в бочке с водой из облака
плавала тень тяжелая.
маша звала нас пчёлами,
а отвечал ей колокол.

***

внутри воды еще одна вода,
собравшаяся в запах, вкус и цвет.
забросит дождь пакет на провода,
и это будет правильный пакет.

и мама принесет домой кота,
который самый рыжий в мире кот.
сойдутся широта и долгота
на кальке. эту карту не сведет,

но нарисует заново сквозь свет
живущий между стеклами паук.
и день, и ночь шуршит собой пакет,
и в этом есть какой-то верный звук.

***

что видишь ты, когда ты видишь сон,
на облаке, за лодкой, из которой
один рыбак растет и вверх, и вниз.
смотать ручей в клубок, сходить за псом –
(он занят ссорой с тракторным мотором.) –
мир бел – тик-так – дым сел. как так? квас скис.

кукушка отвечает петуху,
они сошлись на том, что солнце село,
как будто я держу их в голове.
прав тот рыбак, который наверху –
он ходит по земле, таскает тело
и губы рвет искрящейся плотве.

семен-дурак живет спиной вперёд
и любит дыни. впахивает в морге.
прикручивает крылья к муравьям.
я думаю, сегодня не помрёт
йоркширский зверь по кличке ингеборге,
и шью тебе рубашку из старья.

ты ближе к небу, смотришь, ешь и пьешь.
у городских горела сажа в трубах,
и сыпалась побелка с потолка.
на дрожь земли ответил дрожью дождь:
так дерево прощает лесоруба,
жующего былинку чеснока.

***

все, что позвано, держится накрепко,
до тех пор, пока я не солгу.
белый крест, две собаки и фабрика,
мы стоим на одном берегу

позабытую книжку у тополя
пролистает пятнистый рыбак.
ты все ходишь кругами да около,
не даваясь мне в руки никак

человек возвращается к ужину,
моет руки, целует жену,
хлеб и масло, вино и жемчужина.
я тобой подчеркну тишину

Николай ШАТРОВ

(1929 – 1977)

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

***

На земле, на земле, на прекрасной земле,
Из которой растёт трава,
Хорошо лишь одно: жить с любимою мне
И придумывать ночью слова.
Говорить ей «проснись», а потом «улыбнись»...
Это лучшие в мире стихи.
Существуют, конечно, и низость и высь,
И немало другой чепухи...

Еще вслед

Посижу, попишу, покурю
Разве ты не достойна стиха?
Мы зарезали нашу зарю
Без ножа, без нужды, без греха.

Полежу, погрущу, подремлю...
Новый день. Новый свет, новый стих...
Не затем ли я ветер люблю,
Что душою навеки затих.

Патетическая соната

Ребенка носят на руках,
Чтоб он не плавал в облака,
Чтоб в жизни не терпел урон
И в небе не считал ворон.

Ребенка носят на руках,
Как песню на материках,
Как в сердце боль, как в сердце страх,
Как слезы в спрятанных глазах.

Вот отчего, вот почему
Мы поклоняемся ему!

Неотступное

Нет, глаза твои не померкли,
Что мои освещают сны.

Вечно в памяти, словно в зеркале,
Дорогие черты ясны.

Только нас разделила трещина,
Судьбы надвое рассекла...
Смотрит, смотрит и смотрит женщина,
Но не выглянет из стекла...

У двери

Еще успею нацарапать
Стихотворенье до утра...
Сплету декоративный лапоть
Крючочком на конце пера.

Какая Золушка примерит
Невзрачный этот башмачок,
В котором сбиты зад и перед,
Подошва смотрит на бочок?

Но это все мое богатство,
Надежда лучшая моя.
А вы не смейте прикасаться
К изделью грубого шитья.

У двери маленькая ножка,
Давно знакомая по снам...
Один шажок... еще немножко...
И слава улыбнется нам!

Про дождь

Я соскучился о дожде,
Барабанящем по трубе,
О соленой морской воде
И, наверное, о тебе.

Это было давно, давно –
То, что память сдала в утиль...
Мы сидели с тобой в кино
И смотрели дурацкий фильм.

На экране плясал гимнаст
С напряженно глупым лицом.
Ты сказала: довольно с нас
Этих драм со счастливым концом!..

Я забыл выраженье глаз.
У тебя, Королевы Снов.

Но всё помню смертельный пляс
На канате среди домов.

Стюардесса (миф)

Чертежи двадцатого века –
Над планетой авиатрассы.
Средь летящих есть ангел некий:
Стюардесса – помощник аса.

По рассказам, она прекрасна,
Рождена, как земные люди.
Только жить на земле опасно
Ей с такой голубиной грудью.

Трудно выдержать запах пота
И не вынести тяжесть жира...
О, заоблачная работа!
Не мужчины, а пассажиры...

Правда, есть мешочки для рвоты –
Всё же с поездом – несравнимо.
Стюардесса, мечта пилота,
Экстра-класс, валькирия-прима.

Сфинкс, загадка крылатой эры,
Почему обжила ты лайнер? –
Тем, кто в небо теряет веру,
Видеть ангела надо крайне.

И ещё одно объясненье
Гонят мысли о катастрофе
Эти гоночные колени,
Эти чашечки с крепким кофе.

Подсознательно мысль гнездится:
Ничего случиться не может,
Если с нами такая птица. –
Ведь она разобьётся тоже?!

И умеющему молиться,
И не смеющему – открою:
Падать с ней всё равно, что слиться...
– Чашку кофе мне, сеньорита!

Пингвины

Зимой молчишь ты от ангины...
А на шестом материке –
Там круглый год кричат пингвины
А пингвинячьем языке.

Они – как маленькие лодки,
Поставленные на корму...
Их вёсла-руки, словно плетки –
Летать им вовсе ни к чему.

Нельзя смотреть на них без смеха,
Напоминающих кули.
Им в холода не надо меха,
Владельцам сказочной земли.

На двух ногах – ну точно люди,
Забавный праведный народ,
Не поддающийся простуде
И не танцующий фокстрот.

Они не курят, не дерутся
И не читают глупых книг.
Живя без войн и революций
В стране похожей на ледник.
.....
О, ты, звучаньем соловьиным
Мне озаряющая тьму –
Скажи, ты хочешь стать пингвином?
И я с собой тебя возьму!

Совет

Не ройся в книгах, малых и больших,
В пыли томов, переплетенных в кожу:
Не больше правды, чем в стихах моих
Как люди все, и я лукавил тоже.

Улыбка девушки – твоей любви, –
Всех мудрецов мудрее и прелестней...
Вот истина, скорей её лови.
Пока она не превратилась в песню.

***

Бывает тишина такая,
Такая ясность на душе.
Как тень ушла кручина злая
И не воротится уже

Улыбка радостная в небе.
Всё тихо. Ветер слышен лишь.
И веришь в свой счастливый жребий
Что никогда не замолчишь.

Публикация Рафаэля Соколовского

Рафаэль СОКОЛОВСКИЙ

СТИХИ: ОПУС 58, ПУНКТ 10,
или
Другой Николай Шатров

Среди странных поэтов, а они всегда отличались своими причудами, Николай Шатров, наверное, был самым диковинным... Он родился в 1929 году в Москве, жил в СССР, имел советский паспорт, учился в советской школе и в советских вузах, ходил в советские магазины и словно не замечал, в каком мире он живет. В его поэзии нигде не упоминается советская страна, которая для него как бы не существовала, а выбрал он для своего обитания Россию. России Шатров посвятил не одно проникновенное стихотворение, но притом он не был «почвенником», зашоренным только на всём русском, а любил и ценил зарубежную литературу, музыку и живопись. Достаточно назвать сонет о джазе! Он, кстати, был написан тогда, когда им запугивали советских людей: «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст!»

Был Николай Шатров человеком не от мира сего: по жизни блаженным, и стихи писал в духе Серебряного века, хотя однажды ему всыпали в семипалатинской газете «Прииртышская правда» в 1946 году за безыдейность и отрыв его поэзии от советской действительности, но он пропустил критику мимо ушей. (Мы тогда с Николаем жили в Семипалатинске: он на правах эвакуированного, а я как спецпереселенец, так как мама была по национальности немкой, и нас выслали из Баку.) Политикой он совершенно не интересовался и писал о своих любовных похождениях, размышлял о божественном предназначении человека, о творчестве, любил рисовать в стихах природу. И, тем не менее, время от времени наша действительность его припекала, и он огрызался словами, которые носили явно крамольный характер.

Конечно же, он не мог не откликнуться на иезуитскую речь Жданова, в которой тот клеймил Анну Ахматову, называя её даже блудницей. «Ахматову, старую пальму,// Разделали под орех», – иронизировал Шатров. А стихотворение заканчивалось выпадом против идеологического насилия, воцарившегося в стране после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» в августе 1946-го:

Но если под сенью могильных плит
Всё же не успокоюсь,
Буду писать, как Господь велит,
Тьфу-ты! Как Жданов то есть...

В августе 1948 году мы, студенты-заочники отделения журналистики Казахского госуниверситета, приехали в Алма-Ату на летнюю сессию сдавать экзамены за третий курс. Мы – автор статьи и мой приятель поэт Николай Шатров, только что переведенный на отделение журналистики из Семипалатинского пединститута с факультета русского языка и литературы. Поскольку отделение журналистики тогда состояло при филологическом факультете, ему зачли все «родственные» предметы, вроде старославянского языка, языкознания и т. п. Шатрову оставалось досдать специальные дисциплины. Здесь я обещал ему помочь, так как уже два года был внештатником газеты «Прииртышская правда» и как-то месяц заменял выпускающего в типографии, поэтому разбирал-

---

Соколовский Рафаэль Александрович родился в 1928 году. Писатель-сатирик, литературовед и публикатор забытой сатиры начала XX века. Автор юмористических сборников «Бархатный баритон», «Встреча с...», «Фиг вам!». Печатался в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты», в журналах «Крокодил», «Знамя», «Юность», «Вопросы литературы», «Нева», «Простор». Живет в Москве. Предыдущие публикации Николая Шатрова, подготовленные Рафаэлем Соколовским: «Знамя», 2013, №2; «Знамя», 2014, №11. Автор книги воспоминаний «Земные сны Николая Шатрова».

ся в верстке и газетных шрифтах. Нам предстояло протирать штаны в библиотеке после обзорных лекций и насыщаться знаниями. Неожиданно Николай встретил свою бывшую любовь, и закрутился бурный роман. Каждую ночь, вернувшись со свидания, он изливал в стихах свои неразделенные чувства, а утром я читал эти вопли души. В скобках замечу, хотя стихи и были пронизаны духом отчаяния, но среди них нам остались отличные образцы поэзии. И вдруг среди лирических излияний я обнаружил какие-то туманные угрозы вернуть мир прошлого:

За то, что на святой Руси
Мы жили рабскими трудами,
Потом пощады не проси
У тех, кто были господами!

И всё в таком духе. Кому были адресованы угрозы, сомнений не вызывало. Мне вспомнилась ехидная сказочка Шатрова про Козла, который пуская ветры, тем самым сорвал собрание, за что был арестован. Однако, когда выяснилось, что он просто переел капусты и не имел никаких антигосударственных намерений, его похоронили... на вольном кладбище. Тогда я попытался внушить автору: «Коля, тебя на вольном кладбище за эту сказочку не закопают, а, скорее всего, похоронят на каком-нибудь лагерном погосте». В ответ он лишь ухмылялся.

Шатров высказывал эту крамолу спонтанно, не задумываясь о последствиях. А время было страшное: развязанная Сталиным охота на ведьм началась с шельмования А. Ахматовой и М. Зощенко, добралась вскоре до лженауки генетики и кибернетики, а позже продолжилась в кампаниях против космополитизма, изничтожающей критике выдающихся советских композиторов, кинематографистов и театральных деятелей. Черные воронки снова безвозвратно увозили по ночам людей на допросы. А Шатров был человеком непредсказуемым, не знающим никаких запретов и лишенным житейской осторожности. Поэтому от него можно было ожидать новых антисоветских всплесков в стихах, которые он будет потом показывать своим почитателям. А вдруг среди них окажется стукач? Мы как-то не задумывались тогда, что в стране на каждого зека приходился хотя бы один стукач. А в тюрьмах и лагерях отбывали наказание тысячи и тысячи зеков. Вот и посчитайте, сколько у нас было доносчиков! Как уберечь от беды этого неприкаянного человека? И, похоже, выход нашелся.

После того как Николай прочитал мне стихотворение «Усталость освещает путь...», откуда процитирована угроза расправиться с «ночными рыцарями наживы» и реставрировать в СССР Святую Русь, мне пришла мысль, как уберечь Шатрова от серьезных неприятностей.

– Коля, а почему бы тебе не переквалифицироваться в акыны или ашуги? – сказал я ему полушутя. – Послушай, как это звучит: «Выступает акын Николай Шатров!» или – «Сейчас вы услышите бессмертные строки ашуга Николая Шатрова!»

– А зачем? – насторожился Николай в ожидании подвоха – а мы постоянно разыгрывали друг друга.

– А затем, что акыны и ашуги держат в памяти тысячи и тысячи строк, а что там в них – никто прочитать не сможет. А ты иногда пишешь то, что очень подходит для статьи 58 пункт 10 Уголовного кодекса – антисоветская пропаганда и агитация.

На том и поладили: стихи с политическим душком выучивать наизусть, а рукопись сжигать или рвать на мелкие клочки и спускать в уборную. «Можно при этом напевать траурный марш Шопена для облегчения души», – закончил я наш разговор.

Но вот после разоблачения культа личности Сталина наступила «оттепель»! Слово это почему-то не нравилось Хрущеву. Как там ни матюкался он на выставке в Манеже, возмущенный необычными и непривычными ему работами молодых художников, как ни грозил кулаком Андрею Вознесенскому непонятно за что в 1958 году в Кремлевском дворце, а перемены в литературе, театре и в кино произошли огромные, хотя и в рамках дозволенного. Если кто-то видел документальные кадры, как в Африке после злой засухи земля орошается ливнями и мгновенно

пробивается трава и зеленеют деревья, так произошло и после смерти Сталина. После литературной засухи появились А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина, Б. Окуджава, Ф. Искандер, В. Аксенов – разве всех перечислишь! Возник журнал «Юность», прибежище молодых талантов. Изменилось лицо журнал «Новый мир» с приходом А. Твардовского – и знаковым событием стала публикация повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» – высокая правда, высказанная высоким художественным словом. А публицистика и литературоведческие статьи в журнале читались запоем.

Однако «оттепель» не была уж таким праздником для литературы, каким представляется сегодня. Писателей и поэтов систематически прорабатывали на идеологических совещаниях и в газетах. До сих пор помню, как в «Комсомолке» топтали стихи А. Вознесенского после того, как Хрущев вдруг обрушился на молодого поэта, не дослушав, что он хотел сказать. Сам Хрущев выступил с обширным докладом о задачах советской литературы, в котором призывал писателей быть ближе к жизни, ближе к народу. В качестве примера он приводил стихотворение (не помню сейчас имя поэта) из школьной хрестоматии за 4-й класс. Каждый раз после таких идеологических взбучек возникал страх: неужели начинается отсчет в обратную сторону и конец «оттепели»? Но джинн был уже выпущен из бутылки и, несмотря на все усилия идеологических жандармов «держать и не пущать», послесталинская советская литература сыграла огромную роль в нашей духовной жизни.

Николай Шатров, несмотря на свою наивность, отстраненность от советской жизни, тем не менее, понимал, что «оттепель» не в состоянии изменить политический климат в стране. Да, прекратились массовые репрессии, но искоренение инакомыслящих продолжалось. Подтверждением тому стал арест в январе 1957 года и осуждение по 58-й статье УК Леонида Черткова, участника неформального литературного кружка, обосновавшегося в квартире Галины Андреевой на Большой Никитской, названной «Мансарда окнами на Запад». Сюда часто захаживал Николай Шатров и читал свои вирши. Трудно понять, кто тянул Черткова за язык, но он, говоря милицейским протоколом, допускал антисоветские высказывания и был осужден на пять лет лагерного срока. Как будто только он один был недоволен советским строем! По-прежнему возвращались мы домой с демонстраций, где дружно кричали «Ура!», а потом на кухне под рюмочку вполголоса обсуждали свое скудное существование, пустые магазины, запрет на свободу слова, хотя сталинизм был уже как будто осужден. И прав был Николай Шатров, когда не поверил переменам в стране:

Режим наследует режиму
(На чью-то мельницу вода...)
Но только зубы обнажим мы,
Хотя б в улыбке... Вмиг беда!

Арест Л. Черткова – частный случай, скажете? Да нет! Вот еще факт, который сегодня выглядит невероятным: в «оттепель» в Тайшетских лагерях отбывал наказание Геннадий Арсеньевич Бешкарев за... антисталинское стихотворение, написанное еще в 1949 году. Хотя культ Сталина был разоблачен и осужден на XX съезде партии, карательные органы, оказывается, продолжали искать автора. А Бешкарев, наивно полагая, что со сталинщиной теперь покончено, в 1957 году в Ташкенте в кругу своих писателей и журналистов прочитал это стихотворение.. Один из компании настучал, Куда Следует, и Геннадия Арсеньевича арестовали. Следователь ему объяснил, что взяли его вовсе не за то, что он выступает против Сталина, а за то, что стихотворение проникнуто антисоветским душком, от которого он до сих пор не избавился. Вот такая казуистика. Понятно, что дополнительно был собран компромат на Бешкарева, где и когда он что-то не то сказал, чем-то возмутился...

Отбыв наказание в Тайшетских лагерях, Бешкарев нашел приют в Алма-Ате, устроившись на областное радио режиссером. Но и здесь от него не отвязались комитетчики. Однажды я остановился поглядеть, как асфальтируют улицу, и был удивлен, когда среди рабочих увидел человека

в робе, но при галстуке. «Наверное, кто-то из начальства решил спуститься в низы и поглядеть воочию, как благоустраивается город». Подошел поближе и ахнул – это был Бешкарев.

– А ты чего тут делаешь, около асфальтного катка, Геннадий Арсеньевич?

– Как что? Работаю асфальтировщиком и зарабатываю на пенсию. Должность мою на радио «неожиданно» сократили, и я оказался на улице.

Вот так ему отомстили в КГБ за то, что он отказался с ними сотрудничать.

Впрочем, на одной из идеологических проработок творческой интеллигенции Хрущев напомнил слишком неугомонным: «Вы думаете, мы сажать разучились?» Менялись наверху лица, на смену сталинскому произволу пришла «оттепель», на смену ей – застой, и как сажали за решетку за убеждения, так и продолжали сажать. Я привел только два известных мне факта. А если их экстраполировать на всю страну, что получится в итоге? Это были «тихие процессы», часто без огласки в газетах, и потому о них мало кто знал. Потом додумались прятать диссидентов в психушки на том основании, что советский человек не может быть недоволен существующим строем. А если протестует и публично это выражает, значит, у него сдвиг по фазе и ему пора лечиться от вялотекущей шизофрении. (Именно такой диагноз обычно ставили диссидентам психиатры.) Наконец, додумались высылать из страны, подражая Ленину.

Не знаю, внял ли Коля моим советам быть очень осторожным: жизнь разбросала нас по разным городам. Вряд ли он повесил замок на роток. Поэту всегда хочется поделиться своими стихами, Николай не был исключением. Как-то при встрече в Москве он мне похвастался, что когда выпадал редкий случай выступить со стихами, кто-то из приятелей шел по рядам и предупреждал: «Просьба не записывать». – «А зачем, Коля, записывать, когда существуют записывающие устройства даже в пуговице? Ты что – детективы не смотришь?» – Он притих и задумался.

Впрочем, сама по себе поэзия Шатрова была вызовом, потому что вместо, например, восхваления советского строя он отсылал своих читателей к Богу – он был верующим человеком, что отражалось в его стихах. Напомню: Хрущев возобновил гонения на церковь, и шатровские стихи опять же выглядели крамолой. А вот этот отклик на последствия сталинских репрессий вообще не оставлял нам никаких светлых надежд при советском строе.

Дух отлетел от песнопенья
И стих предстал набором слов.
Фальшивое сердцебиенье
Не кружит срубленных голов.

Гильотинированы звуки,
Их интонация мертва.
И в деревянном перестуке
Глухие рифмы, как дрова.

Кто из кремня добудет искру?
Разорванную свяжет нить?
Опустится на землю, к риску
Глаголом трупы оживить?

Какой Христос, какой мессия,
Отринув страх, покроет стыд?
Развяжет твой язык, Россия,
Казненным позвонки срастит?!

Хотя был Шатров человеком не от мира сего и отчасти блаженным, он отличался своими гражданскими поступками, на которые не многие отваживались при советском режиме. Когда

поэта Павла Антокольского изгнали в 1949 году из Литературного института за космополитизм, а поводом, в частности, послужило его предложение студентам написать сонет о Хлестакове, Шатров не в пример им сочинил сонет на эту тему и отправил опальному «космополиту», чья вина заключалась в том, что он знал и великолепно переводил французских поэтов.

«Да знаете ли вы, что значу я!
Рассвет, а уж бегут ко мне курьеры...»
Он пьян и врет, теряя чувство меры,
Снискавши изумленье дурачья.
А жизнь молчит. Где правда? Где друзья?
Но Хлестаков не потеряет веры:
Теперь он знает, кошки ночью серы,
А люди днем... Так как же без вранья?

Да, без вранья и показухи мы не жили!

Когда уже на исходе кампании изничтожения «безродных» лакеев прогнившей западной культуры критик Важдаев в первом номере журнала «Новый мир» за 1950 год изобразил А. Грина космополитом, создавшим в своих произведениях Гринландию якобы в противовес советской стране, Николай Шатров взорвался стихами:

Теперь не удивлюсь я ничему,
Ни даже из навозной кучи грому!
Я снова пожелаю вам чуму,
Чуму на оба ваших дома!

Заканчивалась эта инвектива словами «И только стыдно за Россию!»

«Ты сто раз прав, Коля, защищая от наветов Александра Грина. Но причем тут Россия? – писал я ему в Нижний Тагил, куда он уехал из Семипалатинска с молодой женой Лиличкой. – Донос на покойного Грина сочинил советский критик в духе советской идеологии, чтобы отвадить читателей от его замечательных книг». Шатров адрес своих проклятий так и не изменил.

А вот когда травили Бориса Пастернака за «Доктора Живаго», он посвящал ему стихи и называл учителем. Более того, он совершил истинно гражданский поступок – привел к Борису Леонидовичу свою знакомую француженку-славистку Жаклин де Пруаяр, которая тайно переправила рукопись «Доктора Живаго» в Париж, где роман и увидел свет. Именно это издание дало мне возможность познакомиться с охаянной в Советском Союзе книгой и убедиться, как врали все наши газеты, называя её поклепом на революцию. Тогда даже мне Николай не признался, как оказалось у него зарубежное издание Пастернака. Этот поразительный факт из жизни Шатрова открыла лишь недавно кинодокументалист Наталия Назарова, когда в Париже встретилась с Жаклин де Пруаяр и создала документальный фильм «Если бы не Коля Шатров...», который демонстрировался по каналу «Культура».

Чувство немоты, которое не позволяет высказать вслух свое мнение, протестовать против запретов на свободу слова, мучило поэта. Не случайно в одном из стихотворений он называет свою душу глухонемой, не способной говорить. А в «Немом стихе» он высказывается уже совсем откровенно:

Я пишу на варварском наречье
(У России вырвали язык).
.....
О, потомки. Полюбуйтесь: груб как
Ужас, миновавший ваши рты:

Этот окровавленный обрубок
Громкое мычанье немоты.

Опять упоминание России вместо Советского Союза, но, как я уже говорил, другой родины для него не существовало. Нам же совершенно понятно, что речь идет не только о советской цензуре, и стихотворение, собственно говоря, метафора, обозначившая систему расправы с любым инакомыслием в советской стране, о которой поэт сказал:

Ах, страна моя хорошая,
Всех соседних стран сильней.
Да одна беда – задёшево
Продаются люди в ней.

За подачку, за грошовую
От зари и до зари
Трудятся, на всё готовые,
Кузнецы и косари.

Крепостного права нету-ти.
Так откуда же напасть?

Потому что существовал советский режим, который закабалял людей так, что они вынуждены были подчиняться его законам и правилам. Иначе человек становился изгоем с «волчьим билетом» – характеристикой с места работы, с которой устроиться на другое место можно было с трудом и с серьезными потерями. Поэтому большинство нас жило по «двойной бухгалтерии»: на показ и для себя, хотя миллионы оболваненных советской пропагандой людей искренно считали, что так и надо жить, как учит партия, в надежде на «светлое будущее». Это зомбирование было таким мощным, что до сих пор можно увидеть старушек с портретами Сталина на демонстрациях, устраиваемых зюгановцами.

Николай Шатров жил в придуманной России, как Александр Грин – в своей Гринландии. Его спасала вера в Бога, в другую жизнь, которую он обретет после своей кончины. Спасали стихи, которыми он был переполнен, и уже смирился с мыслью, что не увидит своей книжки, что его поэзия расходится переписанной в тетрадки почитателями его таланта. И как ни был он погружен в свой мир, горечь и боль накапливались на донышке души. Как не прийти в отчаяние, если из редакций, куда он обращался, приходили только отказы. «Я оглох от горя быть поэтом...» – однажды не выдержал он.

В один из приездов в Москву я отобрал стихи, которые, безусловно, вполне подходили для печати: любовную лирику, пейзажные зарисовки и размышления о поэзии. В них не было ничего такого, чтобы заподозрить автора в неприятии советской действительности. Отправил Николая в редакцию журнала. Название не помню. Стихи его были благожелательно приняты, одобрены, хотя и с пожеланием – повернуться лицом к нашей прекрасной действительности. Редактор отдела попросил прочитать что-то еще, и на радостях Шатров принялся декламировать заветные духовные стихи. Весть, что молодой поэт читает стихи с упоминанием Бога, моментально облетела редакцию. Собравшиеся в комнате сотрудники принялись убеждать Николая в том, что Бога нет, что это предрассудок, свойственный старикам, осколкам прошлого, что никак не может быть присуще молодому советскому поэту. «Знаю, знаю, – ответил Шатров и процитировал Остапа Бендера: «”Бога нет. Это медицинский факт”. А я с ним не согласен». Из-за перестраховки стихи так и не напечатали.

Когда после кончины Николая Шатров я собирал какие-то остатки архива, то поразился, как среди чистой лирики вдруг возникало то одно, то другое еретическое стихотворение. Вот памяти О. Мандельштама:

Есть керосин, есть чай и сахар
И в книжный магазин маршрут.
О, если б только меньше страха,
Что ночью за тобой придут.

И когда я выстроил шатровские стихи по годам, убедился, что Николай неотступно возвращался к взрывоопасной теме. Она, как заноза, сидела в нем и не давала покоя, пока не превращалась в палящие строки.

Теперь казнят не топором
И даже не посредством плахи,
Теперь палач приходит в дом,
Как парень в вышитой рубахе.

Грудь нараспашку, свой на вид,
Он держится запанибрата,
Душою даже не кривит,
Потерянною без возврата.

Теперь споткнуться просто: тот,
Кто хочет передряг шикарней.
Пускай расскажет анекдот
Такому вышитому парню...

Зная хорошо натуру Николая, который не мог сдержаться, чтобы не прочитать собеседнику только что родившееся стихотворение, подумал: какое счастье, что среди его слушателей не оказалось ни одного стукача. И еще я, атеист, поверил, что у него был бдительный ангел-хранитель, уберегший его от ареста. И нам бы, между прочим, аукнулось за хранение и распространение антисоветских стихов, за тихую ненависть к режиму. Нам – это московскому архитектору Феликсу Гонеонскому, который переписывал всё, что Николай Шатров изливал на бумагу. А когда удалось эмигрировать в США, он издал в 1995 году в Нью-Йорке первый сборник его стихов, потом в 2003 году в Москве – «Неведомую лиру».

Не забыло бы строгое государево око и директора музея композитора Скрябина Татьяну Григорьевну Шаборкину, которой Николай непременно вручал свои новые вирши. Это она устраивала ему выступления в музее под видом лекций о русских классиках. Скажем, на афише значилась лекция о Тютчеве или Блоке, и когда Шатров заканчивал свой рассказ, с мест раздавались реплики: «А не прочтете ли что-нибудь своё?» Собственно, не ради Тютчева и Блока приходили любители поэзии – они знали о них не меньше Николая, а приходили именно «на Шатров».. Бывали на этих вечерах Б.Л. Пастернак и В.В. Софроницкий, который иногда садился за рояль и исполнял Скрябина. Кто-то вякнул Куда Следует о несанкционированных сборищах, и выступления Шатрова запретили.

Конечно же, и меня бы не миновало лихо: хоть жил в Самарканде, а затем в Алма-Ате, однако встречался с антисоветчиком каждый раз, когда выпадала поездка в Москву или через Москву, публиковал его стихи и статьи о нём в алма-атинских газетах и журналах. Понятно, собрал архив Колиных стихов, писем и фотографий. Так что всем бы нам так аукнулось, чтоб другим неповадно было!

Удивительно, жил Николай Шатров как бы в тени, не замеченный ни Союзом писателей, ни прессой, не потрясал литературный мир скандалами. А к памяти его понанесли столько мусора и вранья, что придется дать биографическую справку мне, кто его знал с 1945 году и дружил до самой его кончины 30 марта 1977 года. (См. статью «Кикушество и кликушество» на сайте «Стихи.ру», http://www.stihi.ru/2013/06/09/4126).

Родился Николай Шатров в Москве на Арбате 17 января 1929 года. Отец Михин Владимир Александрович был известным врачом-гомеопатом, что не простила ему советская власть. Он был не то выслан, не то сам уехал в Тбилиси, где скончался в 1942 году. Мать Николая – актриса Шатрова Ольга Дмитриевна с Михиным разошлась, и сын взял фамилию матери. Предвоенная жизнь Николая прошла в различных городах Советского Союза, где гастролировала его мать. В октябре 1941 года О.Д. Шатрова с сыном эвакуировалась из Москвы в г. Семипалатинск Казахской ССР, где вскоре стала ведущей актрисой русского театра. За творческие заслуги ей было присвоено звание заслуженной артистки Казахской ССР.

Николай Шатров учился в Семипалатинском пединституте на факультете русского языка и литературы. Первое стихотворение было напечатано летом 1946 года в газете «Прииртышская правда». Затем, как отклик на постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» и доклад Жданова, там же была опубликована разгромная статья о поэзии Н. Шатрова, основанная на тетрадке со стихами, принесенной в редакцию.

В 1948 году Николай Шатров перевелся на заочное отделение журналистики Казахского Госуниверситета, но неожиданная женитьба изменила его судьбу: молодые отправились жить в Нижний Тагил к матери Лили. Когда О.Д. Шатрова устроилась работать художественным руководителем народного театра в Москве, в Очакове, то получила две крохотные комнатушки в общежитии. В одной из них поселились Николай с женой и дочкой.

В 1951 году Н. Шатров поступил в Литинститут, но оказался там белой вороной и был отчислен.

Работал Шатров в музее композитора Скрябина и смотрителем в Третьяковской галерее. После того, как пьяный водитель снегоочистителя наехал на Шатрова, он получил увечье и инвалидность, которая спасала от высылки из Москвы как тунеядца. В 1958 году Николай и Лилиана разошлись. Шатров женился на Маргарите Димзе, забравшей его из больницы после выздоровления.

Николай Шатров предлагал стихи различным редакциям, но получал решительный отказ. Николай Глазков снабжал его подстрочниками якутских и армянских поэтов, что приносило иногда в семью толику дохода.

В 70-х годах Николай Шатров сблизился с отцом Александром (Менем) – его дача в Пушкино находилась неподалеку от прихода священника. Это общение обернулось рождением многих духовных стихов в последние годы жизни поэта. О. Александр его и отпевал, когда 30 марта 1977 года Николай Шатров скончался от инсульта. Своей могилы у Шатрова нет – его урна с прахом закопана на месте захоронения отца Маргариты Димзе, старого большевика Рейнгольда Берзине на Новодевичьем кладбище.

Вячеслав ЛОПАТИН, Стелла ЧЕБОТАРЕВА

ДИАЛОГИ О ЦВЕТЕ В ЖИВОПИСИ

На выставке Геннадия Панферова

– Поговорить не с кем! Удивляюсь своим ощущениям от ярких красок Геннадия. Впечатление абстрактной живописи, которую теперь разрешают показывать. И вновь заболели воспоминания, как нас – «круг Гущина» (Ирина Пятницына) – не пускают на выставки саратовских художников за формализм. А когда выставку открыли, этикетки повесили – опять удивление: «не абстракция, а тематика» на выставке.

– Да многие посетители замечают эту разницу восприятия, а насколько сам автор задумывался над содержанием своих картин? Неужели так сильно зрительское восприятие картины зависит от её названия?

– Я думал об этом... А вам-то насколько интересно рассуждать об этом?.

– Я, проходя по выставке, слышу мнения посетителей, что, наверное, художник сначала рисует, а уж потом придумывает название к готовой работе, иногда совсем неожиданное. Здесь оказался целый блок картин на библейские темы – они вот как раз кажутся наиболее интересными, но чтобы рассмотреть их лучше и воспринять, – надо отойти,– но лестница не позволяет этого сделать, – и зрители поднимаются на пролёт вверх, наслаждаются живописными работами – подолгу стоят и смотрят.

– А что мы видим?

– Панфёрова интересует фактура. Он экспериментирует с разными материалами – мы видим нити холста, гальку, речной песок, окрашенный масляной краской. Его вещи напоминают гобелены, перегородчатые эмали, витражи: нет традиционной реалистичной живописи, и угадать сюжет картины без этикетки или устного пояснения практически невозможно. Неужели весь смысл работ Панферова состоит в необычных эффектах фактуры?

– Говоря о фактуре, мне вспоминается Николай Михайлович Гущин – художник приехал из Франции в 1947 году и всю оставшуюся жизнь работал в нашем музее реставратором.

– А почему, работая много лет в музее, о Гущине не знаю я: уж Панфёров и подавно, какие же сопоставления тут уместны?

– Кому теперь вспомнить Гущина, он в 1965 году умер. Работала с Гущиным Тамара Викторовна Гродскова, нынешний генеральный директор, сотрудник Радищевского музея с 1953 года. Солянов работал с Гущиным в реставрационной мастерской музея. Водонос помнит и я. И Чудин.

Вспоминает Чудин, а будто относится его характеристика живописи Гущина и к выставке Панфёрова – «...у Гущина действительно **матерьяльность**. Как мы говорили, как нас учили? – это стекло, бумага, целлофан, у него же **матерьяльность** – это **сущности**, как он их называл».

И для меня необычны были рассуждения Гущина: – «Смотрите в угол!» – в его комнате на треугольном столике на стеклянной подставке цветы в вазе, стакан в серебряном подстаканнике, фарфоровый чайник, ложечка, нож. – «Я пишу натюрморт. Мне не нравится носик чайника. Имею я право рисовать чайник не так, как вижу, а как мне хочется? – Конечно! – Следите за моей мыслью: металл, стекло, фарфор, драпировка, букет цветов – у каждого предмета своя материальность, своя материальная сущность. А имею право я, творческая личность, не рисовать предметы, а изображать игру их материальных сущностей? – ???!!! – Игра материальных сущностей может

быть содержанием произведения искусства. Игру организует ритм – линейный, цветовой, фактурный, объёмный не обязательно».

– Слушаю вас, Вячеслав Владимирович, и мне кажется, что сейчас на выставке Гущин говорит о картинах Панфёрова, но сам-то Гущин в этом направлении работал?

– Николай Михайлович Гущин в 1963 году написал картину под названием «Игра материальных сущностей». Люди её увидели через двадцать два года после смерти художника, в 1987 году, когда разрешили показать персональную выставку Гущина. Эту картину подарил Гущин своему ученику Аркадию Солоницыну: в 1948 году Гущин преподавал технологию живописи в Саратовском художественном училище. Преподаватели училища написали в обком КПСС, что эмигрант Гущин не имеет права учить советских студентов. Гущина уволили из училища, но работать реставратором в Радищевском музее оставили.

– Неужели так плохо обстояли дела?

– Дальше стало хуже: Гущина идеологическим диверсантом объявили. В 1961 году саратовский Союз художников написал в обком КПСС донос на директора Радищевского музея Валентину Фёдоровну Завьялову: держит на работе в музее Гущина под видом реставратора, она его покрывает, идеологического диверсанта, абстракциониста, организовавшего в музее «группу формалистов» – с Аржановым Михаилом уже ничего не поделаешь, а за Чудина Виктора ещё можно побороться.

– И как же после такого обвинения они в живых остались?

– А Гущин не лыком шит – в это самое время все газеты поместили сообщение ТАСС, что Советское правительство подарило Джавахарлалу Неру картину «Ганди» саратовского художника Гущина. Сам Николай Михайлович не рассказывал, а в сообщении ТАСС говорилось, что Гущин, проживая, как теперь говорится – «на Лазурном берегу», в Ницце, – во время войны организовал «Союз советских патриотов», близко примыкавший к движению Французского сопротивления. Гущин предложил по старой памяти Микояну, министру иностранных дел СССР, подарить картину Индии – там Ганди национальный герой.

Донос на Гущина и его знакомых не получил развития – ЦК КПСС «цыкнул» на Саратовский обком КПСС. Срочно вместо Бородина назначили Председателем Союза художников Саратова Боброва. Гуров, инициатор гонения на Гущина, сказал на общем собрании Союза художников 22 августа 1962 года: «В Саратове нет абстрактного искусства. Есть отдельные фанатики – Аржанов... мы в корне его пресекли!..» Союз художников на этом собрании принял резолюцию, что в Саратове нет формализма. К Гущину приходил секретарь Союза художников Евгений Иванов – приглашал вступить в СХ.

– Вот так история, как в кино! И конец хороший.

– Если бы! Гущин надеялся, что теперь саратовские художники оставят его в покое. Но в декабре того же 1962 года произошло событие – Хрущёв посетил Манеж! И отыгрались за испуг обком КПСС и саратовские художники. Завьялову затравили, от огорчения – близкие люди говорили – у неё развился скоротечный рак, внезапно умерла в 1963 году. Гущин тоже заболел, умер от рака в 1965 году.

А теперь скажите, Стелла! Сегодня, когда киношными кажутся те события, зачем людям о них напоминать?

– Озадачили вы меня...

15 ноября 2013 года

В книгу отзывов на выставке Панфёрова

В живописи Панфёрова, подобно звуку музыки, цвет стремится стать содержанием произведения искусства.

«Мои краски – напевы» говорил Борисов-Мусатов. Несюжетное содержание живописи Мусатова и немелодическое содержание музыки Баха единой природы – оптические впечатления Му-

сатов организует интервалом цветовой шкалы, звуковые эмоции Бах конструирует интервалом темперированной октавы.

Интервал музыкальной октавы в буквальном переводе с итальянского языка имеет значения «больше – мажор», «меньше – минор»: в обиходе понимается «мажор – бодрость, жизнерадостность», «минор – грусть, тоска».

Создание музыкальной грамоты – последствие осмысленного общественным сознанием абстрактного понятия «звук».

По ближайшей аналогии (звук – цвет) появлению цветовой грамоты предшествует осмысливание общественным сознанием абстрактного понятия «цвет». Цветовая грамота позволит позволит художнику записывать своё видение – подобно композитору.

Графическое выражение абстрактного понятия «цвет» – спектральная «Формула цвета Чудина» 1965 года.

Вячеслав Лопатин. 1 ноября 2013 г.

На выставке Виктора Чудина

– Мы, музейные сотрудники, перестаём быть просто зрителями, и вот сегодня мне захотелось посмотреть на картины Виктора Чудина с позиции посетителя выставки, и я поняла, что совсем по-другому вижу те же самые картины.

– И что же вы видите с позиции посетителя выставки?

– Нравится картина – хочу смотреть её, а не нравится – иду мимо. Так все и делают.

– И что же вас зацепило на этой вот выставке?

– Ошеломляет яркость работ. Но зачем автор использует столь яркие цвета, краски? Эти полотна напоминают мне радугу.

– Чудин действительно придерживается собственной теории, а её первый вариант – цвета радуги: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый – всего шесть цветов.

– А почему в школе мы учим, что в радуге семь цветов? Помню поговорку для запоминания цветов радуги – «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан»: «Красный, Оранжевый, Жёлтый, Зелёный, Голубой, Синий, Фиолетовый». Получается, у Чудина неправильная радуга, раз она содержит не семь, а шесть цветов?

– Нельзя говорить, что у Чудина неправильная радуга. Просто он оказался сторонником Гёте, разложившим солнечный свет на шесть спектральных цветов. Теория Гёте не принята наукой, и нас в школе учат, что в радуге семь цветов – по теории Ньютона.

– Но если «Формула цвета» состоит из цветов радуги, почему целая группа картин Чудина включает чёрный цвет – это что, он противоречит собственной теории?

– Никакого противоречия нет. У Чудина два варианта «Формулы цвета». Первый вариант – язык самой природы – радуга, творчество детей до того, как их начнут учить рисованию, народное искусство. Этот спектральный вариант «Формулы цвета» устремлён в будущее, когда художники получат техническую возможность использовать в качестве носителя цвета непосредственно саму длину волны электромагнитной шкалы. Сейчас художники работают тюбиковыми красками – носитель цвета природный пигмент, химические красители, и не обходятся без чёрной и белой красок. Для сегодняшней надобности Чудин разработал другой вариант «Формулы цвета»: Красный, Жёлтый, Синий, Чёрный, Белый.

– Вот так Чудин! Получается, Чудин-художник выбрал для себя теорию цвета поэта Гёте, а не теорию учёного Ньютона?

– Ничего Чудин не выбирал. Это теперь в Интернете выбирают – Гёте или Ньютона. А в 1965 году мы, группа художников, удивлялись нашему старшему товарищу, художнику-любителю Николаю Андреевичу Григорьеву, его выражению – «Вгоним живопись в математическую формулу!» – вынь да положь ему правила сочетания цветов для живописи. Мы, кроме Чудина, иронически относились к идее Григорьева, считали её чудачеством.

– Чем это Чудин от вас остальных отличается?

– Совмещением абсолютного чувства цвета с аналитической одарённостью – этим отличаясь! – Чудин уделил внимание визуальному содержанию абстрактного понятия «цвет». Как Чудин рассуждал? Вот художники составляют дополнительные цвета: зелёный получают, смешивая на палитре жёлтую и синюю краски, оранжевый – смесь красной и жёлтой, фиолетовый – смесь синей и красной. А кому в голову придёт вопрос, из чего состоят основные цвета – красный, жёлтый, синий? Чудин задался этим вопросом и сам на него ответил, – изобразительное решение стало основой «Формулы цвета».

– Так вот что такое «Формула цвета Чудина». Что за необходимость заставила Чудина всю жизнь придерживаться этой догмы?

– Для Чудина «Формула цвета» не догма, а способ наделять цвет смыслом. Так иконописный канон Византии и Древней Руси позволил художникам цветовыми отношениями организовать ощущения зрителей. Затем – с позднего Возрождения цвет утерял самостоятельное значение, стал пониматься натуральной окраской предмета, помещённого в трёхмерное пространство картины. Но художники-колористы, имея дело с красками – буквами цветовой азбуки, – интуитивно передавая цветом свои эмоции, ощущают потребность цветовой грамоты – по аналогии с музыкантами, изображающими звуки нотной записью. Уникальна живопись Борисова-Мусатова...

– ...а всё же, какие эмоции хочет передать, работая по своей теории, Чудин? Первое, что приходит в голову, что его работы написаны в разное время разными художниками, либо одним художником в разные периоды жизни. Мне как человеку, привыкшему воспринимать классические формы живописи, сложно на такой выставке. Некоторые фигуры на полотнах настолько условно напоминают человека, что сложно догадаться, кто же изображён на полотне. Надо самому додумываться, но ведь можно и неправильно это сделать – что собственно художник хотел выразить своими работами?

– Что выразил Чудин? Понятны натюрморты, пейзажи. Сложнее портреты – я помню, окончив художественное училище, Чудин удивлялся, – «...одинаково натура перед глазами, а почему мы пишем человека иначе, чем пейзаж?» Так удивляясь, Чудин создал портретный жанр – авторский. Недоброжелатель однажды намеревался съязвить, уподобив его женские образы садовым цветам – антропоморфность свойственна и любимому Чудиным Есенину – «Цветы мне говорят, – Прощай! / Головками склоняясь ниже....» Чародей устной речи, чуткий к слову Чудин, обладая жёсткой внутренней дисциплиной, после четвёртого класса запретил себе писать стихи – отвлекали от рисования.

Смотрим закупленные Радищевским музеем портреты – муж и жена: Александр Мураховский и Луиза Московская. Эти работы примерно 1972 года, Чудин ещё не отвергнут «Союзом художников» – не лишён творческой мастерской, которую делит с Гусевым и Пановым, не уволен из «Художественного фонда», но вынужден делать производственную работу и сожалеет, что Худсовет ни разу не дал ему творческий заказ на пейзаж, натюрморт, портрет или картину. В этот «благополучный» период жизни у Чудина не дом, а «полная чаша», «испить из которой» к нему собираются друзья, знакомые. За стол не садятся, пока не придёт Луиза – душа общества. «Портрет Луизы» – экспромт, искромётное впечатление жизни! – смотрю и будто слышу её голос в неподражаемой эпатажной манере – «Вот Чудин, свинья, я ведь туфли модельные специально надела, а ты их и писать не стал!»

В духе времени у Чудина двойной портрет: Валентин Ярыгин и его подруга Лариса Дубова. Вот обиход тогдашний, – именно так неустроенно жила саратовская творческая интеллигенция, «богема периода оттепели» – водку давали с восьми утра. Перед открытием пивного ларька в общей очереди маются бедолаги – среди них знаменитый саратовский поэт Исай Тобольский и непечатный Валентин Ярыгин...

– ...а приличествует ли нам, сотрудникам Радищевского музея – «жрецам Храма чистого искусства», вести речи о столь непристойных бытовых обстоятельствах?

– Истинный музейщик – вы забыли свою позицию простого посетителя выставки? Спрашивали об эмоциях Чудина – я и рассказываю попросту, как эмоции художника непристойные

бытовые обстоятельства преображают в картину. Вспомним стихотворение Ахматовой: «Когда б вы знали из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда». Эмоции Чудина в его двойном портрете Ярыгина и Дубовой выражают родство душ. В условиях неприглядного быта, в беспросветных условиях родство душ помогает нашему старшему товарищу Ярыгину, участнику и инвалиду войны, жить, сочинять непечатные стихи – их станет возможным издавать только через двадцать пять лет после смерти поэта. Самому Чудину родство наших душ помогает писать картины, а покупателя на них не было. В то катастрофическое время его выгнали из Художественного фонда, лишили мастерской и работы, он служит сторожем, его жена Надя кофты на продажу вяжет.

Родство душ нашей группе художников помогает жить и рисовать. А картины показать нельзя – выставочный комитет Союза художников не берёт на свои выставки, других выставок не разрешалось. Однажды выставком отбирал работы на выставку в Москву, и вступился за Чудина московский художник Кабанов, ученик Павла Кузнецова, – «Да поддержите сейчас Чудина, он вам через десять лет Саратов прославит!» Картину Чудина так и не пропустили в Москву. В Саратове Чудина показывали, но дальше областных выставок его не пускал Союз художников.

– Почему Чудина показывали, а вас нет?

– Эмиль Арбитман объяснял тем, что Чудин «превышал планку своих гонителей». Действительно, из нашей группы только один Чудин стал профессионалом, то есть живёт своим трудом художника. Но и о нас через тридцать лет Ирина Пятницына написала статью в музейный сборник, тогдашнюю нашу группу назвала «круг Гущина», мы выставляемся.

– Вы меня совсем запутали, – сейчас ваши картины на виду и ничего особенного – почему своевременно нельзя было показать ваши картины?

– Так уж и «ничего особенного»! А почему Арбитман назвал нашу «школу Гущина» самыми интересными художниками Саратова? Правда, к нашей кампании приписал Романа Мерцлина – из-за него, может быть?

– Ну, Мерцлина все знают, а вот что «школа Гущина» такая хорошая – всем бы стало известно, если б Арбитман сказал!

– Не сказал, а напечатал – в газете города Энгельса, в 2001 году, когда у Люси Перерезовой была выставка в Энгельсском краеведческом музее!

– Вот и не знает никто, – кто эту газету читает?

– Повторил в саратовском сборнике Пединститута!

– Всё равно неизвестные вы!

– Да кто мы такие, если уж знаменитого нашего земляка Борисова-Мусатова затюкали, сорок лет замалчивали!

– Как это «затюкали, замалчивали Борисова-Мусатова»? Радищевский музей в Саратове создал свой филиал, дом-музей Борисова-Мусатова!

– Прошлое вспомните! Когда Валентину Фёдоровну Завьялову назначили в 1949 году директором Радищевского музея, она первым делом вывела из экспозиции картины Борисова-Мусатова и Павла Кузнецова – в то время Советская власть искореняла эксплуататоров народа, а их картины стали «аполитичными», «воспевали», «приукрашивали» дореволюционную дворянскую жизнь. С таких идеологических позиций на моих глазах директор Саратовского художественного училища Просянкин последний гвоздь забивал в гроб Мусатову – в 1961 году я оканчивал училище. А в 1963 году своими ушами слышал! – Завьялова на собрании коллектива Радищевского музея сокрушалась – «Борисова-Мусатова и саратовскую школу вовремя не поддержали, традиции прерваны...» В том же 1963 году на собрании саратовской творческой интеллигенции Просянкин инквизиторствовал – «Демократизм стал широк... буржуазная мода...Чудин попал под влияние... Для чего был выставлен в Радищевском музее Аржанов, Павел Кузнецов?..» После его выступления понадобилось ещё тридцать лет, чтобы стало возможным организовать в Саратове дом-музей Борисова-Мусатова и дом-музей Павла Кузнецова.

Борисов-Мусатов настолько опередил своё время, что знаменитые картины, исполненные им в Саратове, экспонируют Третьяковка, Русский музей, а не Радищевский, – его работа «Осенний

мотив» поступает в музей спустя пять лет после смерти художника в дар от вдовы Е.В. Борисовой-Мусатовой. Разве Саратов сто лет не остаётся интеллектуальной провинцией, если в 2004 году о значении Борисова-Мусатова и его «Саратовской школы» Радищевскому музею рассказывают приезжие москвичи?

– Давно было, с тех пор всё не так! А вы говорите невпопад, – так почему своевременно нельзя было показать картины вашей группы?

– «Идейно-художественная недостаточность» – так писал в отчёте обкому КПСС Союз художников о причине непринятия на выставку картин, наших в том числе. Чтобы понять происходившие события, надо знать об условиях, в которых работал выставком СХ того времени.

Пятьдесят лет тому назад я был методистом по изобразительному искусству Областного дома народного творчества (ОДНТ) при Областном управлении культуры. В 1967 году выставком СХ отбирал картины с Областной выставки самодеятельных художников для Москвы, на Всероссийскую выставку художников-любителей. От Радищевского музея шефом ОДНТ назначили Петрову (Гродскову), от Союза художников – Ткаченко. Негласный запрет показывать картины Гущина распространялся на художника-любителя Подъяпольского. Гродскова ввела в экспозицию пять картин Подъяпольского, но перед открытием все выставки положено «принимать» назначенными обкомом уполномоченными, и перед их приходом, от греха подальше, директор Радищевского музея Пугаев взял ножницы в реставрационной мастерской и своими руками срезал три картины Подъяпольского. Начальник Областного управления культуры Курганов подхрюкивал властям и хотел убрать с выставки оставшиеся две картины Подъяпольского, но вступился неожиданно его заместитель Кузнецов, – у Курганова челюсть отвисла! – остались картины висеть. О Кузнецове Евгении Анатольевиче надо сказать, что он при КГБ отвечал за работу с интуристами, а когда в 1959 году Саратов стал закрытым городом, перешёл в Областное управление культуры и бздуном не был.

Потом, при отборе картин самодеятельных художников для Москвы, порядок работы выставкома был нарушен – перед картинами Подъяпольского Председатель СХ Шапошников сказал, что они будут рассматриваться «на закрытом выставкоме». Перешли в кабинет директора Радищевского музея. Разногласия прекратились после слов Фомичёва – «Если пошлём Подъяпольского на выставку в Москву, нас покупать перестанут!» – «Всё!» – сказал Шапошников – «Голосуют члены Правления! Ты, ты, ты!» – пальцем указал, минуя двух командированных из Москвы Центральным домом народного творчества для отбора картин на Всесоюзную выставку, – они в ответ «ни гу-гу», будто нет их тут.

Директор ОДНТ Скорлупкин возмутился, вышел, хлопнув дверью. Проголосовали «не посылать». Потом Скорлупкин сказал мне – «Клади Подъяпольского в ящик, посылай в Москву!»

В итоге в 1967 году самодеятельных художников от Саратова на Всероссийской, а затем Всесоюзной выставках в Москве было больше, чем участников саратовского Союза художников на проходивших параллельно выставках художников-профессионалов.

– Неужели такое циничное отношение к престижу Саратова...

– «...осиное гнездо!» о Союзе художников говорил Гущин. «...волки собираются в стаю!» – Аржанов Михаил, «...ситуативная этика!» – Солянов.

– Человеческая порядочность – она должна быть!

– Сохранялась отдельными людьми.

– Понятнее нельзя ли? Можно подумать, вы инопланетяне!

– «Инопланетяне!» – говорите? Только не иной планетой, а иной страной была Россия, – в пору заново открывать! Кто сейчас поверит, как жила страна СССР под советско-хрущёвским лозунгом – «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» В 1961 году этот лозунг появился повсеместно – я его писал, работая художником цеха № 13 п/я 68, одновременно доучиваясь в художественном училище.

Как не сказать об изменившейся жизни?

Если в советские времена материться считалось неприличным, то в 2014 году неприличным содержанием обзавелось, на мой взгляд, слово «бесплатно»? Поясняю! Сегодня в Доме книги –

угол Вольской и Немецкой – охранник, не давая мне задерживаться у книжных полок, выговаривал за долгое пребывание в магазине – «...не купив книгу, вы её читаете, пользуетесь информацией, которая денег стоит, а вы пользуетесь информацией бесплатно, это неприлично».

Поневоле вспомнил, как в 1954 году я со своим школьным товарищем Золотарёвым Володей готовились – «бесплатно!» – к сдаче вступительных экзаменов в Елецкое художественное училище. В центре города Орла ещё оставались разрушенные войной многоэтажные здания, – мы пацанами там в войну играли, эти развалины мне потом ещё двадцать лет снились, – а Дворцу пионеров отремонтировали двухэтажный особняк. В ИЗО-кружке Орловского Дворца пионеров «бесплатно» мы исполняли учебные задания под присмотром педагога с художественным образованием, – в светлом помещении с высоким потолком, необходимыми учебными пособиями: гипсовые носы, уши, руки, череп, человеческий скелет, на стенах образцовые работы прежде занимавшихся.

И как же мне, бывшему методистом по ИЗО-искусству ОДНТ, не рассказывать о событиях в изобразительном искусстве тех «судьбоносных» – тогда говорили – временах построения коммунизма.

К юбилею 1967 года – пятидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции проходили Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности, затем Всесоюзный смотр художественной самодеятельности. Назначено было Всероссийскому и Всесоюзному смотрам художественной самодеятельности демонстрировать постепенное отмирание роли денег в социалистическом обществе – соответственно назревшему этапу коммунистического строительства готовился переход профессиональной культуры с зарплаты на «общественные начала».

– Невероятно! Не платить артисту за работу?

– Что невероятного в том, что «Партии и Правительству» денег уже не надо. Говорилось – «коммунизм не за горами!» – к 1980 году все трудящиеся тоже будут жить на всём государственном.

По Марксу, интеллектуальное богатство измеряется количеством досуга гражданина коммунистического общества. Наступило время формировать гармонически развитую личность – учить советского человека умению культурно проводить свой досуг. Не зря музыканты говорят – «и справедливо говорят!» – лучшие минуты их жизни проходят на сцене. Эта привилегия обязана быть доступной каждому советскому человеку! Колхозница на досуге должна иметь возможность петь, танцевать, а тракторист, к примеру, – рисовать.

Каждому селу Дом культуры!

Каждому районному центру Дворец культуры!

За время моей работы в ОДНТ в Саратовской области насчитывалось и больше тридцати районов, и меньше – область постоянно делилась. В каждом районном центре организовано было по два государственных отдела культуры – городской и сельский, действовал профсоюзный отдел культпросветработы, отчитывавшиеся в своей работе областным сельскому и городскому управлениям культуры, и облсовпрофу.

Бесплатным самодеятельным хоровым, фольклорным, драматическим кружкам, агитбригадам требовались подготовленные руководители на зарплате, дорого обходилось необходимое оборудование, костюмы танцорам, артистам. Денежная необходимость в СССР – «временно сохраняется», – доносилось с высоких трибун: указано колхозам, совхозам, заводам выделять три процента дохода «на культуру».

Совхоз-миллионер в двадцати километрах от города Пугачёва построил себе Дворец культуры, – такой только в Саратове был на улице Жуковского! В этом совхозе я организовал выставку на базе местного детского сада – из Саратова привёз бумагу, акварель, кисти, – к популярной тогда на весь СССР телепередаче «Голубой огонёк»: очень торжественно под софитами на сцене заполненного зрителями зала на шестьсот мест дети получали грамоты за участие на выставке.

Под Турками во Дворец культуры колхоза-миллионера я привёз из Саратова выставку-передвижку самодеятельных художников – тоже на «Голубой огонёк».

Работали бесплатные ИЗО-студии при Дворцах культуры Пугачёва, Красного Кута, Аткарска, Петровска, Ртищево, Аркадака, Турков, Балаково. За творческие успехи ИЗО-студия районного Дворца культуры города Петровска получила звание «Народная». В Саратове работали «бесплатные» государственные и организованные облсовпрофом ИЗО-студии: возле Главпочты руководитель Суворов, в Дворце культуры на 5-ой Дачной руководитель Паролин, в Доме офицеров руководитель Котлов. Не счесть «бесплатных» ИЗО-кружков при Домах и Дворцах культуры, школах, Домах и Дворцах пионеров.

За государственный и профсоюзный счёт проходили выставки самодеятельных художников – Персональные, Групповые, Районные, Городские, Областные. Два столяра саратовского Художественного фонда СХ утром приносят на плечах окантовку, и к вечеру бесплатно оформлены картины Областной выставки самодеятельных художников 1967 года, больше ста авторов – и никакой платы за аренду помещения.

Заочный народный университет искусств имени Крупской (ЗНУИ) совместно с московским ДНТ и местными ОДНТ проводили по всему СССР бесплатные курсы повышения квалификации самодеятельных художников на местах и творческих дачах Союза художников.

Самодеятельных художников поощряли пропагандой в печати, лучшие работы показывали в Москве. Обещали издание журнала «Народное творчество» – аналог журналу «Художник».

Пленум Министерства культуры СССР издал постановление – художественным музеям СССР организовать в своих постоянных экспозициях отделы современного народного творчества, обязал СХ СССР в свои выставки включать картины самодеятельных художников. Кроме уже существующих сельских Картинных галерей на основе работ СХ СССР, планировалась организация на местах Галерей народного искусства.

Директор Саратовского ОДНТ Скорлупкин Александр Николаевич объявил о предстоящем в 1968 году открытии в Саратове Народной картинной галереи с двумя штатными сотрудниками – одну единицу государственного финансирования, другую финансирует облсовпроф. Народная галерея займёт седьмой этаж достраивающегося на Площади революции правительственного здания. ОДНТ собирает экспонаты, самодеятельные художники области бесплатно отдают свои картины.

Плановая финансовая возможность позволяет ОДНТ издать каталоги с чёрно-белыми репродукциями Областных выставок самодеятельных художников 1965, 1967, 1970 годов – без каталогов в то время проходили Областные выставки Саратовского СХ.

Поощрялся международный обмен опытом.

ОДНТ получил финансовую возможность подписаться на журналы по искусству ГДР, Чехословакии, Венгрии, Польши. Чехословацкий журнал получаем, а в нём репродукции картин Филонова, – сколько восторга! – приложен на русском языке его манифест «Декларация Мирового расцвета». Филонова тридцать лет советская власть не жалует и потом тридцать лет поминать не велит, – а тогда! – Чудину и мне ленинградский художник Сазонов дарит монографию о Филонове чехословацкого издания не на русском языке, но зато с цветными репродукциями!

О международном обмене выставками! Поддержано предложение Морозова, главного инженера «Водоканала», – у него медаль из Женевы за участие в 1957 году на международной выставке художников-любителей за графическую работу «Плоты на Волге».

На 1968 год достигнута договорённость обмена выставками-передвижками самодеятельных художников Саратова с художественно-техническим училищем Братиславы.

– Что-то неуместны, мне кажется, ваши восторги по поводу чехословацких событий 1968 года!

– Поутихли восторги вскоре. Сначала в ОДНТ со смехом говорили, раз уж заварил Лопатин «Пражскую весну», пусть теперь сам и расхлёбывает, — выставка-передвижка «Саратов-Братислава» не состоялась.

Чехословацкие события заставили «вооружать» – слово из директивных документов! – советские учреждения культуры чёткой программой их деятельности в условиях, когда «...правительства капиталистических стран всячески поощряют создание центров авангардистского,

абстракционистского профессионального и любительского искусства – искусства, далёкого от реальной жизни людей, от требований развития общества».

Не помогло «вооружение» построению коммунизма из-за неудовлетворительного состояния идеологической работы среди населения. Но успело порадоваться начальство отсутствию формализма, абстракционизма в самодеятельности – отличие от профессионального искусства, не только изобразительного – а ведь были «сигналы»! Не достало бдительности, последовательности – опять Хрущёв! И тут виноват! – собирался же писателей прикрепить к заводам... Мне московский товарищ письмо прислал – после всенародного события, когда «Хрущёв посетил Манеж», народ толпами повалил, с порога спрашивали – «где тут обнажённая Валька?»

– А зачем вы мне лапшу на уши вешаете, – анекдоты рассказываете? И какое имеет отношение к выставке Чудина эта ваша обочина культуры – самодеятельные художники?

– Вы сердитесь?

– Отнюдь! Я возмущена!

– Сейчас ещё и удивитесь! Как раз живопись художницы-любителя Суворовой-Алфёровой на сегодняшний день являет официальный триумф «Формулы цвета Чудина».

– Неужели и это слушать?

– Как дело было? После упреков Лидии Ивановны – я же методист, учить должен – стал я её «учить» живописи. Кроме рисования, она вышивала, и я спросил, почему её вышивки яркие, а живопись серая. А такие серенькие картинки печатает журнал «Художник» – она его выписывает для самообразования, и её шеф от СХ Трусковский одобряет её живопись, но остерегает – «... только, бабушка, людей не рисуйте! Вы анатомию не учили,– я и смотреть не буду!» Обрадовалась моему рассказу о цветовой шкале, заинтересовалась схемой «устройства» каждого цвета, перестала опасаться людей рисовать, и удалась Суворовой-Алфёровой автобиографическая серия «Старая и новая Волга» – работы исполнены по «Формуле цвета Чудина». Эта серия разошлась по музеям Саратова, Москвы, Суздаля.

Лидия Ивановна умерла в 1981 году, но её рисование вызывает всё больший интерес – в 2008–2009 годах московский Музей наивного искусства провёл её персональную выставку, издал о Суворовой-Алфёровой монографию в серии «Классики наивного искусства».

Национальное творчество Суворовой-Алфёровой продолжает традицию поздней «крестьянской» иконы, войдёт в учебники будущей истории русского искусства. Когда всё же организуется в Саратове Народная картинная галерея, – неоднократно общественность пытается возродить эту идею! – уместно этой галереи присвоить имя Лидии Ивановны Суворовой-Алфёровой!

– Ну да – уши развесить!

– Вот на вас видно, как тяжело очевидность доходит до сознания, а как тяжело начинается признание!

– Это и к вашей знаменитой Суворовой-Алфёровой относится?

– Что она знаменита, Саратову пока ещё невдомёк. А Москва узнала из заграничной энциклопедии о художниках-любителях – на счастье в Музее наивного искусства работает Дьяконицына Ольга, она была методистом Московского Дома народного творчества в советские времена и заинтересовала энтузиаста директора Грозина Владимира.

А саратовского признания Суворова-Алфёрова не получала, – на выставки её картины с изображением людей не брал выставком СХ. Разделял и я такую оценку в первое время работы в ОДНТ.

– Вы и тут поучаствовали?

– Сарказм понятен – меньше знаешь, легче жить! Мой опыт методиста изобразительного искусства ОДНТ. Мне даже поручили выступить в Москве на Всероссийской конференции по проблемам развития художественной самодеятельности 1965 года с докладом «Роль Районного дома культуры в эстетическом воспитании трудящихся средствами изобразительного искусства». А я в то время не то что изображение людей, а даже натюрморт с цветами не хотел пускать на выставку – если бы не участие Солянова, он одарён сразу видеть качество...

– Уж этого я понять не могу! Людей самодеятельный художник рисовать не умеет, но уж цветы, им нарисованные, и не взять на выставку картин любителей?

– Расплывчато выражаетесь – смешали в одну кучу разные понятия! Отличить художника-любителя от художника самодеятельного трудно. Мне целого года работы методистом по ИЗО-искусству понадобилось осознавать это отличие. Не осознаётся отличие, но оно очевидно – картины Суворовой-Алфёровой привлекали внимание парадоксальным образом: люди потешались – «Наконец-то и в Саратове появился свой Анри Руссо!» – «Да нет, это Пиросмани!..»

Особенно активно реагировал на картины Суворовой-Алфёровой Найхен, ученик Мейерхольда, – спасся, уехав из Москвы в Киргизию. Там он получил государственные награды, а потом стал работал в ОДНТ методистом по агитбригадам. Репрессии сказались – разоблачались только разрешаемые недостатки в духе журнала «Крокодил».Требовалось каждому выступлению агитбригады на сцене предварительное письменное утверждение текста. Найхен не критиковал советскую власть никоим образом: обосновывал свою позицию примером человека, пришедшего в гости и вздумавшего бранить хозяйку за плохое кушанье. Агитбригады Найхена Семёна Нисоновича на всех мыслимых конкурсах получали первые места, а сам он, яркий артист, отрицанием своим привлекал внимание к картинам Суворовой-Алфёровой.

Выставком СХ аргументировал отторжение картин любителей такими же, как у меня в первый год работы в ОДНТ, очевидными доводами. Как ни странно покажется, мешало нам образование, учёба в художественном училище: самодеятельные художники анатомию не учили, людей не умеют рисовать – искажают, уродуют, поэтому им не надо людей рисовать. Пусть цветы, натюрморты рисуют, пейзажи – перспективу тоже не знают, но что с них взять – им простительно.

Страсти разгорались!

Картину Суворовой-Алфёровой «Первый трактор на селе» – группа людей, держащих лозунг и портрет Ленина, у трактора, – в 1967 году выставком СХ не пускал на выставку, принял резолюцию – самодеятельным художникам не изображать руководителей СССР.

Постепенно шоры на моих глазах спадали, и чтобы её картины попали на Областную выставку, я пошёл на хитрость – фотографии её картин показал предварительно Владыкину Владимиру Павловичу, заместителю Начальника областного управления культуры, и заручился его поддержкой.

Я прозревал постепенно и удивлялся директору ОДНТ Скорлупкину – со мной в споре не согласен, а когда дело доходит до решения, стоял на моей стороне, – так и должно быть, раз я у него специалист по изобразительному искусству, только начальников таких почему-то в жизни не видел.

Если бы не доброжелательное участие моих товарищей-художников, Радищевского музея, Московского ДНТ и ЗНУИ, мы бы не узнали о Лидии Ивановне Суворовой-Алфёровой – она бы не сформировалась художником.

В 1967 году и в 1970 году за участие на Всероссийской и Всесоюзной выставках в Москве Суворова-Алфёрова получила звания лауреатов Всероссийского и Всесоюзного смотров художественной самодеятельности, а репродукцию картины «Первый трактор на селе» опубликовал журнал «Декоративное искусство СССР», – 1971 год, страницы 53–54, статья Масляковой Эммы «Картины Л. Суворовой-Алфёровой».

– Вот вы соловьём поёте, и всё о прошлом! Не ведёте речи о сегодняшних проблемах изобразительного искусства! Не забыли, что мы находимся на выставке Чудина?

– Ну если о проблемах, то о них-то мы и говорим!

– Без Суворовой-Алфёровой никуда?

– Гениально угадали!

– Может, просветите?

– Вашим способом! Вот мы оба простые посетители художественных выставок! – какова ваша характеристика сегодняшнего состояния изобразительного искусства?

– Ситуация культурного хаоса! – никакого связующего начала в хаосе стилевых отголосков и беспринципного поведения людей, называющих себя художниками!

– Это отсутствие ориентиров мне знакомо с тех пор, когда мои глаза настраивались видеть работы художников-любителей. Их стали показывать, они сразу привлекали внимание друзей и недоброжелателей, – постоянно возникали конфликтные ситуации. Пришлось в 1971 году в Москве собирать выставку работ художников-любителей и проводить двухдневную конференцию по материалам этой выставки. Я присутствовал, рот разинув, – на этой конференции с докладом не выступал! – слушал! Председательствовал Герчук, глава московской секции критиков Союза художников СССР. Он сказал, что картины художников-любителей стали откровением для искусствоведов. Темами научных трудов его секции последний год было творчество не профессиональных художников и не самодеятельных, а художников-любителей. Недоумение вызывала художественная ценность искусства любителей и само наименование такого творчества. Если это традиционное народное искусство, то почему ажиотаж? В терминологических поисках сначала относили любителей к художникам фольклорного направления. Потом вспомнили начало двадцатого века – в художественных музеях экспозиции средневекового искусства назывались отделами примитива. «Примитивом» не захотели называться участники выставок – «...если я, автор картины, кандидат, а то и доктор наук, то какой же это примитив?» Традиционное гончарное творчество одной статьёй было названо пластическим фольклором и, соответственно, другая статья дореволюционные городские вывески огласила изобразительным фольклором. Термин изобразительный фольклор в применении к художникам-любителям применялся с энтузиазмом, пока не привлёк академического внимания. Грамотные люди, в словаре прочитали – слово «фольклор» в переводе с английского обозначает не изобразительное, а речевое общение. Устойчивым оказался термин наивное искусство, и спустя полвека в Москве работает Музей наивного искусства.

– Преамбула – но непонятно к чему вы клоните!

– Сейчас, когда в условиях глобального кризиса общественного сознания для ориентации человечеству требуются внятные критерии...

– ...морочите голову! Напоминаете персонажа из романа «Двенадцать стульев» – некто пишет о себе книгу под названием «Васисуалий Лоханкин и его роль в мировой революции»!

– Иначе говоря – «Куда Лопатину со свиным рылом в калашный ряд!» А для чего же мы с вами прикинулись не музейными сотрудниками, а простыми любителями?

– Так вы любитель? Другая ваша ипостась! – роль Жанны д'Арк – спасла страну, когда профессионалы войну проиграли! Тогда что вы медлите? – ситуация хуже некуда, ваши слова – «...живём в условиях глобального кризиса общественного сознания!». Дайте заблудшему культурному сообществу «ориентиры, внятные критерии»! И как поименуете сегодняшнее состояние изобразительного искусства?

– Сегодняшнее глобальное состояние культуры исчерпывается термином «кич»!

– Ни в какие ворота не лезет! Никас Сафронов? – понятно! И Чудина в эту компанию? – вы же его высоко цените! А самого себя куда денете? Ваша картина «И мы тоже были»?..

– ...зачем вы употребляете оценочные категории вместо рабочего технического определения понятия «кич»!

Моя энкаустика «И мы тоже были» – стилизаторская разновидность кича. Но сам кич не стиль – в отличие от стиля не имеет начала, конца – одно из состояний общественного сознания.

Но почему вам сразу Никас на язык подвернулся? Эмилий Арбитман писал о нём статью, когда Радищевский музей по просьбе администрации Саратова проводил внеплановую трёхдневную выставку Никаса Сафронова. В разговоре со мной Арбитман сначала не хотел относить Никаса к кичевой разновидности художников из-за дороговизны картин, «кич рассчитан на массового потребителя». Поговорили – кроме ярмарочного, базарного понимания термина «кич», определилась возможность его употребления в применении к салонному искусству, обнаружилась и академическая разновидность кича. И в газетной статье Арбитман определил творчество Никаса элитарной разновидностью кича. На наших глазах и нами самими формируется понятие «кич»...

– ...и зачем мне эта ваша избыточная информация!

– Непременно заинтересуетесь – в дальнейшем!

– Но сейчас-то мы на выставке Чудина! И мне не совсем понятно – а какой смысл делать ра-

боты плоскими, без привычной иллюзии пространства. Плакатные какие-то – некоторые работы выглядят незаконченными, плоскими, статичными – почему это? Верхний ряд главного зала – вообще квадраты! На других картинах изображены фигуры... плоские – спички не спички. И всё же, я не понимаю, какие эмоции Чудин хочет передать, работая по своей теории, яркими красками.

– Чтобы передать эмоции, художник должен наделить картину свойством привлекать внимание. Не только яркость красок цепляет ваше внимание. Заставляет всматриваться в работы Чудина его цветовая одарённость – она насыщает картины эмоциями, настроениями, ощущениями, заставляет у картины остановиться. У художника разные этапы...

– ...я информацию о художнике не понимаю. Картина «Молитва» самая непонятная – что, да почему, да как! Цирк какой-то! Фигуры непонятные, немного образнее надо – а если неправильно догадаешься? Прошла бы мимо – лишь бы за душу взяло.

Общее впечатление выставки – группа ярких пятен. Внимательно приглядевшись... на других картинах фигуры более образные.

Две работы – «Песня» и «Танец» – напомнили Матисса, у которого есть эти сюжеты. Чудин фигуры рисовать умеет, позы жизненные – Матисса напоминают красные фигуры, танцует очень миленькая...

....изобразить цветом звук, движение чувства? Передать цветом свои внутренние убеждения?

Картина «Хор» – у каждой фигуры цветом выражен смысл. Лица надо смотреть.

У красной гордой фигуры цвет средство выразить догму, которая у автора в голове – любовь разнообразная... материнская любовь.

Жёлтая фигура – смирение. Желтое – равнодушие, потухший взгляд, отрешённость.

Чёрный – скорбь. Скорбь – фигура в чёрном платье – печаль.

Надежда у оранжевой...

Синее платье...

...удивление... достоинство женское.

Человек не заморачивается – чистая эманация чувств!

– Вы и теперь больше всех знаете о «Формуле цвета Чудина» – а стоит увлечься, экспертом по ней станете!

Декабрь 2014 года — январь 2015 года

Письмо Вячеславу Лопатину

Дорогой Слава, я попытаюсь оформить в письменную речь мою мысль о лицах Чудина. Не думаю, что это великая мысль, ну да может быть пригодится.

Ни одной выставки Чудина я, кажется, не пропустила. С некоторых пор стало привлекать то, что Чудин являет зрителям абсолютный результат, не грузя проблемами своего «роста», «перемен» и т.п. В этом мне видится уважение художника к умному зрителю, и это позиция не провинциальная. В провинции всё по-другому – и мир теснее, и не успеешь оглянуться, как частные проблемы становятся приоритетными для местной публики. Вот и не поймешь, что здесь у нас лучше – как европеец, не рассказывать миру, «из какого сора...», или же наоборот – именно «сор» и демонстрировать. То есть лучше ли – не показывать «переходные периоды»?

Да и в новой выставке – то же и увидела, проблемами «роста» Чудин не грузит. Прекрасный разговор с гармонией – всё четко, никаких сомнений на тему «правильно или нет?», при всей благородности этих сомнений.

У Чудина собственная гармония, вышедшая – безусловно! – из теории мало изученной на настоящий момент теории «Формулы цвета»...

Чудин состоялся в равной степени и благодаря этой теории, и вопреки ей.

Привыкнув воспринимать фигуры и лица Чудина как абстрактные, символические, я в них не особенно и вглядывалась. И вдруг смотрю на «Хор»... и обомлеваю: контуры обычны для Чудина, ничего не менялось и в абрисе, и в подаче черт лица, вроде бы чудинский стандарт – а нет! Лица

все разные, просто разные типы лиц. И если бы их, ничего в основе не меняя, прогнать через фотошоп и придать им «реалистические» черты – это очевидно разные, притом конкретные типы. Характер, красота-некрасота, состояние. И без фотошопа это читается. С этой, неожиданной для себя точки зрения взглянула на другие работы... И всё так. Минимальное изменение, минимальными средствами – и новое лицо, новый характер, новое состояние. Шаман, однако.

Анна Сафронова. 19 января 2014 года

В книгу отзывов на выставке Андрея Ванина

Ванин – художник двадцать первого века, и при самобытности традиционен своим отношением к поверхности: *придавать поверхности качество* – выражение Фаворского.

И тут, на выставке, прочитав этикетку с названием, задумываешься, почему сразу не идёшь дальше, чем ещё удерживает внимание работа Ванина.

Вспоминаем предшественников, также уделявшим внимание внесюжетному содержанию картин.

Внесюжетное содержание живописи, изучаемое столичными искусствоведами, привело их к сообщению: наш земляк, художник Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов – основоположник русского авангарда.

«Одним из первых русских художников, семантически обогативших материал искусства, заставив заговорить собственным языком грунт, мазок, краску, был Борисов-Мусатов. Вслед за ним пошли и художники «Голубой розы». ...Особенности изобразительного языка мусатовской школы легли в основу изобразительного языка авангарда»: Флорковская А.К.

«Явление, зародившееся на рубеже XIX–XX века в Саратове и назвавшееся в 1907 году «Голубой розой»... явилось первым шагом русского искусства за пределы XIX века. Освободив живопись психологически и в большей мере пластически от задач изобразительности, оно открыло путь, по которому вслед за тем пошло развитие русского авангарда»: Гофман И.М.

Сказано на седьмых Боголюбовских чтениях, посвящённых 130-летию со дня рождения В.Э. Борисова-Мусатова в 2000 году.

Но ещё раньше, в середине двадцатого века, саратовские краеведы братья Леонтьевы считали Мусатова крупнейшим художником нашего времени. По их мнению, если бы успела выйти из печати подготовленная к изданию монография с текстом Тугенхольда о Борисове-Мусатове, всё русское искусство пошло другим путём. Типографию Кнебеля разгромил немецкий погром начала Первой мировой войны.

Считавшаяся утраченной рукопись Тугенхольда спустя полвека обнаружена в архиве Третьяковской галереи. Отчего бы городу Саратову к собственной славе и к 130-летнему юбилею Радищевского музея не издать монографию Тугенхольда о Борисове-Мусатове?

Виктор Владимирович Леонтьев, знакомством с ним мне посчастливилось, рассказывал, что саратовцы в 1919 году хотели создать музей современного искусства имени В.Э. Борисова-Мусатова. Как думает об этом, о чём думает саратовская общественность в 2014 году, объявленном «Годом культуры России»? Вот опрос бы сделать.

Городу Саратову, кроме Радищевского музея с фондами, наполненными экспонатами, которым не хватает музейных стен, чтобы их показывать, нужен музей современного искусства, необходим музей иконы. Возможно эти музеи объединить единым архитектурным решением – неиспользуемым зданием на углу улиц Соборной и Григорьева. Построено на рубеже XVIII–XIX веков купцом Устиновым – такое же добротное двухэтажное здание с подвальными помещениями, им же построенное, пригодилось для Областного краеведческого музея. В XIX веке здание на углу улиц Соборной и Григорьева надстроено.

Администрации Саратова уместно оставить о себе благодарную память потомкам, организовав, подобно Радищевскому музею, ещё один интеллектуальный центр культурной жизни города.

Вячеслав Лопатин. 27 марта 2014 года

Андрей ПЕРМЯКОВ

ХОРОШАЯ КНИГА ПЛОХАЯ КНИГА ХОРОШАЯ КНИГА ПЛОХАЯ КНИГА

Юрий Цветков. Синдром Стендаля. – М.: ОГИ, 2014. – 64 с.

Татьяна Мосеева. Близость. – М.: Издательские решения, 2014. – 105 с.

Лет восемь-десять тому назад общим местом литературных разговоров были жалобы такого рода: хороших стихов теперь пишут сколько угодно, а вот поэтических книг почти нет. Цельных таких книг, какие были раньше.

Времена быстро поменялись, и хороших книг стало много. Специально фиксирую тут две пришедшие на память первыми: «Двойная флейта» Георгия Кружкова и «Поражение Марса» Геннадия Каневского. Я понимаю: это носители совершенно разных поэтик, представители разных поколений, наверняка (хотя это станет ясным через много-много лет) авторы разного масштаба. Но вот как цельные высказывания обе книги однозначно состоялись. И, конечно, таких книг за минувшее десятилетие, к счастью, было не две и даже не двадцать, я вправду упомянул первые вспомнившиеся. Более того, приём различения «книг стихов» и «сборников лирики» стал узнаваемым и почти ключевым приёмом в работе такого неординарного автора, как петербуржец Дмитрий Чернышев.

А теперь глянем чуть со стороны: каков критерий хорошей поэтической книги и книги менее хорошей? Цельность высказывания – да, однозначно. Но ведь поэты – они почти как люди. Они иногда прекращаются. И тогда большой вопрос ещё, что останется: книги или отдельные стихи? Это как с музыкальными группами. Некоторых помнят за концептуальные альбомы, а большинство – за отдельные песни. С этой точки зрения, в плане состоятельности не только концептуальной, но и более частной, определить качество книги как единого высказывания порой бывает трудно. Но мы попробуем.

Вот два совсем новых сборника московских поэтов: «Синдром Стендаля» Юрия Цветкова и «Близость» Татьяны Мосеевой. Тут очень хочется сказать что-нибудь о поколенческих особенностях и разном литературном опыте, но мы ведь рассчитываем хотя бы на малую вечность? С такой перспективы пятнадцать лет календарного различия выглядят очень смешно. А насчёт стажа ещё интереснее. Татьяна долго молчала, целое десятилетие. Её дебютная книга «Снежные люди» вышла в совсем юном возрасте. У Цветкова же это вообще дебют. Да-да, один из самых известных организаторов московской литературной жизни не только публикует своих стихи с редкостью чрезвычайной, но и первую книгу выпустил глубоко на пятом десятке. Вот с него и начнём. Не по выслуге лет, но волевым решением.

Первая часть, «*из прошлого столетия*», вызывает чуть странные ощущения. Нет, это отнюдь не плохо, скорее наоборот, но такое ощущение, что именно к этому разделу книги относятся вынесенные на четвёртую страницу обложки отзывы: «Тяга к наследию и постоянный побег от него...» (Татьяна Бек), «...отважился писать стихи с чистого листа: точно не существует наработанных поэтических структур, надо всё придумывать заново. Верней, не придумывать, а вслушиваться в себя, стараясь выразить так, как чувствуешь» (Кирилл Ковальджи), «...задумчивое, иногда ироничное, иногда чуть холодноватое наблюдение за жизнью (и собой-в-жизни) – и вдруг прорывающееся говорение “последней правды”» (Дмитрий Данилов).

Всё абсолютно верно, всё точно, но есть момент, связанный, кажется, исключительно с такой занятной субстанцией, как время. Книга ведь вышла в 2014 году, а стало быть, стихи эти мы воспринимаем написанными «здесь и сейчас», вне зависимости от названия раздела. И вот тут между автором и читателем появляется своеобразная дымка. Всё-таки за прошедшие пятнадцать-двадцать и более лет по-русски было написано много стихов и с «холодноватым наблюдением», и «вслушивающихся в себя» и даже созданных так, «точно не суще-

ствует наработанных поэтических структур». Более того, в отношении части из этих стихов сохраняется обаяние новизны, и обаяние это мешает воспринимать тексты, созданные чуть раньше.

Но вот стихам с действительно длинной историей дымка такого рода уже не помеха. Это я о переводах Боба Дилана. Четыре переводных текста – безусловное украшение первой части сборника. Они замечательны ровно настолько, насколько малоудачно стихотворение, давшее книге имя. Нет-нет, название сборника «Синдром Стендаля» хорошее и правильное, а вот текст, озаглавленный так же – передержан, что ли. Ну, право: зачем рассказывать о том, чем этот синдром проявляется и как он на авторе какое-то время назад сказался? Теперь же все умными стали или хотя б посмотрели кинофильм с аналогичным названием.

Далее книга делается гораздо интересней. Возникают дивные зарисовки, где лирический герой образует с миром подобие ленты Мёбиуса. Вернее, многомерной такой ленты, когда автор, язык стиха и окружающая действительность перетекают друг в друга:

Олигофрен с восьмого этажа
Ходил по миру, улыбался.
Я наблюдал его и удивлялся:
Олигофрен с восьмого этажа.

Или ещё короче, но примерно о том же:

Даже вот это умение, стоя на одной ноге,
Завязывать шнурки –
Куда денется после смерти?

Так во сне, кажется, бывает: видишь совсем-совсем простой фотографический кадр, ну, вот именно такой – человек поправляет обувь, стоя на одной ноге, – а потом вглядываешься, а фотокарточка открывает тебе обертона и глубокую перспективу. На подобное долго можно смотреть.

Или ещё: совсем бытовое, знакомое, но, воспользовавшись терминологией литературных барышень, для коих, собственно, и создаётся 9/10 стихотворений мира (по мнению самих барышень, конечно) щемящее:

До дождя
Успели.
Дети возвращаются в однокомнатную
квартиру.

Тут даже длина строк работает на восприятие текста. И сознательное неуточнение того, твои ли это дети, сколько их, и если не все твои, то сколько из них твоих. Ну, например: был День Рождения у детёныша. В какой-то момент маленьких гостей повели гулять, играют, всем хорошо. А тут раз – и дождик. Возвращаемся домой, а квартирка-то, однокомнатная, как будто ещё меньше стала. И масштаб мира делается ясным.

Словом, миниатюры в книге «Синдром Стендаля» хороши. Как хороши, например, и стихи из цикла «Разные занятия». А за ними следует финальная часть, просто удивительная. Называется она «Счастливый Юра Цветков». Это, конечно, поэма. Хорошая, пунктирная поэма. От вневозрастных мечтаний о счастливой старости через стихи о взрослении, о первой увиденной смерти – к зрелищу стареющих родителей и уже собственной не книжной, а реальной старости, показавшейся в очень далёкой ещё перспективе, но вполне различимой, как различим мушиный след на вымытом в апреле окошке. Поэма (будем всё-таки называть её так) обросла своей мифологией. Якобы Юрий Цветков отправил стихи в журнал «Интерпоэзия», а главный редактор Андрей Грицман (или кто-то из не столь главных редакторов) составил цикл таким именно образом. И вроде цикл тот сперва назывался «Страдающий Юра Цветков» – по финальным строкам из первого текста. Хотя ведь и тут не всё просто. Вот смотрим:

Один мой товарищ говорит
Что я ему не интересен такой
Ему интересен страдающий
Юра Цветков

Последнюю строчку, выделенную в оригинале курсивом на фоне прямого шрифта, легко воспринять как подпись. Тогда предыдущий текст получает обертона. Но это почти фирменный стиль поэта Юрия Цветкова – придавать дополнительные смыслы не прямоли-

нейно, но единственно верными окольными путями.

Так вот повторим: поэма обрела свой миф задолго до выхода в книге. Будучи же в сборник включена, стала только лучше. Хорошо это или не очень, мы попытаемся решить в заключительном фрагменте рецензии, а пока отвлечёмся на вторую из обозреваемых книг.

«Близость» Татьяны Мосеевой начинается там, где закончились её же «Снежные люди». Буквально: эти самые, снежные, вырастают в центре столицы:

> У академии Фрунзе
> Две гея костлявых
> Снежками кидают
> Никак
> Друг в друга
> Попасть не могут

Здесь напрашивается пародийное продолжение: «Ну, разве не пидорасы?», например. Но, увы, текст длится много дальше и обретает многозначительность. (Последнее слово в предложении надо произносить с крайне сериозным посылом, иронизируя лишь мимически). Хотя значок «18+» сборник получил не за пресловутую «пропаганду нетрадиционных ценностей», каковую наша вороватая родина сможет, коли захочет, усмотреть даже в мультике про ёжика и медвежонка, а за матерную лексику некоторых текстов. Их немного, но они выделяются. Унылостью выделяются. Вот честное слово: кажется, будто автор осознаёт несостоятельность конкретного стихотворения и пытается его оживить искусственно. Получается, ясное дело, кадавр.

Ну, собственно, всё плохое мы уже сказали, теперь давайте о добром. В новой книге осталось то, о чём прекрасные критики говорили в приложении к книге предыдущей: «...лирические зарисовки, экскурсы в историю, рваные персонажные монологи, предоставляющие читателю возможность заполнить недостающие лакуны ... современная терминология, сбивчивая, нарушенная рифмовка...» (М. Галина). «Можно сказать так: строка у Мосеевой просто хороша. Она могла бы оказаться в другом хорошем стихотворении другого хорошего поэта. Но переход от строки к строке настолько неформален, подлинно свободен, что возникает как бы своеобразие походки». (Л. Костюков). Но появилось и нечто совсем новое, очень, кажется важное. Прежде всего – умение сказать без упомянутых выше формальных приёмов, но сказать так, чтоб в итоге осталась беспримесная поэзия:

> – вы же не всегда будете вместе.
> сказала
> кассир магазина оптики,
> оформляя две разные
> дисконтные карты
> вместо одной
> накопительной

Это ведь, кажется, обычный пересказ очень краткого эпизода общеупотребительными ныне словами. Отчего ж тогда сей пересказ необычен? Вот. Тут и загадка.

Вообще, сплетничая о поэзии, в частности – о поэзии «бывших двадцатилетних», очень часто и в очень разных компаниях мы вспоминали стихи Татьяны Мосеевой. Вернее, раз за разом собеседники цитировали её текст, аллюзия на который и стала заголовком этой рецензии. Даже не весь текст, а его начало:

> написала смску стёрла смску
> написала смску стёрла смску
> написала смску стёрла смску
> написала смску стёрла смску

а, процитировав, добавляли: «А что ещё?» Ну, во-первых, у этого стихотворения есть замечательное продолжение, а во-вторых, в новой книге запоминающихся текстов куда больше. И сквозь практически все из них тянется звенящая проволочка ностальгии. Тоски по совсем недавнему:

> когда напиваюсь, мне кажется,
> что сейчас март
> не в том плане, что мокро и холодно,
> а в том, что мы только вчера
> познакомились

Осознание безвозвратности ушедшего времени – не личного, а времени как физиче-

ской формы и философской категории – очень явное и для молодого возрастом поэта удивительное. Хотя эпоха-то в самом ведь деле ушла. Она, та эпоха, была краткой, но запоминающейся. Настолько запоминающейся, что её окончание порою сопоставимо с окончанием всей жизни:

Весело жизнь провели
Кочевали из оги в пироги
Бродили по бульварам туда-сюда
Цепляясь за бары
И куда теперь стараться и умирать
На какую кровать
Уезжать, откуда уже не сгонишь
Обратно в Воронеж
А войти не можешь
Позади Москва
Продолжает шептать слова
Поезд уносится в чернозём
Мы не едем на нем

Выше я отметил, что говорить о поколенческой разнице пока ещё смешно, но один раздел между нами, кому сейчас около сорока, и теми, кто лет на десять моложе, всё ж есть. Мы, старшие, в том числе и Юрий Цветков, – вольные или невольные эмигранты из СССР. А они, получается, вот из этого времени. Но тоже эмигранты, да.

Хотя, конечно, внешние обстоятельства это совсем-совсем неглавное. В межличностных делах, увы, тоже наступает такой момент, когда общего прошлого много, а будущее крайне туманно. И тут можно держаться за минувшее, можно что-то планировать без малейших гарантий. А вообще, наилучшим выходом чаще оказывается тот, который не вперёд, не вбок, а насквозь:

Сон в комнате, где помещались двое
Сон в Starbucks напротив музея Прадо
Сон в мыслях лирического героя
Я прошу: отпусти, не надо
Сон в хостеле за 16 евро
Сон вместе, в радости или в горе
Это все, повторяешь, нервы, нервы
Хорошо, а когда же море?

Но море-то, оказывается, совсем не гарантировано... Ничего и нигде больше не гарантировано. Грустно и вообще:

простые смертные
простыли смертные
смирились

Словом, мотив рефлексии, мотив прощания с каким-то очень интересным фрагментом биографии в книге Мосеевой внятен, интересен и ясен. На этот мотив неожиданно хорошо легли даже вызвавшиеся лёгкую оторопь трёхстишья, напечатанные когда-то автором в журнале Воздух. Напомню: эти тексты были составлены компьютерной программой из записей в блоге. Там, в журнальной публикации, они вызвали скорее недоумение, а в контексте вот сыграли.

Теперь возникает такой вопрос: книга «Близость» издана автором в пока ещё довольно непривычной системе Ridero. Это такой продвинутый самиздат. Однако на обложке мы видим имя и фамилию редактора: Елена Сунцова. Это, согласитесь, определённый знак качества. Так вот: зачем было разбавлять стихи, очень интересные сами по себе, а в совокупности – образующие цельное высказывание, текстами, скажем так, не столь хорошими? Ровно такой же вопрос справедлив и в отношении книги Юрия Цветкова. Желание представить своё творчество максимально полно? Вряд ли, не новички ж всё ж оба автора. Небрежность в составлении? Тоже нет, кажется.

Глянем вновь чуть с другого ракурса. Вот эти вот, очень понравившиеся тексты, выглядели б они так ярко вне обрамления иных стихов? Не на фоне их, а как следствие из них? Вот и не знаем. И теперь не узнаем: книжки-то уже нами прочитаны. И стихи из этих книг запомнились. Хотя, повторю, и не все. Словом, как мне кажется, в представлениях о хороших и плохих книгах что-то меняется. Нерадикально, но отчётливо. Сами критерии делаются размытыми. Это, понятное дело, не навсегда. Через какое-то время снова окажется важным концепт высказывания. Опять-таки не в плане возврата к старому, а на другом уровне. Более высоком, более низком или чуть смещённом –

увидим. А пока вот так. Фиксируем перемены, наблюдаем. Думаю, будет нескучно.

Сергей БОРОВИКОВ

А Я ЛЮБЛЮ ТОВАРИЩЕЙ МОИХ

Наталья Иванова. Феникс поёт перед солнцем. – М.: Время, 2015. – 704 с. – («Диалог»).

Сергей Чупринин. Критика – это критики. Версия 2.0. – М.: Время, 2015. – 608 с. – («Диалог»).

Передо мною две книги, подаренные мне в одном месте, в один день и час моими друзьями и коллегами.

Откликаюсь на подарки.

Обе книги столь объемны и содержательны, что я, без лукавой уклончивости, а вполне естественно, мог бы ограничиться их аннотированием. Как-то я уже отмечал, что информативная составляющая рецензий в наши дни едва ли не важнее оценки содержания. Ведь книга стала малодоступна, настолько низки тиражи, высоки цены, не заинтересованы или несведущи книгопродавцы и библиотеки, так ослаблена, особенно в провинции, связка: автор-издатель-читатель.

2015 год отмечен, видимо, окончательным решением литературного вопроса, в том числе дожатием «толстяков», которых библиотеки винят в малом спросе, почтовики в низкой подписке, а власти, словно революционные матросы, требуют очистить помещение...

Может быть, и есть в том сермяжная правда современной русской жизни, что нет в ней места литературным журналам? Много ли осталось нас, *приученных* к тому, что первым делом современная словесность во всех ее родах, видах и жанрах, приходит именно через толстые журналы? Или хоть подозревающих об их существовании?

«В Вольске прошло заседание депутатской комиссии, на котором обсуждались мероприятия в рамках Года литературы. Как сообщает вольск.ру, совещание отметилось скандалом благодаря безграмотности руководителя управления культуры Ольги Родионовой.

Чиновница стала докладывать депутатам о мероприятиях по "привлечению внимания общества к литературе и чтению", перечислила мероприятия, которые, по ее словам, будут отличаться «наибольшей популярностью и масштабностью». "А у Чехова фамилия как? Чехов?" – поинтересовался у начальника управления культуры глава Вольского района Анатолий Краснов. "Пешков. Антон Пешков!" – нашлась Родионова.

"А как же литературная гостиная "Антоша Чехонте?" – продолжил расспрашивать ее Краснов. "Было и такое, Анатолий Иванович", - согласилась начальник управления культуры Ольга Родионова. Глава района признался, что на самом деле не силен в литературе. К диалогу тогда подключилась депутат из села Широкий Буерак Елена Метлина: "Образовываться надо всю жизнь. А Чехов разве был когда-то Пешковым? Вот это тоже вопрос! Я даже вообще не знала". Глава района Краснов призвал чиновников культивировать русский язык: "А не Чехонте, Иванте и так далее! Вы же культура". На что оскандалившаяся начальник управления культуры пояснила: "Анатолий Иванович, мы услышали ваше замечание" (ОМ, 25.02.15. 9.25).

Небольшая информация, а сколько в ней смысла! Ну, с начальницей районной культуры ясно – как живая встает перед глазами с пешками-чешками и чутким слухом на замечание начальника. Но он-то каков? Ведь зрит в самый корень: к чему бы это в год русской литературы в связи с то ли Чеховым, то ли Пешковым откуда-то взялся подозрительный Чехонте? А если к Чехонте добавится Иванте, и притом окажутся Чехонтер и Ивантер?

И где царит это мракобесие! в старинном Вольске, который «богат учебными заведениями, в нем существуют: реальное училище, при котором находится метеорологическая станция, Мариинская женская гимназия, мужская прогимназия, военное училище, учительская семинария, духовное училище и др. (РОССІЯ. Полное географическое описание нашего отчества. Настольная и дорожная книга для русских людей. СПб., 1901). То, чего не удалось советской власти за 70 лет, благополучно свершает нынешняя чиновничья мошкара, которая «Каштанку»-то не читала, а мы им про необхо-

димость финансировать подписку библиотек на толстые литературные журналы...

Чупринин сообщает, что книга его писалась более 30 лет[1] . Иванова не говорит о сроках создания и не датирует текстов, но я – помня появление большинства из них в журналах, преимущественно в «Знамени», могу утверждать, что за «Фениксом...» годы труда.

Вот ведь интересная вещь. Создание многолетнего полотна издавна было традиционным уделом романиста. Человек писал-писал и написал-таки роман, потратив три-пять-десять, ну сколько там еще лет (к большинству современных прозаиков уже не относится), что само по себе вызывало пиетет к сотворенному. Создал *полотно*.

А критик изо дня в день писал, откликался, размышлял, то и дело печатал по разным местам, и вот собрал наш критический Пимен содеянное за многие годы, и что же вышло? Неужели лишь *собрание* ёжащихся под общей обложкой статей, обзоров, рецензий?

А что если столь любимое в когдатошней советской критике определение *полотна* сейчас куда более приложимо к итоговым критическим книгам, чем к сегодняшним романам, вперегонки несущимся навстречу премиям?

Сюда же: вдруг подумал, а почему ни Чупринин, ни Иванова не сделались авторами ЖЗЛ? Ведь, к примеру, Наталья Борисовна посвятила изучению жизни и творчестве Пастернака, думаю, уж никак не меньше трудов и дней[2] , чем Дмитрий Быков, выпустивший в ЖЗЛ толстенный том? Может быть, потому, что они не умеют писать *враз и объёмно*, как, видимо, того требует молодогвардейская серия, словно бы на входе туда висит объявление: пиши быстрей и не менее тысячи страниц!

А ведь обе книги куда как обширны, но разница с пугающим нашествием жэзээловских кирпичей в том, что обе – результат *многолетней* целенаправленной работы по осмыслению и собиранию русской литературы. Недаром и за Чуприниным и за Ивановой – годы журнальной работы.

Книга Ивановой по определению мне ближе, чем книга Чупринина. Настолько же ближе, насколько важнее и интереснее мне Ахматова, Булгаков, Пастернак, Мандельштам, Зощенко, Катаев, Трифонов, Тендряков, Шаламов, Искандер, чем Аннинский, Бочаров, Камянов, Кожинов, Рассадин, Турбин, не говоря уж о Золотусском, Ал. Михайлове, Гусеве, Бондаренко или Курицыне.

Ни при какой погоде...

Ну, читать-то, положим, читал, но чтобы еще и думать о них, а уж писать...

С другой стороны, разговор о критиках в той или иной степени приводит и к тем, о ком писали эти критики.

Для меня главная привлекательность этюдов Чупринина о более чем тридцати коллегах в его почти афористических формулировках их критического своеобразия.

Кто бы еще сумел так тактично определить публичную стезю Игоря Золотусского, приведшую последнего на старости лет в телекомментаторы: «Золотусский выбирает исключительно крупные цели <...> Чуть-чуть смущает, правда, то обстоятельство, что Золотусский кажется *выбирает* только то, что уже и задолго до него *было выбрано* общественным мнением, на чем давно стоит тавро духовно-художественной состоятельности».

А вот об Андрее Туркове: «...если в прямом отрицании, в отбраковке всего, что враждебно жизни, литературе, ее гуманистическому завету, с Турковым найдется кому посоперничать, то по части иронического *недоумения* – когда усмешливого, а когда насмешливого – он в нашей критике не имеет себе равных».

Или – перенесёмся в иные время, сопоставление Вячеслава Курицына и Павла Басинского: «Гораздо важнее их интуитивное точное расхождение по вакантным в то время литературным амплуа: *провинциального* шалуна, стремящегося быть еще более столичной штучкой, чем те, кто издал свое первый крик в роддоме имени Грауэрмана, и *провинциального* тяжелодума, с вызовом тетешкающего свою добропорядочность и свое народолюбие».

Не спеша распутывает критик Чупринин судьбы и страницы коллег. Неторопливость, раздумчивость – вот ключевые слова при чте-

[1] Первая часть книги выходила под тем же названием в 1988 году в издательстве «Советский писатель».

[2] См. Наталья Иванова. Борис Пастернак: участь и предназначение. – СПб, 2000, 343 с.

нии книги «Критика это критики. 2.0». И сугубая строгость.

Строга и Иванова, но резко, быстро, эмоционально.

Вот статья второго, «злободневного», раздела её книги – «Спецназ и аристократы. Литературные группировки новейшего времени». Я, как каждый, кто находится внутри литературного, скажем так, *потока*, не могу не подметить крепнущие и прирастающие друг другом и усилиями СМИ сверхактивные группировки относительно молодых литераторов. Но как виртуозно выявляет их в самом зародыше и движении Наталья Борисовна!

Оттолкнувшись посылом: постсоветского человека нет, а постсоветский персонаж в литературе, на сцене – тут как тут, она развеивает туман вокруг тех, кто не столько раскрывает реальность, сколько формирует потребную им модель человека, демонстрируя их приемы на примере странных на первый взгляд мезальянсов вроде союза режиссера Кирилла Серебренникова и писателя Захара Прилепина. А последний успевает живописать не только ужасы ГУЛАГа и петь акафисты их вдохновителю, но мимоходом собирать вокруг себя «своих», издать антологию под названием «Десятка», обозначив список авторов «*списком десятилетия*, а тексты – *достижениями десятилетия*. И это очень ловкий маркетинговый ход...»

Спокойно, все свои! – провозглашал персонаж советского кино.

А ведь там, где *с в о и*, там жди и *н а ш и х*...

Вот еще из той же категории «наш пострел везде поспел» – звезда всех телешоу Сергей Шаргунов «объявляет книги свои и своих товарищей по литературному делу "черным хлебом" современной русской словесности ("Новая газета"). Меж тем не совсем еще старики и даже далеко не пожилые люди прекрасно помнят так называемую чернуху и приписанных к ней авторов: Сергея Каледина ("Смиренное кладбище", "Стройбат"), Леонида Габышева ("Одлян"), Наума Нима... Тогда это была действительно новая (по сравнению с предыдущим периодом) социальная, протестная проза: о темных сторонах действительности, дурно пахнущих задворках жизни. <...> И Роман Сенчин или Захар Прилепин, скорее всего не зная о том (слишком коротка в современной России литературная память, на предыдущее поколение не распространяется), опять изобретают велосипед» («Быть притчей на устах у всех. Номенклатура прозы»).

А статья «Высокое чтиво: стратегия литературного выживания» о тех литераторах, кто умеет и рыбку съесть, и раскупаемым быть: Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Александр Терехов, Майя Кучерская. Ах, молодцы, ах, умельцы!..

Словом, по части социально-политических многоуровневых разрезов современной литературной действительности Наталье Ивановой нет равных.

Надо пояснить и название книги Натальи Ивановой. Я полагал, что неплохо знаю тексты Валентина Катаева, а вот эти строки (1957) были мне незнакомы: «Однажды, гуляя по Шанхаю, я случайно зашел на рынок, где находится так называемый "Храм мэра города". Там продают для верующих свечки. За столиком стоит старая китаянка, она достает из двух ваз странные палочки. Вы платите десять юаней, женщина разрешает вытащить одну палочку с иероглифами. Потом справляется в книге, спрашивая, какая у вас на палочке помечена страница. И вот эту страницу она вырывает и отдает вам. На моем листике было написано: «Феникс поет перед солнцем. Императрица не обращает внимания. Трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках».

Николай АРЖАНОВ

«ЦЕЛЬЮ БЫЛА КНИГА...»

Владимир Кравченко. Книга реки. В одиночку под парусом (Исток – Свияжск). – СПб.: ФормаТ, 2014. – 400 с.

Книга шла к читателю не быстро. Первое появление – журнальный вариант – было в 2008 году в «Знамени», №6, №10. В октябрьской книжке «Знамени» в минувшем году появился еще один небольшой фрагмент книги.

Путешествие Владимира Кравченко от истока Волги до ее устья состоялось летом 1999

года. Путешественник прошел на байдарке, оснащенной парусом, 3600 километров, но! – «...я отправился в это плавание не за спортивным результатом, а за литературой, целью была книга...»

В настоящем издании описан путь от истока до Свияжска, а описание пути от Казани до Астрахани читателю, возможно, еще предстоит увидеть в будущей книге.

Описания пути, пейзажей (слово «пейзаж» автор заменяет замечательным древним «краевид»), встреч, радостей и трудностей походного быта перемежаются обширными краеведческими, историческими отступлениями. Привлекательна разговорная интонация, ироничный взгляд. В исторической части импонирует широта – автор легко обращается с большими временными диапазонами – от древней Руси до наших дней; в текст книги встроены две самостоятельные главы – о «Хождении за три моря» Афанасия Никитина и о путешествии Екатерины II по Волге. Радует обилие подробностей, многие запоминаются: в каждом городке, поселке автор обязательно посещает музей, если он есть, подробно описывает экспозицию, сотрудников, разные мелочи. Огромно количество встреч – рыбаки, литераторы, спасатели, туристы, энтузиасты восстановления храмов, дачники, краеведы, реставраторы, священнослужители...

Сюжеты привязаны к местности: глядя на дом лесника, где Саша Соколов писал «Школу для дураков», автор рассказывает о встречах с ним; далее – Рильке, тоже гость этих мест...

Военная тема: следы Великой Отечественной встречаются на Верхней Волге повсюду. Не только с отголосками войны – автор сталкивается с многочисленными следами репрессий, приводятся страшные документы. Глава «Сухошины» – рассказ о храме: «В Тверском архиве нашлись документы давнего уголовного дела 1938 года, главные обвиняемые – священник Вениамин Таиров и псаломщик Василий Крестников», и далее – документы из папки личного дела № 12295 (!) Кировского РО НКВД Калининской области.

Сквозная тема – экология; особенно запоминается жуткий рассказ о полузатопленном мертвом лесе (глава «Васильсурск»): «По мертвому лесу ходила кругами больная рыба – зараженные паразитом лещи и подлещики с раздутыми от смертельного груза брюшками, словно бомбардировщики». «Из Волги я черпать воду опасался – лишь ополаскивал в ней посуду или чистил речным песком закопченные котелки. Мой отказ от употребления волжской воды со временем приобрел характер мании, ибо проистекал от многого знания – того самого знания, множащего печаль. Передо мной стояли картины зараженной, “цветущей”, ядовитой воды, бьющие из труб грязные сточные воды, плывущие по течению разлагающиеся трупы животных, человеческий мусор, мазутные пятна и радужные нефтяные разводы, пластик пищевых упаковок, фекалии, отбросы».

Параллельно рассказывается о нищете и вымирании деревень и небольших городков, об отчаянном, порой героическом выживании жителей.

Всё это полно болью за происходящее, а свет – в людях, сопротивляющихся обстоятельствам. Правда, иной раз с пафосом автор перебирает – особенно в начале повествования: «Если вода умеет хранить информацию, то на уровне структурном мы, жители Москвы, пропитаны Волгой и Селигером, тишиной валдайских лесов, в которых рождается вода, красотой озер, в которые бегут тихие неиссякаемые ручьи».

Но в книге есть движение – автор как будто по мере продвижения преображается: набирает силу и образ автора-рассказчика, и даже язык повествования меняется: если сначала автор оперирует терминами морскими (норд-ост, зюйд-вест), то ближе к Свияжску (и к концу книги) появляются названия волжские: луговой, верховой ветра.

«Книга реки», повторюсь, шла к читателю долго – и это обстоятельство придало ей черты исторического документа: фиксируются реалии 15-летней давности, за это время многое поменялось – и не всегда в лучшую сторону. Прекратилась регулярное пассажирское сообщение по Волге, исчезают и местные линии, стираются деревни, «народные» дачные поселки... И даже многие мелочи изменились: так, любовно описанные Владимиром Кравченко карты и лоции теперь купить затруднительно – в моде электронные навигаторы.

Литература путешествий, в общем-то, была популярна всегда. В советское время, правда, приходилось довольствоваться Гончаровым, Радищевым, Стерном да Джеромом К. Джеромом, а из современности – публикациями в журналах-альманахах «Вокруг света», «На суше и на море», да издательство «Физкультура и спорт» предпринимало время от времени вялые попытки издать что-то в этом направлении.

В 2000-е годы обозначилось внимание к жанру, появляются интересные работы[1].

Владимир Кравченко осознаёт «Книгу реки» в контексте речного травелога, в одной из первых глав («Ширков погост» – главы у него названы, как предписывает жанр, топонимами, названиями посещённых городов, мест стоянок либо пройденной дистанцией: «Бейшлот–Селижарово») вспоминает предшественников: тепло отзывается о Стивенсоне (и не раз ещё упомянет «Путешествие вглубь страны»), цитирует Конецкого, упрекает Акройда в отсутствии «запаха реки», весело размазывает Джерома К. Джерома, который «...слямзил идею своей книги у Стивенсона – но его комический травелог... рассчитан на домашних хозяек и скучающих лоботрясов-второгодников всех возрастов, а поскольку эта категория самая многочисленная, повесть считается едва ли не “самой смешной книгой в мире”».

Текст «Книги реки» ироничен, на первых же страницах автор предупреждает, что, «как всякий уважающий себя рыболов», прибавляет к рыбьему хвосту сантиметры, а к острову остров. Увы, иной раз автор выдаёт за чистую монету довольно сомнительные рассуждения: то Левитан «совсем не умел рисовать людей», «“Осенний день. Сокольники” – единственная картина... где присутствует человек» (с. 25) – пересказывается распространенный миф, хотя в любом приличном альбоме есть и портреты Кувшинниковой, и автопортреты Левитана.

Или на 265 с. зарисовка о теплоходах: «... показался красавец-трёхпалубник “Николай Карамзин”... Одетые в железо персонажи вызывали тот или иной отклик – комфортабельный “Яков Свердлов” заведомо уступал в этой иерархии старенькому “Ивану Кулибину”. Однажды я видел, как к “Федору Шаляпину” у дебаркадера привалила многопалубная “Октябрьская революция”. “Федор Шаляпин” дрогнул всем корпусом, издав железный стон, словно живое существо, кранцы его жалобно заскрипели... И пяти минут не прошло, как красавец-теплоход оказался зажат идеологически ненавистным лайнером и лишен свободы передвижений». Душераздирающая картинка, но! Все характеристики судов перепутаны. «Николай Карамзин» лишился одной палубы. Противопоставлены близнецы-братья – по одному проекту (26–37), с разницей в один месяц, на одной

[1] *Ксения Голубович в статье «Традиция трэвелога нова в России...» рассказывает о проекте издательства «Логос»: «...о нашей книжной серии, о нашем "дичке", о целом европейском жанре, который мы прививаем на российской почве в надежде на то, что потом он даст своеобразные и как всегда неожиданные плоды. Культура современного мира строится вокруг путешествий. Трэвелог – это способность. Трэвелоги – это талантливые глаза и уши, это осведомленность и любопытство, возвращающие читателю целый мир там, где он видел только "первый слой"» («Волга», 2008, №2).*

Алена Бондарева, «Литература скитаний»: «Сегодня на российском книжном рынке достаточно часто за травелог выдается обычный путеводитель... Если говорить о попытках наших соотечественников внятно написать о своих путешествиях, то тут мы сталкиваемся с серьезной проблемой. В книжном варианте русского романа-травелога почти не существует за редким исключением...» (Октябрь, 2012, №7).

Ольга Балла, «Нефотографизмы: преодоление травелога»: «...есть масса внелитературных и внесловесных способов узнать, как выглядят иные города и страны: можно прочитать в блогах, посмотреть фотографии, видео, карты Google Earth... – в простом описании перемещения от точки А к точке Б стало чувствоваться нечто неустранимо избыточное» (Homo Legens, 2013, №8).

Александр Сорочан, «Туда и обратно: новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки»: «Возможно, и в России в скором времени будут созданы книги, осмысляющие специфику литературы путешествий. Соответствующие тексты по-прежнему востребованы исследователями – новые опыты классификации и теоретического осмысления, может, и не дают бесспорных результатов, однако рамки жанра становятся все определеннее. И путевые тексты из собрания пестрых впечатлений превращаются в единое, пусть и изменчивое, целое» (НЛО, 2011, №112).

верфи построенные «Яков Свердлов» (заводской номер 442) и «Иван Кулибин» (443), а их старшая сестра трёхпалубная 96-метровая «Октябрьская революция» зажимает бедного четырёхпалубного 136-метрового «Фёдора Шаляпина».

А с колёсными пароходами совсем беда – чуть затронет автор эту тему – так сразу чудеса: в главе «Дубна» появляется загадочная «колёсная баржа» – судя по описанию, останки обыкновенного парохода (к этой мысли автор всё же приходит), – тип судна, на Волге не существовавший. А чуть дальше, в той же главе, эпизод из 50-х годов: пароход «Спартак», разворачиваясь, начинает грести колёсами в разные стороны – уж этой способностью ни «Спартак», ни какой-либо другой волжский пароход точно не обладали. Кстати, описываемому в этом эпизоде шедевру Сормовского завода «допотопному» «Спартаку» на тот момент (50-е годы) было всего порядка сорока лет (построен в1914 г.) – тот же возраст, что у «Октябрьской революции» (год постройки 1957-й), «Якова Свердлова» и «Ивана Кулибина» (оба 1960-й) в 1999 году. А проработал «Спартак» до 1991 года, и вряд ли мог в 50-е восприниматься как неуклюжий и допотопный (восприятие, конечно, дело субъективное, но оценить элегантность и красоту этого парохода может каждый, пересмотрев «Жестокий романс»).

Я, конечно, придираюсь, ведь перед нами не справочник, и образы иной раз колоритнее реальности. И книга читается с азартом и пристрастием.

Книга не иллюстрирована, но «автор поместил в нее пароль доступа на вэб-сайт, где выставлен фотодневник путешествия – свыше тысячи фотографий в режиме слайдшоу. Внимательный читатель может собрать по букве этот рассыпанный по букве вэбадрес...» (Из «Предуведомления автора»). Вот такой непростой «брак» между бумажной книгой и Интернетом предлагает заключить Владимир Кравченко. Сколько в этом веры в читателя...

Сергей ТРУНЕВ

ЖИЗНЕННЫЕ ТРАЕКТОРИИ ФИГУР РАЗУМА

Евгений Стрелков. Фигуры разума: Истории о науке. – Нижний Новгород: Издательство «Дирижабль», 2015. – 192 с.

Говоря о науке, мы часто забываем о том, что она не является неким безличным механизмом, производящим знание. Что наука с самого своего становления вращается вокруг фигуры ученого, т.е. конкретного человека. В этой связи подзаголовок книги Евгения Стрелкова «Истории о науке» как нельзя лучше отражает ее содержание, поскольку история науки подается автором не в последнюю очередь через биографию ученого. Повествование, правда, начинается здесь не с момента рождения очередной «фигуры разума», а с некоторого смыслообразующего события, и отнюдь не заканчивается вместе с физической смертью персонажа. Судьба человека плавно перетекает в судьбу его идей, и здесь Иосиф Гамель предваряет Маршалла Маклюэна, а Александр Витберг – Николая Федорова и Константина Циолковского и так далее. В результате получается как бы своеобразная сетка из пересекающихся траекторий жизненного пути и логики развития идей, что добавляет текстам дополнительное измерение и пробуждает, соответственно, дополнительный интеллектуальный аппетит.

Столь же прихотлива структура книги, по которой отчетливо заметно, что писалась она (наверное, точнее сказать «собиралась») постепенно, а отнюдь не строилась по единому плану. Представленный в эссе материал довольно часто пересекается, а иногда вообще дублируется. Что, впрочем, совершенно нормально, поскольку из биографии слова не выкинешь, да и автор, по его собственному признанию, «художник по духу». Именно поэтому в процессе создания книги «Инженерные новации рифмовались с поэтическими экспериментами, космические программы сочетались с социальными утопиями, физика прирастала

лирикой, научный поиск оборачивался гражданским подвигом». В этой связи отмечу, что особое очарование придают «Фигурам» многочисленные исторические фотографии, схемы (например, схемы первых детекторных приемников) и фрагменты воспоминаний, призванные подтвердить авторские гипотезы.

Достаточно органично вписались в книгу также кадры из медиаработ и фото инсталляций современных российских художников, поддерживающих и развивающих направление научпоп-арта: Николая Селиванова, Ольги Хан, Андрея Митенева, Андрея Суздалева, Леонида Тишкова, Дмитрия Степанова и артгруппы «Куда бегут собаки». Основной целью данного направления является популяризация науки средствами искусства, поскольку поколения, рожденные с мобильным телефоном в руке, едва ли могут без посторонней помощи осознать, какое количество знания и какое количество несчастливых судеб в свернутом виде заключены под их сенсорным экраном: «При взгляде на фигуры снизу пафос превращается в анекдот: Ломоносов придумал все раньше Лавуазье, Менделеев обосновал водку, Ползунов сочинил паровую машину, Попов изобрел радио. Однако если сколупнуть дешевую бронзовую краску с бюста того же Попова, то под ней, под этой краской, обнаружится гипсовая маска героя античной трагедии...»

Довольно спорное обоснование необходимости рассказывать о науке непосвященным содержится в предисловии Андрея Ваганова, полагающего, что современная российская «публика» насытилась и желает испытать «на вшивость» свое естество. Этим, по его мнению, объясняется «громоподобный» успех книги Коры Ландау-Дробанцевой «Академик Ландау. Как мы жили». Не поленился, зашел в Интернет, почитал комментарии... Признаюсь, такого громоподобного успеха и таких уничижительных оценок едва ли можно пожелать произведениям своим друзей и знакомых.

А вообще мнение автора предисловия прекрасно сочетается с общим настроением «Фигур», пронизанных каким-то неистребимым юношеским романтизмом и гордостью за отечественную науку. Евгений Стрелков утверждает: в ряде случаев мы не были первыми, но мы всегда были восприимчивыми к открытиям мировой науки и часто (в силу всегдашней нехватки средств) дорабатывали эти открытия так, что западным коллегам не оставалось ничего, кроме удивления. Ну, да, только к чему делать культ из извечного презрения государства, т.е. чиновника, к представителям научной элиты?

Кстати, об элите. Для меня осталось вопросом, на какую «публику» рассчитана эта книга, кто все это прочтет и осмыслит? В предисловии Андрей Ваганов пишет о том, что автору удалось сохранить баланс между элитарностью и массовостью. Не могу с этим согласиться... На мой взгляд, чтобы сохранить этот баланс необходимо было либо каким-то образом выровнять лексику в сторону языка массового потребителя, либо давать определения использованным понятиям. Иногда научность (читай «элитарность») языка просто подавляет, например: «Еще не была создана зонная теория полупроводников, которая позволила бы объяснить электролюминесценцию в кристаллах». Ну, какой нормальный житель России поймет этот птичий язык без соответствующих пояснений? Исследователи, к сожалению, также не смогут воспользоваться представленными в «Фигурах» архивными материалами, так как куцый ссылочный аппарат не позволяет этого сделать. Таким образом, читательская аудитория значительно сужается до небольшого круга просвещенных личностей, которые смогут оценить как литературный язык Евгения Стрелкова, так и глубину авторского проникновения в сферу научного знания.

Иван КОЗЛОВ

ДВЕ ПРОВИНЦИИ И ОДНО БУДУЩЕЕ

«Испытание» (режиссер Александр Котт)

Вот что бывает, когда режиссер получает возможность снимать не только сериалы и откровенную развлекуху: прекрасное кино бывает.

Александр Котт снял фильм без единого слова. Но это не имитация немого кино, как недавняя «Белоснежка» Пабло Берхера, а фильм, в котором слова просто не нужны. Во-первых, и так всё понятно: и зрителю, и героям ленты. Во-вторых, при виртуозном визуальном ряде слова просто могут мешать, как это часто бывает даже у великих режиссеров (у Тарковского, например, на фоне его визуального ряда особенно невыносимыми кажутся банальности и морализаторство, в которое время от времени впадают его герои).

Незамысловатая история о жизни в казахской степи: отец, дочь, соседский подросток, парень из проезжавшего мимо автобуса: вот и все главные персонажи. Уже само перечисление предполагает возможное развитие отношений между ними, неясен лишь финал. Впрочем, взгляд зрителя будет благодарен любому исходу, настолько прекрасен фильм. Но и его сюжетные ожидания не будут обмануты, он даже в мыслях не предполагает, какое общее испытание – в буквальном смысле – выпадет всем без исключения героям фильма, причем одномоментно.

Страшно подумать о том, сколько уже снято фильмов за столь короткий, в общем-то, период (по сравнению, например, с «возрастом» литературы). Казалось бы, свежесть зрения почти уже невозможна, и какая радость убедиться, что ты оказался неправ. Так можно снимать или в ранней юности, когда еще ничего не боишься, или на самом пике, когда тебе уже всё равно – в любом случае, без оглядки.

«Малыш Кенкен» (режиссер Брюно Дюмон)

Перефразируя классика, хочется сказать, что этот фильм – о невротизме деревенской жизни. Мини-сериал француза Брюно Дюмона («29 пальм», «Фландрия», «Человечность», «Камилла Клодель. 1915») за 200 минут выводит на экран такое количество неадекватных персонажей, что начинает казаться, будто главный герой – флегматичный низкорослый подросток с заячьей губой, нравов простых и «понятийных», – единственный нормальный человек на общем фоне.

Фильм начинается как детский детектив. В выморочной булонской глубинке (все всех знают, скучно, грязно, жизнь предсказуема, и, кстати, она не удалась) совершаются дикие и абсурдные преступления, изощренности которых позавидовал бы любой кровавый триллер психопатологического извода.

По тем, кому положено по долгу службы заниматься расследованиями, давно дурка плачет – комиссар страдает нервным тиком, корчит рожи, как все братья Маркс вместе взятые, а его беззубый подчиненный больше озабочен умением выделывать трюки автородео на служебной машине.

Получается так, что расследованием незаметно для самих себя начинает заниматься группка местной детворы – типичная деревенская гопота, которая слыхом не слыхивала о таких город-

ских вещах, как политкорректность, например. Лидером этой тусни и является Малыш Кенкен – подросток с дефектом внешности, носящий слуховой аппарат, да еще и коротышка.

Дюмон то и дело переходит заданную жанром детского детектива грань: насилие, хотя и не демонстрируется, но достаточно подробно живописуется в беседах, побочная линия повествования приводит к самоубийству одного из персонажей, вина за которое во многом лежит на юных сыщиках; «скелеты» вываливаются из «шкафов» все чаще и обильнее – да так, что сам герой оказывается, мягко говоря, в двусмысленном положении. То, что начиналось как легкое зрелище, с каждой минутой становится всё серьезнее и фатальнее. Общая атмосфера абсурда остается, но, когда при приближении разгадки из нее начинает вымываться юмор, зрителю деваться уже некуда – он принял правила игры.

«Вычислитель» (режиссер Дмитрий Грачев)

Очередной пример фильма, главная коллизия которого – несоответствие голливудского замаха и довольно скромного воплощения. От мэйнстримовской фантастики можно ждать только очень большого бюджета, тогда как-то уже не обращаешь внимания на предсказуемость сюжета, схематизм характеров и прочий «налог на зрелище». Эта лента, увы, схематически проходится по тем моментам, которые можно было бы красочно и сочно развернуть, будь бюджет фильма хотя бы на порядок выше.

Высокотехнологичное, но тоталитарное будущее. Десять изгнанников из мегаполиса, которым предстоит пройти по неприспособленной для жизни местности к локусу, который обеспечит им элементарное выживание. Мгновенно распределенные роли в соответствии с бирками характеров. Злые твари, которые встречаются на пути, злые люди, которые мешают хорошим. Скрытая интрига, любовная линия, соответствующие диалоги. «Вычислитель» – экранизация книги известного фантаста Александра Громова. Я не знаком с текстом, но долго живу на свете и склонен предполагать, что многие сюжетные повороты и мотивировки повести проработаны гораздо подробнее и убедительнее, нежели то, что предстает перед нами на экране. Впрочем, если расслабиться, то вполне можно получить удовольствие.

Тем более что перед нами развернут сюрреальный исландский пейзаж, в котором действуют в меру предоставленных зрелищем возможностей хорошие актеры (Евгений Миронов в первую очередь).

Заметим также, что саратовцам этот фильм будет интересен тем, что в нем снялся наш легендарный земляк Иван Верховых – небольшая, но емкая роль профессора Джоба.

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 15 апреля 2015 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.